Pod znamenem marksizma

Цена 3 руб.

Издательство „ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“
Москва, М. Черкасский пер., 3/4.

Открыт прием подписки
— НА —
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ философский и общественно-экономический журнал

„ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА“

Орган воинствующего материализма.

Основная задача журнала—защита ортодоксального диалектического материализма Маркса и Ленина от извращений идеализма и оппортунизма, откуда бы они ни исходили.

Журнал выходит под редакцией А. М. Деборина, Н. А. Карева, В. И. Невского, М. Н. Покровского и И. И. Степанова-Скворцова.

В журнале принимают участие все лучшие силы марксизма и ленинизма, к участию в журнале привлекаются ученые, стоящие на материалистической точке зрения.

В ЖУРНАЛЕ ИМЕЮТСЯ ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ:

1) **Ленин и ленинизм.**
2) **Актуальные проблемы философии диалектического материализма.**
3) **Исторический материализм.**
4) **История материализма.**
5) **Новое в естествознании.**
6) **Статьи по вопросам теоретической экономии.**
7) **История социализма.**
8) **Вопросы литературы, искусства в материалистическом освещении.**
9) **Трибуна.**
10) **Отдел переписки с читателями.**
11) **Библиография.**

Журнал рассчитан на активных работников партии, преподавателей и учащихся комвузов, вузов, рабфаков, марксистских кружков и т. п.

НЕПРИНЯТЫЕ РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: МОСКВА, ТВЕРСКАЯ, 48. ТЕЛ. **1-21-16.** Кремлевский **200.**

Прием по делам редакции от 12 до 2 час.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

на месяц—1 р. 50 к., на 3 мес.—4 р. 25 к., на 6 мес.—8 р.

Повышение означенных цен кем бы то ни было ВОСПРЕЩАЕТСЯ.

Подписную плату надлежит переводить по адресу:

Главная контора „ПРАВДЫ“ и „БЕДНОТЫ“
МОСКВА, М. Черкасский, 3/4.

Подписка принимается также и в отделениях Издательства.

ГУБЕРНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ „ПРАВДЫ“ и „БЕДНОТЫ“

Ленинград, Проспект 25 Октября, 82. - Харьков, площадь Тевелева, 17.

Артемовск—Площадь Свободы, 15. **Баку**—Улица Зевина, 11. **Воронеж**—Проспект Революции, 31. **Екатеринослав** — Проспект Карла Маркса, уг. Московской. **Киев** — Улица Ленина, 26. **Краснодар** — Красная, 31. **Коломна**—Ул. Ленина. **Луганск**—Улица Ленина, 43. **Н.-Новгород**—Улица Свердлова, 5. **Одесса**—Улица Ленина, 5. **Ростов н/Д**—Улица Энгельса, 51. **Саратов**—Улица Республики, 27/31. **Свердловск**—Улица Малышева, 24. **Смоленск** — Советская, 18. **Сталино** — 1-я Линия, 39. **Таганрог** — Улица Ленина, 23. **Тифлис** — Дворцовая, 6. **Тула** — Площадь Коммунаров, 31. **Ярославль**—Дом Крестьянина.

HOOVER WAR LIBRARY

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 3

МАРТ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“
МОСКВА—1926

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 3
МАРТ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА"
МОСКВА—1926

Главлит № 29293 Москва. Тираж 5.000 экз.

Тип. изд-ва «Правда» и «Беднота». Яузский мост, Серебрян. наб., д. 28а.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

А. Деборин. — Энгельс и диалектика в биологии (продолжение) 5
Ник. Карев. — Тектология или диалектика (продолжение) 29
В. Асмус. — Адвокат философской интуиции 53
И. Вайнштейн. — Спиноза и материализм 85

А. Серебровский. — Теория наследственности Моргана и Менделя и марксисты 98
И. Аюл.—Метафизика и диалектика в биологии 118

Я. Виленкин. — Де-Лион и его деятельность 151
И. Орлов. — Музыка и естествознание 193

Трибуна.

В. Струминский.—Марксизм в современной психологии 207

Библиография.

Я. Розанов. — Библиография о Фейербахе 234
В. Чучмарев. — Г. В. Плеханов. Основные вопросы марксизма, с предисловием Л. Аксельрод-Ортодокс 247
И. Луппол. — И. Вороницын. К. А. Гельвеций. «Биографическая библиотека» 254
Гр. Баммель.—О. Танхилевич. Эпикур и эпикуреизм 256
З. Ц.—А. Зоммерфельд. Строение атома и спектры 262

Энгельс и диалектика в биологии.

(Продолжение).

А. Деборин.

Проблема возникновения жизни.

I.

Одной из основных проблем теоретической и экспериментальной биологии является проблема превращения неорганизованной материи в организованную, неживого вещества в живое вещество.

Природа действует, вообще говоря, двумя способами: разрушением и созиданием; она анализирует и синезирует. Соответственно этим двум процессам природы человеческое познание также имеет своими орудиями анализ и синтез. Исторически человеческое познание продвигается от анализа к синтезу; человек вынужден разрушать прежде, чем он научается творить. Это следует понимать, разумеется, не абсолютно, а относительно. Синтетической химии предшествует химия аналитическая; синтетической биологии предшествует аналитическая биология.

В общем и целом мы находимся еще в ряде научных дисциплин на ступени аналитического познания. И это обстоятельство сильно отражается на теоретических взглядах наших современных естественников, превращающих аналитическое познание в единственно истинное и тем ограничивающих и суживающих задачи науки. Диалектический метод есть единство анализа и синтеза, это два момента одного и того же метода.

Процесс превращения неживой материи в живую является существенно синтетической проблемой,—проблемой «завязывания узла» природой. Но само собою разумеется, что этот процесс новообразования может быть нами полностью об'яснен лишь при условии воссоздания его человеком. Теоретическая проблема разрешается здесь, как и повсюду, практической деятельностью человека. До тех пор, пока мы искусственно не изготовим белка, мы не в состоянии экспериментально разрешить проблему жизни. Но несмотря на то, что практика, опыт, эксперимент являются окончательной инстанцией в разрешении теоретических вопросов, мы, однако, вправе и даже вынуждены часто намечать теоретическую линию для наших конкретных исследований, для нашей

экспериментирующей деятельности. Если исследователь не будет руководствоваться определенной теорией, он неизбежно будет блуждать в потемках. С другой стороны, теория часто предвосхищает практическое разрешение проблемы. Все зависит от того, исходим ли мы вообще из правильной или из неправильной общетеоретической или философской концепции. Например, если мы положим в основу наших научных наблюдений и исследований идеалистическую точку зрения, то нет сомнения, что она заведет нас только в тупик. В применении к биологическим проблемам это яснее ясного.

Идеалист будет стремиться к тому, чтобы открыть в явлениях жизни специфические силы, чтобы непроходимой пропастью отделить неживое вещество от живого и т. п. Естественно, что такая точка зрения не будет способствовать научному познанию, а будет, напротив того, ему только вредить. Иное дело—диалектический материализм, который «оправдал» себя уже в целом ряде областей и нигде не только не приходил в противоречие с фактами, а, наоборот, прекрасно их об'яснял.

При таких условиях очевидно, что теория диалектического материализма является ценнейшим и надежнейшим орудием в познании в раскрытии об'ективных связей и законов, господствующих в природе, что эта теория часто способна предвосхитить в смысле обще-принципиальном экспериментальное разрешение самых сложных вопросов.

Проблема превращения неживого вещества в живое, подобно проблеме превращения на определенной ступени развития материи об'екта в суб'ект, составляет одну из самых интересных проблем, ибо здесь совершаются реально диалектические переходы, завязывание «узловых линий», синтетические процессы, имеющие такое же, если не большее, значение, как «развязывание узлов», разрушение их путем анализа и уничтожение граней, отделяющих и в то же время связывающих различные формы движения. Диалектический материализм, как мировоззрение, и материалистическую диалектику, как всеобщий метод исследования и практического действия, необходимо положить в основу и современного естествознания. Если диалектика есть наука о связях и об основных формах движения, то только она одна и способна служить орудием в деле об'яснения реальных переходов от одной формы движения к другой.

Итак, мы прежде всего должны здесь разграничить две проблемы, которые зачастую сливаются в одну. Мы имеем в виду проблему перехода неживого в живое или неорганической материи в органическую, а затем переход органической материи в мыслящую материю. Бытие, жизнь, сознание являются тремя основными этапами или ступенями в развитии материи. Одна и та же материя, как субстанция в процессе эволюции, превращается в живую материю, а последняя в материю мыслящую.

Наивно-механистическая точка зрения полагает возможным простое сведение как явлений сознания, так и явлений жизни к мертвой материи, к «бытию», нисколько не интересуясь специфическим характером этих явлений, как особых «узлов» и «категорий». Ошибочность рассуждений «сводителей», быть может, станет более ясной, если мы для иллюстрации нашей мысли возьмем пример из другой области. Капиталистическая формация общества генетически сводится к предшествующей ей общественной формации, но из этого отнюдь не следует, что капитализм не представляет собою специфического узла или «качества», подчиненного своим особым законам.

Естественники слишком метафизически обычно понимают тождество или единство всех явлений природы. С их точки зрения единство составляет сплошную непрерывность, между тем как «непрерывное» развитие материи немыслимо без перерывов. Наивно-механистическая точка зрения сильно подчеркивает лишь одну сторону вопроса, а именно единство неорганической материи и органической. Но это единство остается чисто абстрактным, поскольку вторая сторона вопроса, различие между неживым и живым, так или иначе совершенно устраняется.

Одно из двух: либо между неорганическим и органическим веществами существует абсолютное тождество, и органическое вещество сводится к мертвой материи целиком, тогда бессмысленно вообще говорить о превращении неживого в живое. Либо же между неживым и живым, помимо единства их, существует и различие, тогда живое вещество представляет собою нечто качественно отличное и специфическое в сравнении с неживым веществом.

Что живое вещество отличается от неживого особыми свойствами, это, кажется, не подлежит сомнению, а между тем все рассуждения, сводящиеся к отрицанию «узлов», имеют своей целью отрицание специфического характера живой материи. Мы не только не отрицаем возникновения органической материи из неорганической, но принципиально настаиваем на таком возникновении, ибо последовательно материалистическое мировоззрение на иную точку зрения становиться не может, но именно поэтому, именно потому, что на определенной ступени мирового процесса неорганическая материя неизбежно превращается в органическую живую материю, отличающуюся от неживой рядом особенностей, специфических свойств, мы должны рассматривать органическую материю, как особое качество, особый узел, который завязывается самой природой.

Все умные и ученые разговоры о том, что задача науки состоит в развязывании узлов, не могут же устранить того факта, что такой узел, который носит название, скажем, органической материи, в природе действительно существует и что процесс развязывания для нас важен лишь постольку, поскольку он в состоянии об'яснить процесс «завязывания», т.-е. создания, возникновения соответствующего узла со всеми его специфическими особенностями. Кто не понимает, что самая важная задача в области биологии в наше время состоит в «реконструировании» жизни, в искусственном воспроизведении естественного процесса завязывания узла, тот не понимает самого главного. Само собою разумеется, что воссоздание «узлов» невозможно без предварительного их развязывания, но задача развязывания подчинена более важной задаче завязывания «узлов».

II.

К. А. Тимирязев хорошо понимал, что если бы было фактически доказано самостоятельное зарождение жизни, то оно связало бы неорганический мир с органическим. Но характерно, что он в этом вопросе оставался скептиком. «Вопрос о первоначальном возникновении жизни, вопрос об образовании организма из неорганизованного вещества,—писал он,—остается еще в области гипотез и неопределенных стремлений. Синтетической биологии пока еще не существует. А что если ей никогда не суждено осуществиться, что если жизнь современна материи! Что же, и тогда направление и методы физиологии нисколько не изменятся,—она будет видеть в жизни, в организме нечто заранее данное, но тем не менее подчиняющееся определенным законам, общим для всего вещества» [1]).

Это рассуждение К. А. Тимирязева относится к 1878 г., но в подготовленное им в 1919 г. четвертое издание своей работы он не нашел возможным внести по этому вопросу поправку. А между тем высказанные им здесь соображения с точки зрения теоретической крайне не удовлетворительны.

В самом деле, во-первых, он скептически относится к возможности синтетической биологии, без которой коренные проблемы биологии разрешены быть не могут; во-вторых, он скептически относится и к вопросу о возникновении организма из неорганизованного вещества, хотя и понимает, что изучение «момента возникновения жизни, превращения неживого в живое», дало бы нам возможность лучшего понимания различия между ними.

[1]) К. А. Тимирязев, Насущные задачи естествознания, 1923 г., стр. 161.

Последовательно материалистическое и диалектическое мировоззерцание логически требует вскрытия связи между неорганическим миром и органическим. Мы увидим ниже, как Энгельс подходит к разрешению этого вопроса. Пока же снова обратимся к К. А. Тимирязеву и посмотрим, каковы те соображения, которые заставляют его занять в этом вопросе агностическую позицию. Точно ли органический мир необходимо должен был возникнуть из неорганического?—спрашивает он. Доказательством тому, что и другое разрешение этого вопроса мыслимо, служат сомнения, в последнее время высказываемые с различных сторон такими учеными, как Прейер, Наке, Фехнер, Вильям Томсон и, наконец, Гельмгольц» [1]).

В дальнейшем Тимирязев приводит цитату из Фехнера, где устанавливается различие живого тела от неживого, как различие молекулярно-органической формы движения от космически-органической и сопровождает ее следующими словами: «Почему же не предположить,—говорит далее Фехнер,—что первоначально вся материя была одарена как космически, так и молекулярно-органическим движением. Но мы знаем, что это молекулярно-органическое или жизненное движение совершается только в известных пределах температуры. Когда космическая материя, сгущаясь, достигала этой температуры, она утрачивала это движение, превращалась в неорганическую и только позднее на охладившуюся поверхность этих небесных тел, из сравнительно холодного пространства, осела часть вещества, сохранившая это движение,—доказывают же В. Томсон и Гельмгольц возможность занесения на нашу планету зародышей организмов при помощи метеоритов. Таким образом, видя между живой и неживою материей чисто-физическое различие, сводящееся на их молекулярную динамику, на форму их молекулярного движения, Фехнер обращает вопрос и спрашивает, какая форма движения древнее. Может быть, жизнь предшествовала нежизни, и тогда вопрос о generatio spontanea падает сам собою. Повторяю,—продолжает Тимирязев, я привожу эту гипотезу Фехнера только как образец мышления логически возможный и совершенно противоположный господствующим воззрениям, а следовательно, подрывающий логическую неизбежность заключения о необходимости самопроизвольного зарождения. Итак, по отношению к началу жизни мы можем повторить слова Гельмгольца: «Или жизнь когда-нибудь возникла, или она современна материи» [2]).

Последние слова Гельмгольца звучат довольно странно: или жизнь вечна, или же она невечна. Такое или-или нисколько не подвигает нас вперед и напоминает мудрое изречение: или

[1]) К. Тимирязев, там же, стр. 162.
[2]) К. Тимирязев, там же, стр. 163.

будет дождик, или не будет. А ведь вопрос о возникновении жизни так или иначе должен быть разрешен. Что же касается рассуждения Фехнера, то оно, на наш взгляд, внутренне противоречиво. В самом деле, допустим, что жизнь предшествовала нежизни; однако если в силу тех или иных условий материя в определенную эпоху утратила жизненное движение и превратилась в неорганическую, то вопрос о вторичном возникновении жизни из неорганической материи, вопрос о generatio spontanea вовсе не падает сам собой, как это думал К. Тимирязев. Напротив того, этот вопрос так и остается вопросом, требующим своего разрешения. Гипотеза же о возможности занесения на нашу планету зародышей организмов из других планет или вообще холодных мировых пространств не нуждается в предположении Фехнера о первичности жизни, предшествовавшей якобы нежизни. Гипотеза Фехнера [1]) страдает и другими противоречиями, но мы на них останавливаться здесь не будем, так как нас в этой связи интересуют преимущественно взгляды К. Тимирязева.

Мы уже убедились в том, что наш выдающийся биолог скептически относится к вопросу о самопроизвольном зарождении жизни. При всем своем крайне осторожном отношении к гипотезам Фехнера, Томсона и Гельмгольца все его симпатии все же на их стороне, что особенно видно из нижеследующего места его работы, где он, к нашему удивлению, доказывает, что гипотеза о произвольном зарождении жизни якобы противоречит дарвинизму. Вот это место. «Защитники этого учения (т.-е. учения о произвольном зарождении жизни. *А. Д.*) обыкновенно говорят, что открытие произвольного зарождения венчало бы здание теории Дарвина: эта теория об'ясняет нам, как одни организмы произошли от других,—здесь мы увидели бы, как первый организм происходит из неорганизованного вещества. Мне кажется, наоборот, существование произвольного зарождения в настоящую геологическую эпоху, а следовательно, и во все предшествовавшие эпохи, явилось бы почти непреодолимым препятствием для этой теории, т.-е. обстоятельством, которое весьма трудно, почти невозможно, было бы с ней согласовать» [2]).

Справедливость требует, однако, сказать, что, как ни решительно приведенное заявление К. Тимирязева относительно произвольного зарождения жизни, он в других своих работах проводит противоположную точку зрения. Достаточно хотя бы привести следующее место из его «Исторического метода в биологии»: «Не должны ли мы на этом основании заключить, что переход от неорганической природы к органической немыслим, невозможен. Такой вывод ничем не оправдывался бы. Мы имеем право сказать, что его не нашли там, где искали. Далее мы представим соображения, которые делают мало вероятным существование этого явления в настоящую и ближайшую к ней эпохи существования нашей планеты. Но все это, конечно, не уничтожает возможности раскрытия условий, при которых оно когда-нибудь совершится» [1]).

Хотя высказанные здесь мысли носят уже иной характер, тем не менее Тимирязев и в этой своей работе в общем занимает ту же агностическую позицию, что и в выше упомянутой работе.

Чрезвычайно странным, между прочим, является то обстоятельство, что К. Тимирязев не счел возможным или нужным подвергнуть разбору взгляды на вопрос об архигонии Э. Геккеля—этого самого крупного дарвиниста и гениального биолога, не побоявшегося встать на материалистическую точку зрения и не остановившегося перед упреком самого Дарвина в агностицизме и непоследовательности.

Для характеристики точки зрения Геккеля мы позволим себе привести хотя бы одно место из его «Чудес жизни». Вот что говорит Геккель по адресу тех, кто отказывается от разрешения вопроса о происхождении жизни: «От неразумной, но положительной точки зрения верующих в чудеса отличается скептицизм тех естествоиспытателей, которые находят вопрос о происхождении жизни неразрешимым и трансцендентным; представителями такого агностицизма можно считать Дарвина и Вирхова; возникновение первых организмов они находили вопросом, относительно которого мы ничего не можем знать. Так, Дарвин в своем главном труде (1859 г.) заявляет, что он «вовсе не касается ни происхождения духовных факторов, ни происхождения самой жизни». Это является полным отказом от ответа на научный вопрос, который ставится нашим пытливым разумом так же определенно, как и всякий другой вопрос эволюции. Ведь происхождение жизни на нашей планете составляет один из моментов в ее истории. Если исследователь ничего не хочет знать о нем, то это еще ничего не говорит против самого вопроса. Агностическую точку зрения и теперь разделяют весьма многие видные естествоиспытатели; хотя они и держатся более или менее того убеждения, что происхождение жизни есть «естественный процесс», но полагают, что у нас нет никаких средств познать его» [2]).

В другом месте своей работы Геккель совершенно справедливо указывает на то, что причиною отсталости биологии в сравнении с другими науками является убеждение многих

[1]) Взгляды Фехнера на этот вопрос изложены им в его книге „Einige Ideen zur Schöpfungs- und Entwicklungsgeschichte der Organismen". 1874.
[2]) К. Тимирязев, там же, стр. 164.

[1]) К. Тимирязев. Исторический метод в биологии. 1922 г., стр. 32.
[2]) Э. Геккель, Чудеса жизни, русск. пер., 1908 г., стр. 152—153.

крупнейших естествоиспытателей, что дело биологии только наблюдать и точно описывать факты, между тем как образование ясных понятий и тем более размышление над значением фактов» считается вещью ненужной и даже опасной. Таким образом, мы подходим уже к вопросу о методах науки. Геккель и жаловался на низкое состояние методов биологического исследования, чем он и об'яснял то пренебрежительное отношение, с которым биологи встретили его собственную гипотезу архигонии.

III.

Мы лишены возможности остановиться здесь более или менее обстоятельно на разборе всех существующих теорий архигонии. Для наших целей достаточно лишь указать основные направления мысли по этому вопросу с тем, чтобы на их основе развить взгляды Энгельса, который, с нашей точки зрения, уже в начале семидесятых годов дал исчерпывающую критику гипотезы Гельмгольца—Томсона, равно как и опытов Пастера, наметил вместе с тем в принципе, по крайней мере, научное разрешение вопроса о происхождении жизни, целиком примыкающее к геккелевскому решению.

Само собою разумеется, что Энгельс принципиально отвергает так наз. агностическую точку зрения, которой придерживался Дарвин. Он даже не считает нужным полемизировать с этой точкой зрения. Более или менее научное значение имеют этернальные гипотезы, представителями которых при жизни Энгельса являлись Либих, Вагнер, Гельмгольц и Томсон.

Самым крупным представителем этернальной теории в наше время является Сванте Аррениус [1]). Этернальная гипотеза исходит из признания того, что органическая жизнь существует от вечности. Противоположная ей архигонная теория утверждает, что жизнь возникла в определенный момент времени, при определенных условиях существования нашей планеты. С теорией вечности органической жизни в 1865 г. выступил Герман Рихтер. Несколько позже и независимо от Рихтера в защиту гипотезы вечности жизни выступили Гельмгольц и В. Томсон. Они придерживались той мысли, что, при столкновении планет, на которых существует жизнь, от них отрываются осколки или метеоры, которые несут на себе живые зародыши организмов; эти обломки планет вместе с зародышами попадали на землю и другие планеты, где таким образом начинали жить и развиваться. Представителями монистической этернальной системы, как Геккель выражается, являются Фехнер и Прейер [2]). Они «распространяют понятие жизни

[1]) См. Сванте Аррениус, Образование миров, Одесса, 1912.
[2]) См. H. Preyer, Die Hypothesen über den Ursprung des Lebens, 1880 г.

на весь космос и стирают обычно проводимую между органической и неорганической природой границу» (Геккель).

Итак, с точки зрения Гельмгольца и Томсона существуют от вечности, на-ряду с неорганической материей, органические клетки, которые заносятся из других планет метеоритами. Гельмгольц высказал эту гипотезу впервые, как он сообщил в предисловии к немецкому изданию «Руководства по теоретической физике» В. Томсона, в докладе, прочитанном им в Гейдельберге и Кельне в 1871 г. В том же году в публичной речи в Эдинбурге ту же гипотезу, независимо от Гельмгольца, защищал и В. Томсон. Либих и Вагнер, повидимому, независимо от Гельмгольца и Томсона, также приняли гипотезу о вечности жизни. Так, Либих еще в 1868 г. высказал Вагнеру ту мысль, что «жизнь так же стара, так же вечна, как сама материя».

Энгельс высказывается решительно против этернальной гипотезы Либиха, Гельмгольца и Томсона. (С Фехнеровской точки зрения, которая, вероятно, ему была известна, он, вообще, не считал нужным спорить.) Соображения Энгельса целиком совпадают с критическими замечаниями по этому вопросу Геккеля, но они глубже, потому что он пользовался диалектическим методом.

Геккель считает космозоическую гипотезу Гельмгольца неприемлемой, потому что физические условия мирового пространства (крайние температуры, абсолютная сухость, отсутствие атмосферического воздуха и т. д.) делают невозможным длительное существование плазмы на метеоритах в форме жизнеспособных органических зародышей. По логическим основаниям гипотеза эта лишена ценности,—продолжает Геккель,—потому что она не разрешает вопроса о возникновении органической жизни, а только передвигает его. Последовательно продуманная, она приводит к чистому космологическому дуализму» [1]).

Критика Энгельса в биологической своей части опирается на выдающиеся работы Геккеля, но в части методологической идет своим особым путем. Гипотеза о «вечной жизни» и о внесении ее извне,—говорит Энгельс,—предполагает: 1) вечность белка и 2) вечность первичных форм, из которых могла развиться вся органическая жизнь. Но как то, так и другое одинаково недопустимо [2]).

Либих предполагал, что органическая жизнь так же изначальна, как углерод и его соединения. А белок ведь есть не что иное, как соединение углерода. На это Энгельс возражает, что нельзя поставить знак равенства между углеродом и углеродными соединениями. Углеродные соединения уже потому не

[1]) Геккель, Чудеса жизни, стр. 153—154.
[2]) Энгельс, Диалектика природы,—«Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», под ред. Д. Рязанова, II т., стр. 47.

вечны, что они соединения, т.-е. сложные вещества, а не простой элемент. Что же касается самого углерода, то он вечен лишь в том случае, если он простой элемент, а это еще не доказано. «Соединения углерода вечны в том смысле,—продолжает Энгельс,—что при равных условиях смешения температуры, давления, электрического напряжения и т. д., они постоянно повторяются. Но до сих пор еще никому не приходило в голову утверждать, что, беря, например, хотя бы только простейшие углеродные соединения CO_2 или CH—они вечны в том смысле, будто они существуют во все времена и более или менее повсеместно, а не возникают постоянно из элементов и не разлагаются постоянно снова на те же элементы. Если живой белок вечен в том смысле, в каком вечны остальные углеродные соединения, то он не только должен постоянно разлагаться на свои элементы, как это и происходит фактически, но должен также постоянно возникать наново из этих элементов без содействия имеющегося уже заранее белка,—а это диаметрально противоположно результатам, к которым приходит Либих» [1]).

Стало быть, вывод из сказанного сводится к тому, что живой белок не вечен, а возникает при определенных условиях и в определенный момент времени. Белок не вечен, потому что он представляет собою сложное и при этом самое непостоянное из соединений углерода. В качестве соединения белок постоянно должен разлагаться на свои элементы. Белок не вечен в том смысле, чтобы он существовал всегда и повсеместно. Но белок вечен в том смысле, что он постоянно и необходимо возникает при определенных условиях из своих элементов. Подобно тому, как для механического материализма чистой случайностью является то, что материя развивает из себя мыслящий человеческий мозг, как выражается Энгельс, так и возникновение живого белка из неорганизованной материи для него является чистой случайностью. «В действительности же в природе материи,—говорит Энгельс,—заключено то, что она приходит к развитию мыслящих существ, и поэтому такое развитие совершается необходимым образом всегда, когда имеются налицо соответствующие условия (поэтому не необходимо повсюду и всегда)» [2]).

Само собою разумеется, что эта мысль целиком и сугубо применима к вопросу о возникновении жизни. В самой природе материи заключено то, что она приходит к развитию жизни, и это возникновение и развитие жизни совершается необходимо всегда, когда имеются в наличности соответствующие условия, стало быть, не всегда и не необходимо всюду. Такова материалистическая и вместе с тем диалектическая трактовка вопроса Энгельсом. К каким плодотворным результатам приводит именно такая диалектическая постановка вопроса, будет выявлено нами в другой связи.

[1]) Энгельс, там же, стр. 49.
[2]) Энгельс, там же, стр. 51.

Возражая Гельмгольцу, Либиху и пр. по вопросу о «вечности жизни» в смысле повсеместного и всегдашнего ее существования, Энгельс справедливо указывает на то, что белок представляет собою чрезвычайно «деликатное» соединение углерода, которое возможно лишь в определенных температурных границах, в пище и воздухе. «Условия существования белка бесконечно сложнее, чем условия существования всякого другого известного нам углеродного соединения, ибо здесь мы имеем дело не только с физическими и химическими свойствами, но и с функциями питания и дыхания, которые требуют вполне определенной в физическом и химическом отношении среды,—и вот этот-то белок должен был сохраниться от века при всевозможных происходивших в тех пор переменах!» [1]).

Если далее вспомнить, что атмосфера небесных тел, и в частности туманностей, была первоначально раскаленной, то ясно, что при этих условиях места для белковых тел не могло быть. Что же касается последнего вопроса,—вопроса о возможности занесения жизни на нашу планету из холодных мировых пространств, то Энгельс и эту гипотезу целиком отвергает на том основании, что «резервуаром жизни» не может быть «мировое пространство, где нет ни воздуха, ни пищи и царит температура, при которой не может, разумеется, ни функционировать, ни сохраниться никакой белок».

Энгельс также отвергает предположение Либиха и др. о вечности первичных форм, из которых могла развиться вся органическая жизнь. К этим «вечным, первичным формам» относятся якобы бактерии, микрококки, вибрионы и пр. Но так как эти существа являются уже довольно дифференцированными существами, то они не могут служить родоначальниками для высших организмов и не могут вместе с тем иметь вечное существование.

Итак, мы здесь упираемся в проблему жизни вообще и «первого организма» в частности. Что такое жизнь? На этот вопрос Энгельс, как известно, дает следующий ответ: Жизнь—форма существования белкового тела — характеризуется, след., тем, что каждый живой организм в каждый данный момент является одновременно и самим собою и чем-то другим, и происходит это независимо от какого-либо процесса, которому он подвергается извне, как это может быть

[1]) Энгельс, там же, стр. 49.

и с мертвыми телами. Напротив, жизнь, обмен веществ, происходящий путем питания и выделения, есть процесс самосовершающийся, присущий, прирожденный своему носителю-белку, без которого не может быть жизни. А отсюда следует, что если когда-нибудь химии удастся искусственно произвести белок, то этот последний должен будет обнаружить явления жизни, хотя бы самые слабые» [1]).

Энгельс в приведенном определении дает, как нам кажется, достаточно исчерпывающее определение жизни. Из обмена веществ и свойственной белку пластичности вытекают и все остальные факторы жизни: раздражимость, сокращаемость, способность к росту и внутреннее движение. Несмотря на то, что метафизический, абсолютный разрыв между органическими и неорганическими телами несостоятелен, что оба царства по глубочайшей своей сущности, как выражается Геккель, неразрывно связаны, между ними в то же время существует и «разрыв», существует глубокое различие, которое выражается в том, что жизнь есть своеобразный процесс движения, отличный от процесса движения неорганических тел. Вместе с тем этот своеобразный процесс движения связан всегда с особым химическим веществом,—плазмой [2]).

Нам кажется, что Энгельсово определение жизни является наиболее удовлетворительным и полным. Из новейших определений жизни всего ближе к Энгельсу, кажется, Вильгельм Ру. Что касается Леба, то его определение неполно и вследствие этого неудовлетворительно. Он подчеркивает только синтетическую способность клетки. Так, он говорит: «Существенное отличие живого вещества от мертвого сводится к следующему: живая клетка синтезирует входящие в состав ее тела сложные специфические вещества из индифферентных или неспецифических простых соединений окружающей среды, тогда как кристалл просто присоединяет к себе находящиеся в пересыщенном растворе молекулы. Эта синтетическая способность, ведущая к преобразованию небольших «кирпичиков» в сложнейшие, специфичные для каждого организма соединения, и представляет «загадку жизни» или, вернее, одну из ее загадок» [3]). Это определение жизни, как уже сказано, односторонне и принимает во внимание только одну, хотя и чрезвычайно существенную, функцию живого вещества.

Вильгельм Ру устанавливает следующие особенности жизни: живые существа 1) самостоятельно принимают в себя

[1]) Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, 1923 г., 3-е изд., 96 стр. Ср. также «Диалектика природы», стр. 49—50.

[2]) Ср. Геккель, Чудеса жизни, стр. 13; см. также его «Natürliche Schöpfungsgeschichte», 12. Aufl., 1920 г., стр. 273.

[3]) Жак Леб, Организм как целое, Гиз, 1926 г., стр. 18.

посторонние вещества, 2) превращают эти последние в материю, сднаковую с их собственной, т.-е. самостоятельно их ассимилируют, 3) изменяются по причинам, лежащим в них самих, 4) самопроизвольно выделяют измененные вещества, 5) поддерживают себя посредством внутреннего восстановления измененных веществ через принятие пищи и ее ассимиляцию, 6) самостоятельно растут, 7) самостоятельно двигаются, 8) самостоятельно делятся, 9) переносят свои признаки на продукты деления (наследственность) и 10) обладают способностью саморегулирования: «Совокупность всего этого,—заключает Ру, — и составляет особенность живых существ, равно как и обусловливает их выдающуюся способность к самосохранению. Живые существа в существенных чертах сами производят все то, что необходимо для восстановления, поддержания их видовых особенностей и, при наличности пищи, для продолжения их существования» [1]).

Нам кажется, что определение жизни, данное Энгельсом, хотя в общем и целом совпадает с определением В. Ру, все же несколько шире и полнее последнего. Во всяком случае Энгельсово определение жизни не только не устарело, но может считаться самым «современным». Самым существенным моментом жизни является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой. Правда, обмен веществ присущ также и неорганическим телам, но между органическими и неорганическими телами имеется в этом отношении существенное различие, которое состоит в том, что «в случае неорганических тел обмен веществ разрушает их, в случае же органических тел он является необходимым условием их существования». Все тела природы как живые, так и неживые изменяются и разлагаются. Но разница между первыми и вторыми телами та, что обмен веществ в мертвых телах является причиною разрушения, а в живых—становится основным условием их существования. Таков диалектический характер деятельности самой природы.

Все органические тела, за исключением самых низших, состоят из клеток. Клетка есть комочек белкового вещества с клеточным ядром внутри. Таким образом, белковый комочек есть низший организм, клетка представляет собою уже высшую форму организма и лежит сама в основе высших органических форм. Так, Энгельс говорит: «Наипростейший тип, наблюдаемый во всей органической природе, есть клетка, и она, действительно,

[1]) «Новые идеи в биологии» сб. первый (см. статью В. Р у. Мнимое получение искусственным путем живых существ), стр. 3—4. К определению жизни В. Ру присоединяется не только П. Каммерер («Общая биология», Гиз, 1925 г. стр. 57—58), но, как нам кажется, большинство современных биологов.

лежит в основе высших организаций. Но в числе низших организаций мы находим множество таких, которые стоят еще значительно ниже клетки, напр., протамеба, простой комочек протоплазмы [1]) без всякой дифференциации, затем — целый ряд других монер и все трубчатые водоросли (Siphoneae). Все они связаны с высшими организациями только тем, что их главной составной частью является белок, и они поэтому совершают свойственные белку функции, т.-е. живут и умирают» [2]).

Таким образом, клетка лежит в основе высших организаций, но имеются еще низшие организации, которые состоят из простого комочка белка и, однако, эти стоящие ниже клетки существа обнаруживают все существенные явления жизни. Поэтому Энгельс совершенно правильно говорит следующее: «Подобно тому, как мы вынуждены говорить о беспозвоночных позвоночных животных, так и здесь неорганизованный, бесформенный, недифференцированный белковый комочек называется организмом. Диалектически это возможно, ибо подобно тому, как в спинной струне заключается позвоночный столб, так и в первовозникшем белковом комочке заключается в зародыше, «в себе», весь бесконечный ряд высших организмов» [3]). Более подробно нам придется остановиться на этом вопросе в дальнейшем. Пока же нам необходимо установить, что в природе существуют такие странные диалектические противоречия, как «беспозвоночные позвоночные», «неорганизованные организмы», т.-е. «организмы без органов» (Геккелевские монеры), что так смутило Д. Эйнгорна и что заставило его воскликнуть: теория Геккеля о монерах представляет собою не что иное, как «гегельянщину».

В этой связи необходимо подчеркнуть еще то обстоятельство, что, с точки зрения Энгельса, такому «организму без органов», такой «бесформенной форме» уже присуще о щ у щ е н и е. Возражая Дюрингу, утверждавшему, что ощущение необходимо связано с существованием нервного аппарата, Энгельс подчеркивает, что «ощущение не связано необходимо с нервами, а только с известными, до сих пор неустановленными более точно белковыми телами» [1]).

[1]) Протоплазма—универсальный носитель всех жизненных явлений, живая субстанция, принадлежащая к химической группе белковых тел,—говорит Геккель. «Многие свойства, которыми эти азотосодержащие углеродистые соединения отличаются к а ч е с т в е н н о от всех других соединений,—отношение к кислотам и щелочам, своеобразные цветные реакции при действии известных солей, продукты распада и т. д., у всех плазменных тел выражены точно так же, как и у всех других белковых тел. С этим согласуются и результаты к о л и ч е с т в е н н о г о анализа. Как бы ни разнились между собою различные плазменные тела, они всегда показывают то же количественное отношение пяти «органогенных элементов», что и прочие белковые тела, а именно 51—52% (по весу) углерода, 21—23% кислорода, 15—17% азота, 6—7% водорода и 1—2% серы» (Г е к к е л ь, Чудеса жизни, стр. 59).

[2]) Э н г е л ь с, Анти-Дюринг, стр. 92.

[3]) Э н г е л ь с, Диалектика в природе («Архив К. Маркса и Ф. Энгельса» под ред. Д. Рязанова. т. II, стр. 51).

IV.

А теперь вернемся к вопросу о самопроизвольном зарождении и посмотрим, как разрешает эту проблему Энгельс. Но предварительно необходимо сказать несколько слов об опытах Луи Пастера, якобы опровергнувших раз навсегда гипотезу самопроизвольного зарождения. В 1858 г. Парижская Академия наук назначила премию за исследования, могущие пролить свет на вопрос о самопроизвольном зарождении. Премия была присуждена Луи Пастеру, который рядом опытов показал, что в атмосфере носятся повсюду многочисленные зародыши микробов и что в настоях органических веществ никогда не развиваются организмы, если эти настои были хорошо прокипячены, а соприкасающийся с ним воздух был химически очищен. В знаменитом пастеровском мясном бульоне, хорошо прокипяченном и изолированном от доступа воздуха, т.-е. проникновения зародышей извне, не оказалось микроорганизмов. По мнению Геккеля, опыты Пастера «не доказывают ничего больше, как то, что в известных настоях о р г а н и ч е с к и х веществ—при известных, весьма искусственных условиях!—не образуется новых организмов; они вовсе не касаются того важного и настоятельного вопроса, который один имеет здесь для нас значение, а именно: как первоначально возникли прямо из н е о р г а н и ч е с к и х соединений древнейшие органические обитатели нашего земного шара, примитивные первоорганизмы?» [2]). Геккель полагает, что опыты Пастера опровергли басню о сапробиозе или некробиозе (возникновение живой субстанции из мертвой или разлагающейся органической субстанции), но не теорию архигонии. Геккель различает следующие стадии архигонии: «1) Предварительной ступенью архигонии надо считать образование известных азотосодержащих углеродистых соединений, которые можно причислять к группе ургана (синильная кислота и т. д.); они образовались тогда, когда земной шар был еще огненножидкой массой. 2) По охлаждении поверхности земной коры образовалась капельно-жидкая вода, под влиянием ее и значительных изменений в богатой углекислотой атмосфере из этих простых урганистых соединений образовался ряд более сложных азотосодержащих углеродных соединений, которые в конце концов дали альбумин (или протеин). 3) Альбуминные молекулы

[1]) Э н г е л ь с, Анти-Дюринг, стр. 93.

[2]) Г е к к е л ь, Чудеса жизни, стр. 160.

сложились, располагаясь в известном порядке, в силу своей химической подвижности, в более крупные группы молекул (плеоны или мицеллы). 4) Альбуминные мицеллы, соединяясь в большие аггрегаты, образовали однородные плазменные зерна (плассонеллы). 5) При дальнейшем росте плассонеллы разделились и образовали более крупные гомогенные шарики плазмы: монеры (пробионты). 6) Вследствие поверхностного натяжения—или же и химической дифференциации—образовалась разница между более плотным периферическим слоем (оболочка) и более мягким центральным (центральное зерно). 7) Лишь позднее из таких безъядерных цитод возникли простейшие (ядросодержащие) клетки, при чем наследственная масса плазмы внутри монер сгустилась в плотное ядро» [1]).

Здесь Геккелем намечены промежуточные ступени между неорганической и органической материей. Надо сказать, что приведенное построение Геккеля встретило и встречает еще и ныне со стороны виталистов строгое осуждение. Геккель об'является спекулятивным мыслителем на том основании, что он признает существование царства монер. Установленная в биологии догма, гласящая, что все живое происходит только от живого, что всякая клетка происходит и произошла только из материнской клетки, а всякое клеточное ядро только из материнского ядра («Omnis cellula e cellula; omnis nucleus e nucleo»), несовместима с теорией развития, которая должна рассматривать клетку как вторичный продукт более простого первичного элементарного организма, гомогенной цитоды (под цитодами Геккель понимает безъядерные клетки). Такие цитоды существуют и ныне в форме самостоятельных монер. Эти монеры («бесструктурные организмы без органов», как их характеризует Геккель) необходимо должны были исторически предшествовать настоящим клеткам и поэтому Геккель называет их «прецеллярными», т.-е. доклеточными организмами. «Древнейшие организмы, обитавшие наш земной шар и с которых началась чудесная игра органической жизни, могут при теперешнем состоянии наших биологических знаний мыслиться только как гомогенные плазменные тела, как биогены или аггрегаты биогенов, у которых еще не существовало знаменательного, характерного для настоящей клетки обособления клеточного ядра и клеточного тела» (Геккель) [2]).

[1]) Геккель, Чудеса жизни, стр. 160. Ср. также его же «Natürliche Sehöpfungsgeschichte», лекция пятнадцатая.

[2]) В этой связи позволим себе привести следующее место из книги Каммерера: «В данном случае,—говорит он,—нужно отметить, что есть клетки, где различие между ядром и телом трудно установить. Конечно, с различных сторон существование таких клеток оспаривается. Указывалось, что в некоторых на первый взгляд безъядерных клетках при помощи улучшенного метода окрашивания ядро все-таки было обнаружено или же, обратно (как у многих бактерий), клеточное тело проглядели, так как оно окружает очень тонким слоем ядро, составляющее главную массу бактериальной клетки. В других первичных клетках дело обстоит таким образом, что в плазме можно отчетливо доказать существование вещества, характерного для состава ядра (например, легко окрашивающееся («хромативое») нуклеиновое вещество), но оно нигде в клетке не сгущается в обособленное, резко отграниченное тельце. Следовательно, в подобных клетках расчленение на тело и ядро существует, но не в форме локализированных масс, а в виде дифференцировки веществ (хотя механически смешанных). Эти отношения встречаются исключительно у первичных существ, которое Геккель об'единяет в класс монер. При современном состоянии исследования сюда относятся еще водоросли хромацеи (так называемые дробянки и бактерии). Быть может, их нужно признать самыми первоначальными из известных до сих пор живых существ. О живой материи было сказано, что она в внде жидких кристаллов представляет переходные ступени к жизни. Так и монеры, в которых ядренное вещество перемешано с клеточным телом, в силу чего плазма их имеет более однородное строение, можно принимать как дальнейшую промежуточную ступень или же, если хотите, обратно,—как переход от живого к мертвому» (П. Каммерер, Общая биология, 1925 г., стр. 40—41).

В наши задачи не входит подробное рассмотрение вопроса о всевозможных современных исследованиях и опытах в области искусственного воссоздания жизни. Если верить сообщениям из Америки, то там двум ученым (Мазуру и Принглу) якобы удалось получить искусственным путем амебообразные существа. Чрезвычайно интересны опыты мексиканского ученого Альфонса Геррера (Herrera), выпустившего недавно книгу под названием «Плазмогония», над созданием «искусственных клеток». Как бы там ни было, наука находится, повидимому, на верном пути, и можно думать, что проблема естественного происхождения жизни в недалеком будущем будет разрешена, несмотря на все трудности, связанные с этим вопросом.

Огромная заслуга Геккеля заключается в том, что он порвал границу, отделяющую живое от неживого не путем чисто отвлеченных рассуждений, а установлением хорошо обоснованной гипотезы, которая в частностях может и не подтвердиться, но которая в общем оказалась правильной. Для разрешения этой проблемы необходимо было выйти за пределы клетки, необходимо было преодолеть абсолютную, метафизическую грань, отделяющую якобы живое от неживого. Это можно было сделать только благодаря диалектическому способу мышления, в котором Геккель, правда, не отдавал себе отчета, но который лежит в основе всей его архигонии.

И поэтому вполне естественно, что современные виталисты обвиняют Геккеля в том, что отрицанием общезначимости клеточной теории он нашел удобное средство для сочетания теории развития с учением о первичном зарождении. В самом деле, или

мы остаемся на почве признания вечности клетки, тогда получается абсолютный разрыв между неорганическим миром и органическим. Или же мы последовательно проводим теорию развития до конца, тогда мы вынуждены признать первичное зарождение и установить здесь между обоими мирами реальную связь и единство.

Виталисты мыслят клетку как нечто метафизически неизменное, как некий абсолют, между тем как Геккель «взорвал», так сказать, клетку, превратил ее в нечто ставшее, развивающееся и возникшее. Здесь особенно резко и выпукло выступает перед нами важнейшее и существеннейшее значение научной методологии. Сознательное применение диалектического метода может оказать любой науке огромные услуги. Поэтому Энгельс и подчеркивает, что диалектически вполне возможны «беспозвоночные позвоночные животные», как и белковый комочек, заключающий в себе в зародыше весь бесконечный ряд высших организмов. С диалектической точки зрения не только возможно, но и необходимо существование «организмов без органов».

Д. Эйнгорн[1]) подвергает резкой критике Геккелевскую «идею монер» именно за ее диалектический характер. Он не может понять, как здравый рассудок допускает существование организмов без органов, бесформенных органических форм и пр. И, как это часто бывает с естествоиспытателями и ограниченными эмпириками, неспособными к теоретическому мышлению, Эйнгорн противопоставляет «спекуляциям» Геккеля достоинства опыта, который якобы опровергает всю теорию эволюции, как ее понимает Дарвин и Геккель. Ссылки на «опыт» и на О. Гертвига должны подтвердить существование абсолютной непереходимой границы между неорганическим и органическим миром.

Опыт, разумеется, имеет фундаментальное значение, и то, что в конечном счете не подтверждается опытом, не истинно и подлежит отрицанию. Но опыт следует брать шире, чем это делают ограниченные эмпирики. Вместе с тем очень важно, в какую сторону следует направлять «опыты». И здесь опять-таки научная методология имеет в известном смысле решающее значение. Поэтому совершенно прав Негели, когда он говорит, что вопрос о происхождении организмов из неорганической материи прежде всего вопрос методологический. Возникновение органического из неорганического, говорит Негели, является в первую очередь не вопросом опыта и эксперимента, а необходимым следствием из закона сохранения силы и вещества. Если в материальном мире все находится в причинной связи, если

[1]) David Einhorn, Erfahrung und Deszendentheorie, 1923 г.

все явления природы совершаются естественным путем, то организмы, которые состоят из тех же веществ, что и неорганизованные тела, должны были в самом начале произойти из неорганических соединений. Словом, методологические «аргументы» играют весьма существенную роль в смысле направления наших опытных исследований по правильному пути в смысле принципиального предвосхищения определенных результатов исследования. На основании общеметодологических соображений мы можем быть уверены, что единство (как и различие) между неорганическим миром и органическим действительно существует, что живое действительно некогда произошло из неживого, хотя опытом и экспериментом это еще фактически не установлено.

Что касается в частности «опытов» прошлого в этой области, то Энгельс очень метко их критикует и показывает их несостоятельность.

«Все произведенные до сих пор исследования,—говорит он,—приводят к следующему: в жидкостях, содержащих разлагающиеся органические вещества и открытых доступу воздуха, возникают низшие организмы: протисты, грибы, инфузории. Откуда происходят они? Возникли ли они путем generatio aequivoca или же из зародышей, занесенных из воздуха? Таким образом, исследование ограничивается совершенно узкой областью—вопросом о плазмогонии.

Предположение, что новые живые организмы могут возникнуть из разложения других организмов, относится по существу к эпохе, когда признавали неизменность видов. Тогда оказывалось необходимым признавать возникновение всех, даже наиболее сложных организмов путем первичного зарождения из неживых веществ, и если не хотели прибегать к творческому акту, то легко приходили к тому взгляду, что процесс этот легче об'яснить при допущении формирующего материала, происходящего уже из органического мира; тогда уже перестали думать о том, чтобы произвести химическим путем какое-нибудь млекопитающее прямо из неорганической материи.

Но подобное допущение идет в разрез с современным состоянием естествознания. Химия своим анализом процесса разложения мертвых органических тел доказывает, что процесс этот дает при каждом дальнейшем шаге все более мертвые, все более близкие к неорганическому миру продукты, которые все менее пригодны для использования их в органическом мире, и что этому процессу можно придать другое направление и добиться использования этих продуктов разложения только в том случае, если они попадут своевременно в пригодный для этого, уже существующий организм. Самый главный носитель образова-

ния клеток, белок, разлагается раньше всего, и до сих пор еще не удалось получить его синтетическим путем»[1]).

Итак, в первом случае речь идет о возникновении низших организмов в жидкостях, содержащих разлагающиеся органические вещества и открытых доступу воздуха. Каким путем возникают здесь низшие организмы, не могло быть установлено.

Во втором случае исходили из того предположения, что все, как низшие, так и высшие, организмы происходят непосредственно из неживых веществ, и считали возможным «произвести химическим путем какое-нибудь млекопитающее прямо из мертвой материи».

С другой стороны, химия своим анализом процесса разложения мертвых органических тел доказывает, что чем дальше идет процесс разложения, тем больше мы приближаемся к неорганическому миру и отдаляемся от органического, чем утрачивается связь между обоими мирами.

Непосредственное сведение высшего организма к неорганическому невозможно потому, что между таким организмом и мертвой природой лежит огромный исторический путь развития и бесконечный ряд превращений органических форм. Процесс развязывания такого «узла» как высший организм столь же сложен, как и процесс образования его. Все бесчисленные фазы, пройденные организмом на протяжении всей истории образования органических форм, составляют те звенья опосредствования, которые составляют соответствующий узел. Вот почему Энгельс и говорит, что «с тех пор, как мы познакомились с бесструктурными монерами, было бы нелепо желать объяснить возникновение хотя бы одной единственной клетки прямо из мертвой материи, а не из бесструктурного живого белка, было бы нелепо желать принудить природу при помощи небольшого количества вонючей воды сделать в 24 часа то, на что ей потребовались тысячелетия»[2]).

Итак, теория эволюции неизбежно приводит нас к комочку протоплазмы, как первоначальной единице, из которой произошло все богатство жизненных форм и которая, раз образовавшись, заключает в себе ряд органических форм. Такой комочек протоплазмы и является первоначальным организмом, как бы это ни казалось здравому рассудку, не способному к диалектическому мышлению, странным и даже чудовищным. С другой стороны, несомненным также является то обстоятельство, что комочек протоплазмы имеет позади себя длинный путь развития, который приводит к неорганическим веществам, из которых так или

[1]) Энгельс, Диалектика природы, стр. 41—43.
[2]) Энгельс, там же, стр. 43.

иначе образовался этот комочек протоплазмы, как универсальный носитель жизни.

Физика нас учит тому, что в истории нашей планеты мы вынуждены допустить огромный период времени, в течение которого жизнь даже в форме существования самого примитивного комочка протоплазмы не могла иметь места. Этот период называется азойским. Стало быть, в истории нашей планеты в момент возникновения в великой мастерской природы комочка протоплазмы совершилось событие огромной важности, завязался чудесный узел, который привел к образованию высших организмов вплоть до человека. Этим переходом от неорганического к органическому веществу природа сделала в своем собственном развитии весьма знаменательный «скачок», взобравшись на новую высшую ступень.

Жизнь представляет собою «узловую линию» в об'ективном процессе эволюции природы. Жизнь есть форма существования белковых тел, их необходимый атрибут. Она возникла, когда планета, завершив азойский период, начала охлаждаться и уплотняться, в результате чего возник процесс химической эволюции, закончившийся образованием комочка протоплазмы, т.-е. возникновением жизни на земле. Органический мир должен был возникнуть из неорганического, жизнь должна была произойти из нежизни, но нелепо было бы утверждать, что жизнь тождественна с нежизнью, что живая природа тождественна с мертвой природой.

Жизнь есть особая категория для обозначения особого вещества с характерными для него свойствами и формами движения. Неужели этого недостаточно для того, чтобы иметь право говорить о жизни, как об особом качестве, отвлеченном от неорганической материи? Что еще требуется для характеристики нового качества? Элементарная структура одинакова как для безжизненной, так и для живой материи. Но живая материя не останавливается на элементарной структуре, а включает ее. Высшие формы или ступени организации заключают в себе всегда, как свое «внутреннее», низшие ступени. Этот факт, впрочем, составляет особую интересную проблему, на которой мы здесь остановиться не имеем возможности.

Как бы там ни было, но живая материя является продолжением неживой материи и это «продолжение» ведет к возникновению нового качества, не исключающего, не отвергающего неживую материю, а включающего и в известном смысле преодолевающего ее. «В своих поисках элементарной структуры живого вещества,—говорит один биолог,—мы пришли в то же место, куда значительно раньше нас добрались физики, химики и минерологи. Мы убедились, что нет и не может быть.

двух теорий строения: одной—для неорганического мира, а другой—для живой природы. Если говорить об элементарной структуре, то она одинакова и для безжизненной и для живой материи. И там, и здесь атомы, потом молекулы, потом системы молекул. Но в безжизненной материи организованность на этой ступени и заканчивается, в живом же веществе она пошла дальше. Системы молекул, или протомеры, соединяются здесь опять в новые, в более сложные морфологические аггрегаты, составляющие следующие, более высокие ступени организации и стоящие уже на границе микроскопического видения. Эти системы опять архитектонически слагаются в более сложные аггрегаты и т. д.» [1]).

Словом, живое вещество, в частности клетка, составляет очень высокую ступень организации, которая в своей элементарной структуре, конечно, одинакова с безжизненной материей. В этой элементарной структуре (атомы, молекулы и системы молекул) выражается единство органического мира с неорганическим. Но коренное различие между ними состоит в том, что на основе элементарной структуры и из нее вырастает нечто новое, специфическое качество, особые формы живой организации, которые составляют как бы противоположность мертвым формам организации. И подобно тому, как позади высших организмов лежит длинный путь развития, бесконечный ряд форм, так и позади первого комочка протоплазмы имеется ряд форм, ведущих в конечном счете к элементарной структуре, т. е. к неорганической материи, к единству обоих миров. Противоположность или различие не исключает, а предполагает здесь единство. И, наоборот, единство, в силу процесса эволюции и дифференцирования, приводит к различию и противоположности.

Совершенно понятно поэтому, почему К. Тимирязев считал, что ни морфология, ни физиология не исчерпывают задач биологии, и почему он настаивал на дополнении сравнительного и экспериментального методов еще методом историческим. В праве ли мы сказать, спрашивает К. Тимирязев, что явления превращения форм, характеризующих развития организмов, также подчиняются физическим законам, общим с неорганической природой, или мы встречаем здесь нечто исключительно им свойственной? И Тимирязев отвечает: и да, и нет. Для об'яснения формо-образовательных процессов, по его мнению, недостаточно одних физических об'яснений. Биолог или физиолог для своего

[1]) А. Б. Немилов, Эволюция клеточного учения («Новые идеи в биологии», сб. № 10, стр. 24—25). Что касается вопроса об эволюции клеточного учения и современных взглядов на элементарную структуру живого вещества, равно как и «теории дробности» Гейденгайма, то мы не считаем возможным входить здесь в их рассмотрение.

синтеза не может довольствоваться одним анализом жизненных явлений; ему надлежит еще знать историю организмов, ибо «если совершенство организации необ'яснимо как результат процесса индивидуального развития, то не станет ли оно понятным, как результат исторического процесса, представляющего только его непосредственное продолжение в бесконечную даль прошлого?» [1]).

Этот исторический подход имел в виду также Энгельс, когда он говорил о нелепости «желать об'яснить возникновение хотя бы одной единственной клетки прямо из мертвой материи, а не из бесструктурного живого белка» и о нелепости желать принудить природу, чтобы она в 24 часа сделала то, на что ей потребовались тысячелетия. Непосредственное, прямое, простое «сведение» даже клетки, не говоря уже о сложном организме, к неорганической материи составляет нелепость потому, что природа нагромоздила здесь целую гору посредствующих звеньев, различных ступеней организации, целую цепь узлов. Вот почему Энгельс высмеивает Дюринга, писавшего, что «от механики давления и толчка до связывания ощущений и мыслей идет одна цельная и единственная скала промежуточных ступеней». Во-первых, говорит Энгельс, Дюринг здесь не дает ничего определенного и конкретного в действительном процессе возникновения жизни. Во-вторых, продолжает он, приведенное утверждение верно лишь наполовину, пока оно не дополнено гегелевой узловой линией отношений меры. «При всей постепенности, переход от одной формы движения к другой всегда остается скачком, решающим поворотом. Таков характер перехода от механики небесных тел к механике меньших масс на отдельных небесных телах, или же переход от механики масс к механике молекул, которая охватывает движения, составляющие предмет исследования физики в тесном смысле этого слова: теплоту, свет, электричество, магнетизм. Точно также переход от физике молекул к физике атомов или химии опять-таки совершается посредством решительного скачка; еще больше это имеет место при переходе от обыкновенного химического действия к химизму белков, который мы называем жизнью» [2]).

Таким образом, между неорганическим и органическим миром существует не только связь и единство, но и различие, разрыв, который выражается в том «решительном скачке», о котором говорит Энгельс. Жизнь генетически исходит до неорганических телец, до «элементарной структуры», составляю-

[1]) К. Тимирязев. Исторический метод в биологии, стр. 35.
[2]) Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 78—79.

щей одинаковое основание или даже базис как для неорганического, так и для органического мира. Но поскольку мы доходим до этой элементарной структуры, до единого основания, жизнь перестает быть жизнью, и организм превращается в свою собственную противоположность. Такое «сведение» приводит к отрицанию того, что надлежит сводить. Однако, поскольку речь идет о происхождении жизни, о связи ее с нежизнью, этот путь правилен: жизнь должна быть генетически выведена из своей противоположности. Но, с другой стороны, для всякого понятно, что жизнь есть особая категория, специфическое качество, своеобразный «узел», в основании которого лежит особое вещество—плазма с присущими ей специфическими свойствами и формами движения. Если «жизнь есть форма существования белковых тел», а это именно так, то очевидно, что она представляет собою своеобразное явление, которое должно быть изучаемо во всех своих особенностях, как определенная форма существования материи. Сложные органические формы приводят нас прежде всего к неорганизованному, бесформенному белковому комочку, как к исходному пункту эволюции организмов; белковый же комочек, в свою очередь, приводит через целый ряд превращений и скачков к неорганическому миру.

Тектология или диалектика.

(Продолжение).

Ник. Карев.

IV. Основные принципы.

Предшествующий разбор отношения тектологии к философии и материализму показал нам, что в основе своей богдановская «всеобщая организационная» точка зрения—враждебная материализму, субъективная, идеалистическая точка зрения. Совершенно очевидно, что со времени эмпириомонизма в этом отношении Богданов ничего не забыл и ничему не научился. Ново то, что теперь Богданов обращает главное внимание на методологию, пытаясь затушевать в глазах читателя ее обусловленность общими философскими предпосылками. Этой цели должно служить противопоставление тектологии, как всеобщей методологии—философии, занимающейся такими вопросами, как проблема отношения мышления к бытию, материализма к идеализму. Именно с этой целью Богданов рассматривает задачу построения всеобщей методологии не как одну из задач философии, а как нечто противоположное философии, долженствующее заменить ее. Так меняются времена, и тот самый идеализм, который так недавно торжественно ввозился с «просвещенного запада», как последнее слово науки, в назидание косневшим в невежестве диалектическим материалистам (см. «Приключения одной философской школы» все того же Богданова, стр. 21), ныне тщательно укрывается под двойное дно, как бесспорная контрабанда, которая, будучи преподнесена в своем настоящем виде, может лишь скомпрометировать своего творца. Стоит с этим сравнить, как решительно некогда выступал Фихте с резким и в основном верным противопоставлением материализма и идеализма—за идеализм! Как в малой капле вод, отражается в этом судьба обреченного историей классового общества и того, что было смертного в созданной им культуре.

Однако, если снять с «тектологии» маску «беспристрастия» в отношении материализма и показать ее подлинный, целиком идеалистический, облик—было нашей первой задачей, то следующей является дать разбор самой методологии А. Богданова.

Богданов ставит своей целью дать всеобщую методологию знания и практического действия. Марксизм, диалектический материализм ставит пред своей логикой ту же задачу. Поскольку Богданов исходит из суб'ективно-идеалистической, «организационной» точки зрения, марксизм же—из материализма, «тектологическое» решение задачи не может не быть прямо противоположным марксизму. Вскрыть эту противоположность и составит предмет нашей работы.

а) Организация и развитие.

Изыскивая предшественников организационной науки, Богданов приходит к заключению, что «первая попытка универсальной методологии принадлежит Гегелю». Однако на разборе примера с Марксом мы уже знаем, что значит быть предшественником А. Богданова. Это значит развивать точку зрения, как раз обратную тому, что ныне исповедует наш философ. То же имеет место и по отношению к Гегелю. Провозглашая гегелевскую диалектику предшественницей организационной науки, немедленно вслед за этим Богданов заявляет: «В своей диалектике Гегель думал найти всеобщий мировой метод, при чем понимал его не как метод организации, а более неопределенно и абстрактно, как метод «развития». Уже этой неясностью и отвлеченностью исключался об'ективный успех попытки» [1]. Однако отвергнуть точку зрения развития и значит отвергнуть основное из того, что внес Гегель в сокровищницу науки. Еще Иосиф Дицген писал, что «диалектическое искусство или логика, которая учит, что мировое целое или весь мир есть единая сущность,—есть абсолютное учение о развитии» [2]. Но не может быть точка зрения развития составляет что-либо специфическое для идеалистической диалектики Гегеля и не разделялась Марксом? Как ни хотелось бы Богданову внушить это читателю, он вынужден признать, что и Маркс, вслед за Гегелем, стоял на точке зрения развития. В «Философии живого опыта», переходя от диалектики Гегеля к диалектике Маркса, Богданов пишет: «Пользуясь нашими методами, мы с самого начала определили диалектику так: организационный процесс, идущий путем борьбы противоположных тенденций». Богданов таким образом не обнаруживает никакого желания расстаться с популярным словом «диалектика», стремясь в него только вложить свой смысл. Однако «совпадает ли это с пониманием Маркса? Очевидно, не совсем: там дело идет о развитии, а не об организационном процессе» [1]. В этом суть дела.

[1]) «Тектология», стр. 64.
[2]) И. Дицген, Аквизит философии и письма о логике, стр. 188.

В чем же состоит различие между организационной точкой зрения и точкой зрения развития?

Сам Богданов его формулирует таким образом: термин развитие «сравнительно (?) неопределенный (??); обычно он применяется в смысле усилия, усложнения каких-нибудь комплексов, реальных или отвлеченных: напр., говорят о развитии организма, развитии машин, развитии болезни, развитии противоречий. В первом и отчасти во втором примере есть налицо элемент возрастания организованности, в двух остальных его нет» [2]).

Этим выводом у Богданова начинается критика диалектического метода Маркса и Энгельса. Подвергнем же в свою очередь критике эту критику.

Действительно ли понятие «развития»—нечто неопределенное, более неопределенное, чем хотя бы богдановская идея «организации»? Что мы имеем в виду, когда говорим о развитии организма, машин, болезни, противоречия? Прежде всего этим самым мы устанавливаем, что данное явление не представляет чего-то законченного, оледеневшего, что определяющей его тенденцией является не «стабилизация», а движение, изменение, нарастание новых элементов. Глупо сказать, что качающийся маятник развивается—он стремится к равновесию. Это—определяющая его тенденция. Но и не на много более умно сказать о ребенке, находящемся в периоде здорового роста, что он «организуется»—он развивается. Таким образом, как раз понятие развития оказывается более точным, чем понятие организации, так как в нем выдвинут на первый план момент становления, изменения предмета, в то время как эта важнейшая сторона дела скрадывается в понятии организации, равнодушном к покою и движению. Но понятие развития заключает в себе и еще один важнейший момент. Сказать, что ребенок развивается, это значит отметить в его росте не только количественное накопление элементов, но и внутреннее изменение его структуры, качественный переход его в новую форму. При этом в понятии развития это изменение понимается не только как результат внешнего, «организующего» воздействия на предмет, но и как результат движения, внутренне присущего самому предмету, во взаимодействии со средой переходящего в новую форму. Это—точка зрения движения самого об'екта. И так же как «организационная» точка зрения в основе своей является идеалистической, так как при-

[1]) А. Богданов, Философия живого опыта, изд. 2, стр. 242.
[2]) Там же.

вносит «организованность», закономерность в об'ективный мир извне, от суб'екта, точка зрения развития по самому существу своему есть об'ективная точка зрения, неизбежно ведущая к материализму.

Совершеннейшие пустяки поэтому утверждает А. Богданов, когда противопоставляет, скажем, развитие организма, как ведущее к большей организованности, развитию болезни, как разрушающей ее. Он исходит при этом из суб'екта и не видит, что и в том, и в другом случае об'ективно мы имеем процесс развития именно потому, что налицо появление нового, приводящее к качественному преобразованию вещи. И именно поэтому, если идея организации у Богданова исключает борьбу противоречий внутри организованного целого, идея развития предполагает ее, как свою движущую силу. Естественно, что, отвергая марксовскую точку зрения развития, Богданов должен отвергнуть и учение о единстве противоположностей, составляющее живую душу диалектики.

б) Богдановская критика диалектики.

Начнем с той критики, которой подвергает Богданов положения, развиваемые по вопросу о диалектике Энгельсом в «Анти-Дюринге». Его, конечно, не удовлетворяет постановка проблемы противоречия основоположниками марксизма. С точки зрения Энгельса как только мы берем вещи не в их спокойном, бездвижненном состоянии, а в их движении, изменении, жизни и взаимодействии—мы сейчас же попадаем в область противоречий. Уже простое механическое движение содержит в себе противоречие, поскольку оно «может совершаться лишь так, что данное тело в один и тот же момент времени находится в том же самом месте и не находится в нем. Постоянное возникновение такого противоречия и одновременное его разрешение именно и образуют движение»[1]). А «если уже простое механическое перемещение содержит в себе противоречие, то в еще большей степени его содержат высшие формы движения материи, и в особенности же органическая жизнь и ее развитие. Жизнь организма стоит прежде всего в том, что данное существо представляет собой в каждый данный момент тем же и все-таки чем-то иным. Следовательно, жизнь также есть существующее в самих вещах и явлениях, постоянно полагающее и разрушающее себя противоречие; и как только это противоречие прекращается, прекращается и жизнь, наступает смерть»[2]).

[1]) Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, изд. 3, 1924 г., стр. 139.
[2]) Там же, стр. 139—140.

С богдановской идеей организации совершенно не согласуется такое понимание реальных противоречий жизни, и он решительно выступает против него. Нас сейчас не интересует, что понимает сам Богданов под «реальным противоречием». Это составляет основу его теории равновесия, и ею мы займемся особо в следующей главе. Сейчас нас интересует прежде всего та критика, которой подвергает Богданов положения и примеры Энгельса.

Итак, во-первых, Энгельс говорит о противоречиях механического движения, вскрытых еще Зеноном. Но на деле, с точки зрения Богданова, «Энгельс, как и Зенон, обнаружил только противоречия двух понятий, применяемых к движению, понятий «находиться» и «не находиться» там-то,—а не противоречие реальных сил или тенденций»[1]). А это есть идеальное, только в мышлении существующее противоречие, защищать которое и значит скатываться к гегелевскому идеализму. (Любопытно, как все критики диалектики, начиная с Бернштейна, всегда стремились опорочить метод Маркса тем, что он заимствован у Гегеля и потому-де неразрывно связан с идеализмом. Богданов не составляет в данном случае исключения.) Однако он не удовлетворяется одним утверждением о якобы идеалистическом понимании Энгельсом противоречия, но стремится в свою очередь показать далее, что даже и самое понятие «находиться» применено Энгельсом к движущемуся телу неправильно.

Вот ход его рассуждений.—Наши понятия заимствованы из опыта и относятся к опыту, а не живут сами по себе. Когда мы употребляем понятие «находится в определенном месте», то выражаем этим либо то, что не можем для данного тела констатировать какое бы то ни было перемещение, либо отвлекаемся от этого перемещения (когда, напр., мы говорим, что папа «находится» в Риме, в то время как он внутри Рима может перемещаться и у себя в комнате, и по двору, и по всему городу). Когда же мы хотим указать на факт движения, мы употребляем понятие «перемещения». Противоречие возникает лишь тогда, когда слово «находится» мы один раз употребляем в одном смысле («нахождения»), а другой раз—в другом («перемещения»). Двухтысячелетняя проблема противоречивости движения решена. Энгельс посрамлен и формальная логика торжествует! Не чересчур ли легкая победа?

В самом деле. Когда мы говорим, что тело «находится в таком-то месте»—в первом смысле Богданова—мы отвлекаемся от движения, присущего телу, либо в силу того, что не в состоянии обнаружить это движение, как отмечает сам Богданов, либо

[1]) «Философия живого опыта», стр. 243—244.

потому, что оно не представляется существенным для наших ограниченных целей. Но мы знаем, что на самом деле тело всегда находится в движении, всегда «перемещается». Поэтому все, что доказывает Богданов во второй части своих возражений Энгельсу, и сводится лишь к одному, весьма элементарному и прямо противоположному целям Богданова выводу,—именно, что мы, становясь на почву формальной логики, мысленно можем отвлечься от перемещения тела и рассматривать его, как покоящееся в определенном месте пространства. Но в действительности тело всегда перемещается, и весь вопрос и заключается в том, что из себя представляет это перемещение. Можно, конечно, сказать, что движущееся тело надо называть «перемещающимся», а «находящимся в каком-либо месте» его можно называть лишь в том случае, если отвлекаешься от движения. Но можно ли таким поистине детским рассуждением устранить проблему того, что же представляет собой само «перемещение»? Старая проблема в новой словесной оболочке опять стоит перед нами во весь рост. Дело вовсе не в том, что мы условимся понимать под словами «находиться» и «перемещаться», а совсем в другом,—что в действительности представляет собой движение, перемещение: в процессе движения в один и тот же момент занимает или не занимает тело данное место в пространстве? Занимает, так как его не может одновременно занимать какое-либо иное механически движущееся тело, не занимает, так как оно непрерывно перемещается на другое место. Противоречие заключается как раз в том, что данное ограниченное тело в бесконечном и непрерывном пространстве и в условиях непрерывно текущего времени непрерывно проходит ряд мест, т.-е. ограниченных отрезков пространства. Это противоречие исчезнет, если мы возьмем всю материю в целом, по отношению к которой пространство является, конечно, не об'емлющей ее коробкой в духе Ньютона, а формой ее собственного бытия, составляющим ее моментом. Но это противоречие немедленно возникает, как только мы берем движение конечного тела в бесконечном пространстве, и от этого противоречия нельзя увернуться никаким словесными ухищрениями или выкрутасами. В основании этого противоречия, таким образом, и лежит то обстоятельство, что реально пространство и время представляют собой единство прерывистости и непрерывности, единство противоположностей, которое нельзя понять формально-логически. Когда Богданов утверждает, что в данном случае имеет место противоречие понятий, а не реальной действительности и на основании этого упрекает Энгельса в идеализме, он сам стоит целиком на идеалистической точке зрения, потому что понятия пространства и места,

времени и момента времени, прерывистости и непрерывности, покоя и движения у него приобретают значение пустых символов, которым ничто не соответствует в действительности, в то время как они выражают определенную сторону в самой действительности, определенный момент в составляющем ее единстве противоположностей. Богданов отрицает материалистичность диалектики Энгельса на том основании, что в приводимых им примерах нет «борьбы реальных сил и тенденций». Он не понимает, что в данном случае перед нами единство таких реальных моментов действительности, синтез которых и образует пространство, время и движение.

То же самое имеет место и в отношении жизни. Для Богданова здесь то же «недоразумение», поскольку-де в одном случае слова «быть тем же самым» взяты в обыденном (?), приблизительном (?) значении, другой раз в метафизическом, абсолютном»[1]). Просто и ясно! Слишком просто! В действительности же дело вовсе не в словах, а в том, что самый процесс жизни является таковым лишь постольку, поскольку он осуществляет единство противоположностей. Жизнь есть постоянно воспроизводящий самого себя химический процесс, способность к которому обнаруживает лишь особый род химических соединений—белковые тела. С одной стороны, говорить о живом мы можем лишь до тех пор, пока сохраняется возможность этого непрерывного воспроизводства самого себя, с другой—реализация этой возможности и есть не что иное, как постоянное усвоение и переработка органическим телом все новых и новых элементов, постоянное изменение самого себя. Поэтому устранение любого из этих противоположных моментов процесса жизни ведет к прекращению ее, к смерти. И это постоянное воспроизводство самого себя и постоянное изменение—не только пустые абстрактные понятия и символы, а реальные процессы, происходящие в живом. Их единство и есть живое.

Что стоит в сравнении с этой гениальной трактовкой жизни, намеченной еще Гегелем, жалкий лепет Богданова о различных значениях слов и об идеализме Энгельса? Сила мысли прежде всего обнаруживается в способности понять мысль другого и измеряется глубиной этого понимания.

Последний козырь в руках Богданова — критика примера Энгельса с единством противоречий в математике. Энгельс пишет, что «одним из главных требований высшей математики является противоречие, заключающееся в требовании, чтобы при известных условиях прямое и кривое принимались за одно и то же»[2]). Богданов, естественно, не может не преминуть выразить

[1]) Там же, стр. 245.
[2]) «Анти-Дюринг», стр. 140.

свое недовольство. Аналитическая геометрия,—говорит он,—действительно рассматривает прямую, как частный случай кривых линий, и разлагает кривую на бесконечно-малые отрезки прямой, но это все ведь опять-таки абстракции и никакого реального противоречия здесь нет. В реальном опыте нет ни прямых, ни кривых линий, о которых говорит геометрия. В опыте есть брусья, проволоки, рельсы и т. п. физические тела, которые лишь в вычислениях заменяются отвлеченными символами «линий», т. к. в данном случае исследователя не интересует ни ширина, толщина или другие свойства, а только длина. В действительности они не прямые или кривые, а вообще обладают неправильной формой. И вновь-де у Энгельса якобы смешение приблизительного и абсолютного смысла слов. Конечно, Богданов прав в том, что математика оперирует абстракциями, и это показали очень хорошо не кто иные, как именно Гегель и Энгельс. Но эти абстракции вовсе не пустые создания нашей головы или ничему в действительности не соответствующие символы, а в основных своих понятиях абстракции от реальной жизни, отображающие те или иные действительные отношения предметов. Хотя длины без толщины и т. п. и не бывает, но, к счастью для Энгельса, никто еще не ухитрился до сих пор начертить на бумаге длину какого-либо предмета, ею не обладающего. Впрочем, может быть, теперь А. Богданов и собирается поразить нас, нанеся на бумагу длину своего понимания Энгельса, хотя мы боимся, что и это будет также неуловимой величиной. Математические абстракции отражают реальные отношения в природе, и именно поскольку они отражают реальность, а не становятся предметом формально-логической спекуляции, и чем точнее они отражают конкретное, тем более в них противоречий. Самые точные вычисления имеют дело как раз с кривыми и бесконечно-малыми, этими полными противоречий элементами.

Так как примеры Энгельса из «Анти-Дюринга» с единством противоречий в низшей математике Богданов благоразумно обходит молчанием—не будем тревожить его излишними неприятностями. Перейдем к тому, почему точка зрения единства противоречий вызывает такое недружелюбие со стороны Богданова и в каком отношении к нему находится его понятие организации.

в) Тождество и противоречие.

Как же совершается самый процесс развития? Что является движущим в нем?—Еще Гегель учил о том, что противоречие ведет вперед. С точки зрения марксизма процесс развития есть процесс «раздвоения единого на взаимоисключающие противоположности и взаимоотношение между ними» (Ленин). Борьба этих

противоположностей составляет содержание истории природы и общества. Всякий предмет мы должны изучать с точки зрения борьбы и развития заложенных в нем противоположностей. Противоположности эти не представляют собою чего-либо абсолютно исключающего друг друга, а постоянно находятся в развитии и изменении. Задача научного познания вскрывать этот противоречивый характер явлений, тенденции их развития, чтобы позволить нам, опираясь на это знание, действовать в направлении желательной для нас перспективы. Наука вовсе не устраняет присущих опыту противоречий, так же как, следуя Марксу, коммунисты вовсе не говорят миру «перестать бороться, вся твоя борьба—пустяки», а указывает истинное значение этих противоречий, дает истинный лозунг борьбы.

С точки зрения Богданова задача науки заключается в устранении противоречий опыта. Это—«организационная» задача, так как самое понятие «организованности», по Богданову, заключается как раз в устранении противоречий [1]). Синтез, преодоление противоречий, утверждается не как результат движения самой действительности, порождающей новые противоречия, а как результат организующей деятельности нашего мышления [2]).

Чем меньше противоречий, тем выше организованность комплекса. Но что же такое сама эта организованность? Как она создается? Откуда возникает возможность организации, если исходить не из внутренне присущего предметам движения?

Тектология представляет попытку дать ответ на все эти вопросы.

Материалом для организационной деятельности человека и его мышления, по Богданову, являются данные в «опыте» «элементы». Поскольку сами по себе эти элементы не обладают внутренне присущим им движением, «нейтральны» не только по отношению к физическому и психическому, но и ко всякой земной материальной жизни, постольку связь между ними может быть установлена лишь извне, лишь механически они могут быть приведены в соприкосновение друг с другом. Эта механическая точка зрения является лейт-мотивом всей тектологии. К подробному разбору ее мы вернемся еще в дальнейшем, сейчас же нам важно установить лишь основной характер организационных связей по Богданову.

Давно замечено,—пишет Богданов,—что «человек в своей организующей деятельности является только учеником и подражателем великого всеобщего организатора—природы. Поэтому методы человеческие не могут выйти за пределы методов при-

[1]) «Тектология», стр. 71.
[2]) См. «Тектология», стр. 20.

роды, и представляют по отношению к ним только частные случаи. Но нам эти частные случаи, разумеется, более близки и знакомы, и потому изучение организационных методов приходится вести, исходя именно из них, а от них переходя уже к более общим, и затем всеобщим путям организации в природе.

Давно замечено и установлено, что во всей своей деятельности—в практике и мышлении—человек только соединяет и разделяет какие-нибудь наличные элементы. Процесс труда сводится к соединению разных «материалов», «орудий» труда и «рабочей силы» и к отделению разных частей этих комплексов, в результате чего получается организованное целое—«продукт».

Соединяются усилие работника, режущий инструмент, кусок дерева, отделяются стружки и кусочки дерева, раз'единяется с ним инструмент, завершивший свое движение; прилагается новое усилие к инструменту, приводящее к новому его соприкосновению с куском дерева и т. п.; цепь сочетаний и раз'единений, иногда сравнительно простых, чаще очень сложных, трудно описываемых словами,—но всегда только это, и никогда ничего такого, что не укладывалось бы в эти понятия. И так же в области мышления. Усилие обобщающее связывает, об'единяет элементы или комплексы опыта, усилие различающее обособляет их; ничего иного, выходящего за эти рамки, здесь быть не может. Никакая логика, никакая методология не находила до сих пор ничего третьего» [1]).

Это место типично для метода тектологии. Оно вместе с тем исходный пункт для всех дальнейших построений «организационной науки», поскольку с ее точки зрения «первичный момент, порождающий изменения, возникновение, разрушение, развитие (?!) организационных форм, или основа формирующего тектологического механизма (курсив А. Богданова. *Н. К.*) есть соединение комплексов» [2]). Именно это соединение и составляет содержание универсального и «международного» термина «кон'югации». Но так же, как зерно потенциально заключает все будущее растение со всем богатством его разветвлений и плодов, так и это понятие Богданова концентрирует в себе основные ошибки всей системы.

Из понятия «кон'югации» вытекает понятие «ингрессии». Как связать изолированные друг от друга элементы и комплексы, если сами по себе они неизменны и не переходят друг в друга, не одарены внутренне присущим им движением? Этого можно достичь лишь введением между ними особого «организующего» комплекса, создающего цепную связь элементов опыта. «Ингрессия» и есть не что иное, как устанавливаемая таким образом «всеобщая форма цепной связи». А «цепная связь есть форма нашего мышления об организационных комбинациях (курсив Богданова. *Н. К.*): мы не можем представить их иначе, как принимая наличность общих звеньев между их различными частями,—и если таких звеньев не находим, то вынуждены конструировать их мысленно» [1]).

[1]) «Тектология», стр. 98.
[2]) «Тектология», стр. 100.

Таким образом вновь, как и на примере с временем и пространством, повторяется старая кантианская песня. Основные тектологические понятия оказываются не чем иным, как формами нашего мышления, которым принудительно подчиняются данные в опыте явления. Этого уже достаточно для того, чтобы сказать, что тектологическая закономерность ничего общего не имеет с наукой, с материалистической закономерностью развития природы и общества, поскольку ее законы представляют продукт организующей деятельности нашего мышления, а не отражения действительных отношений материального мира.

Однако легко убедиться, что даже при попытке «материалистического» понимания «Тектологии» ее основные понятия оказываются бесплодными. Если они и совместимы с чем-либо подобным материализму, то лишь с примитивным, вульгарным, механическим материализмом.

Прежде всего это касается понятия ингрессии. Возьмем один из приводимых Богдановым примеров. Опыт показывает, что посредством целесообразно подобранных вводных звеньев можно установить реальную связь между любыми комплексами, как бы ни были они удалены друг от друга. Так «можно координировать усилия работников, находящихся на противоположных сторонах земного шара: надо только ввести между ними достаточное число телеграфных станций и проводов; можно устроить переговоры между ожесточенно бьющимися врагами—надо только найти подходящих посредников; можно добиться взаимного понимания и точного согласования действий между эскимосом и папуасом, между английским рабочим и русским крестьянином,—нужны только знающие и толковые переводчики; можно соединить огонь и воду для приготовления пищи, нежные клетки мозговых центров и стальное орудие—для производства или разрушения, и т. д.» [2]). Этот пример—классический образец тектологической схемы. В самом деле, что утверждает Богданов и чем помогает научному познанию его понятие ингрессии? Бесспорно, что внешняя связь между раздельными в опыте «комплексами» устанавливается через посредство третьего элемента,

[1]) «Тектология», стр. 111.
[2]) «Тектология», стр. 116.

непосредственно соприкасающегося с ними обоими. Это есть именно чисто-внешняя связь, поскольку в данном случае вовсе не принимается во внимание переход одного предмета в другой, изменения немеханического порядка. С этой точки зрения безразлично, является ли этим третьим в нашей схеме провод между двумя телеграфными станциями или «посредник» в классовой борьбе. Но остановиться на констатировании существования этого связующего третьего может лишь глаз, скользящий по поверхности явлений. Действительное научное исследование начинается как раз там, где останавливается, исчерпав себя до дна, богдановская схема—в изучении того, что представляет собой это третье в отношении к данным явлениям, какую качественно роль оно играет, чье по преимуществу влияние передает, какой цели служит. С тектологической точки зрения, например, установление переговоров между «ожесточенно бьющимися врагами», скажем, в классовой борьбе—лишь дело подыскания «подходящих» посредников! Стоит ли говорить, к какому гигантскому шагу назад от науки к утопии и оппортунизму вело бы принятие всерьез организационной методологии в практике освободительной борьбы рабочего класса. Любой пионер раз'яснит Богданову, что дело не в «посредниках», «посредники»—внешность, а в том, агентами какого класса выступают эти «посредники» и какие цели преследуют. То-есть существенно как раз не то, что они «третьи» лица, а то, к чему из д в у х данных сторон они примыкают и ч ь е влияние проводят.

Пустое сказать, что между двумя раздельными комплексами непременно входит третий, их связующий, так как это заключено уже в самом понятии р а з д е л ь н о с т и данных в богдановском примере комплексов. Далее рассуждений словоохотливого и пустозвонного щедринского «карася-идеалиста» здесь не уйдешь. Наоборот, задача истинного метода познания и действия заключается в том, чтобы не останавливаться на этом чисто-внешнем и бессодержательном положении, а искать обусловливающих это третье корней в борьбе наличных противоречий, динамике развития, в окружающей его среде.

В связи с этим следует отметить, что и самое понятие о т д е л ь н о г о комплекса трактуется Богдановым поразительно бессодержательно. Утверждая приоритет непрерывности, он пытается даже поставить серьезно, с одной стороны, проблему атомистического строения материи и с другой—проблему границы, этого воплощенного противоречия и синтеза прерывности и непрерывности одновременно. Однако, как мы знаем уже из предыдущего, Богданов гораздо охотнее декретирует «туманность» и «неопределенность» диалектики, нежели обнаруживает желание и способность вдуматься в поставленные ею проблемы. Куда

легче отделаться от Гегеля взятыми на прокат в вульгарных историях философии характеристиками («абстрактно», «голая спекуляция», «философ прусской монархии»), нежели всерьез продумать «Науку логики». Но зато и результат исследования вполне соответствует затраченному усилию мысли.

Итак, на примере ингрессии мы уже видели, как изучение конкретно-противоречивого развития действительности подменяется в «Тектологии» установлением внешней схемы, тождественной на все случаи жизни и схватывающей лишь поверхность явлений.

Основное, под знаком чего рассматривает все существующее тектология, есть точка зрения тождества. В этом сказывается целиком формально-логическая природа тектологии. С особенной ясностью раскрывается она при разборе уже упоминавшегося нами основного принципа организационной науки—кон'югации.

В самом деле, что значит утверждать, что основной и единственный тип связи любых явлений опыта есть соединение, кон'югация? Прежде всего это значит устранить момент противоречия в действительных отношениях мира, представить противоречие, как один из типов кон'югации. Богданов и идет этим многообещающим путем. Для него «понятие» «кон'югационного процесса» в тектологии чисто формальное: оно относится ко всякому слиянию или смешению каких бы то ни было активностей, без всякой побочной идеи о «мирном» или «дружественном» его характере, а также без всякого оттенка обязательной «материальности» в этом слиянии или смешении. Например, боевая свалка, взаимный захват пленных, оружия, припасов борющимися отрядами,—явления с этой точки зрения настолько же кон'югационного типа, как об'единение двух организаций, слияние двух потоков, обмен людей трудом и продуктами и т. п.» [1]). Тип связи, способ, каким осуществляется соединение, теряет всякое значение. Важна лишь чисто-внешняя форма связи. Борьба и соглашение, война и мир тождественны друг другу sub specie tectologiae. Отсюда с точки зрения тектологии и то, к а к и м о б р а з о м разрешается противоречие, не имеет значения. Важен лишь п у с т о й р е з у л ь т а т процесса, оторванный от пути, к нему ведущего. Так, разбирая тектологическое значение новейших революций, Богданов пишет: «Буржуазные» тяготели к смешению, т.-е. кон'югации сословий господствовавших с низшими; «социалистическим» предстоит задача слияния (!) классов. То обстоятельство, что кон'югация здесь идет в формах борьбы, или хотя бы даже (!!) войны, как мы указывали, ничего не меняет (!!) в тектологическом существе факта» [2]).

[1]) «Тектология», стр. 136.
[2]) Там же, стр. 348.

Вот именно. Но эта точка зрения как раз прямо противоположна марксовской, революционно-диалектической точке зрения. Еще Гегель учил, что «дело не исчерпывается его цельюо, но состоит также и в раскрытии ее; результат не есть действительное целое, но является таковым совместно с процессом его возникновения; цель для себя есть безжизненное всеобщее, как тенденция есть простое стремление, лишенное еще своей действительности, и чистый результат есть труп, оставивший тенденцию позади себя» [1]). Поэтому точка зрения, для которой существенен лишь результат процесса, вне пути к нему ведущего, есть как раз созерцательная, а не практическая точка зрения. Созерцательной, вопреки всем своим клятвам, всегда была и будет «организационная наука», несмотря на всю свою словесную действенность. В другом месте Богданов говорит, что «предвидение конечных результатов может быть достигнуто в значительной мере независимо от гораздо более трудного предвидения промежуточных этапов и колебаний социально-исторического гистолиза» [2]). Но изучение путей и форм перехода и есть как раз важнейшее, составляющее центральную задачу диалектического метода. И только это есть точка зрения исторической и предметной революционной деятельности. Только тогда возможно действительное понимание результата, как синтеза борьбы противоречий, а не как плоского слияния борющихся сторон. У Богданова в полном согласии с общим духом всей «Тектологии» возможно лишь второе понимание. Любимый пример его—две сливающиеся капли воды,—повторяющийся почти в каждом отделе организационной науки. Как просто было бы уничтожение сословий и классов, если бы их «слияние» было подобно тому, как сливаются два потока в течении реки и две тождественные друг другу капли! Но и как бедна «наука», все содержание которой умещается в двух каплях воды! У Богданова исчезает роль отрицательного момента в развитии противоречий, синтез носит исключительно механический характер и отсюда—почти гениальное по бессодержательности обоснование оппортунизма на вечные времена. Это неизбежный вывод из отождествления диалектики с механистической точкой зрения, борьбы — с соединением и синтеза—со слиянием.

Пустому тождеству всего и вся тектологии диалектика противопоставляет точку зрения единства противоположностей в действительности, которая за их противоположностью не забывает единства и в единстве видит противоположность.

[1]) Гегель, Феноменология духа, стр. 2.
[2]) «Тектология», стр. 464.

Что такое борьба классов при капитализме? Это не пустое единство пролетариата и буржуазии, в рамках данной общественно-экономической формации, ведущее к их «слиянию». Это прежде всего борьба, в которой развитие капиталистического способа производства имеет своей обратной стороной рост современного пролетариата, выступающего в качестве антитезы классу буржуазии. Однако пролетариат выступает не с голым отрицанием созданного буржуазией общественного строя, его техники и культуры, а с отрицанием определенного содержания этого строя, его основного принципа и святая святых—частной собственности. «Возвещая разложение прежнего миропорядка, пролетариат высказывает лишь тайну своего собственного бытия, ибо он—фактическое разложение этого миропорядка. Требуя отрицания частной собственности, пролетариат лишь возводит в принцип общества то, что общество возвело в его принцип, что овеществлено в нем уже помимо его содействия, как отрицательный результат общества» [1]). Однако, отрицая частную собственность, пролетариат тем самым выдвигает и положительное требование общественной собственности на созданные в условиях капиталистического развития производительные силы и продукты общественного труда. Выступая с отрицанием капиталистического способа производства, пролетариат тем самым выступает и с положительной программой перестройки общества на новых началах. Он осуществляет эту программу в результате классовой победы над буржуазией через посредство диктатуры пролетариата.

Однако, выступая как антитеза классу буржуазии, требуя отрицания частной собственности и тем самым, говоря словами Маркса, возводя в принцип общества то, что общество возвело в его принцип, пролетариат путем классовой победы над буржуазией отрицает и самого себя, как антитезу буржуазии, превращаясь в класс свободных работников социалистического общества. Синтез, отрицание отрицания, возникает, таким образом, в результате разрушительной и творческой работы отрицательного момента, усваивающего и перерабатывающего содержание положительного. Диалектический синтез ни в коем случае не является результатом механического смешения или «слияния» борющихся сторон.

В развитии мы имеем подлинное единство противоположностей, возникающих в результате раздвоения единого в процессе его движения, постоянно переходящих друг в друга и отрицающих одно другое.

Поэтому и устранение противоречия, переход к высшим фор-

[1]) К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. I, стр. 380.

мам есть вовсе не «слияние» этих противоположностей в «организующем» их единстве, а результат борьбы, превращения отрицательного в положительное, создания нового единого, порождающего в своем движении новые противоречия. Подлинная организованность является не результатом некоей высшей «сливающей» и механически об'единяющей деятельности, а результатом победы отрицательного начала, разрушения старого и утверждения на смену ему нового положительного.

Не удивительно после этого, что Богданов с особенным удовольствием повторяет старый филистерский трюизм о том, «насколько легче разрушать, чем творить» [1]). Преклонение перед этим изречением понятно для апологета, задачей которого является запугать массы трудностями строительства после революционного разрушения основ существующего строя, но оно вовсе не к лицу человеку, претендующему на революционность. Строить *новое* трудно. Это верно. Но легче ли разрушать старое? Потрясти основы строя, подкрепляемого всей силой власти, находящейся в руках господствующего класса, свергнуть его, разрушить веками складывавшиеся отношения угнетения и эксплоатации и прошибить стену предрассудков, преграждающую путь человеческому прогрессу? Легко ли «организовать» социальную революцию? И не заключается ли *строительная* задача пролетариата после революции также и в *разрушении* живучих и цепких остатков старого общества, старого быта, старой психологии? Не две ли стороны это одной и тей же задачи? Не является ли строительство нового—разрушением старого и разрушение старого—строительством нового?

Богданову совершенно чуждо такое диалектическое понимание отношения созидания и разрушения, так же как единства и противоречия. Это вполне вытекает из всей методологии организационной науки, формально-логической природы ее категорий. Для Богданова «борьба означает активности, направленные противоположно и в той или иной мере друг друга уничтожающие, т.-е. наличность дезингрессии; хотя она результатом своим может иметь и прогресс, но *сама по себе* она—явление дезорганизационное» [2]).

Как не восхищаться этой парящей над действительностью организационной меркой, которая великодушно приемлет результат борьбы, отрицая путь, к нему ведущий, и презрительно третирует его, как «дезорганизацию»! Отличие этой утопической точки зрения от воззрений старых утопистов заключается только в том, что в то время, как старые утописты *предвещали*

[1]) «Тектология», стр. 402.

[2]) Там же, стр. 250.

революцию, тектология знаменует лишь оппортунистическую *реакцию против революции*.

Ни единство противоположностей, ни противоречие—живая душа марксовского метода—не нашли себе никакого места в тектологических схемах Богданова и их заменили мертвое тождество и механическое «соединение» в качестве основных принципов «формирующего механизма».

г) Схема и закон.

Уже на разобранном примере видно, что представляют собой гегелевская и марксовская «триады». Естественно, что Богданов не мог не извратить их смысла самым радикальным образом. Уже не говоря о том, что он решительно не понимает значения «триады» с точки зрения диалектического метода, самое содержание ее представляется им до нельзя плоско.

Исследуя в третьей части «Тектологии» организационную «диалектику» (как не употребить популярное слово!), Богданов ставит в упрек старой, «формальной» (?!) диалектике Гегеля и Маркса то обстоятельство, что она «оставляет невыясненной общую механику развития, разве лишь минимально ее намечая» [1]). Богданов хочет указать дорогу, так сказать, *легальному* ревизионизму в марксизме, который, якобы принимая те или другие диалектические формулы, требовал бы, вполне как будто основательно, раскрытия их содержания, механизма, скажем, скачков, развязывания узловых линий, *об'яснения* прерывов непрерывностью. Нужды нет, что таким образом по существу дела отрицается самый принцип скачков и революционного, прерывного типа развития, так как он сводится лишь к видимости, нуждающейся в более «глубоком» эволюционном об'яснении. Зато *словесно* сохраняется верность учителям и создается иллюзия ортодоксальности. Что у Богданова мы постоянно встречаем этот прием — доказывает все предшествующее изложение.

Так в чем же заключается Богдановское «об'яснение» триады?

Разгадка лежит в трактовке им понятия противоположности. Вода «противоположна» льду, растение—семени, из которого оно развилось, и т. п.,—рассуждает он.—«Но ведь вода и лед сохраняют огромное множество общих свойств, физических, химических и иных; этих общих свойств гораздо больше, чем различий; где же тут «противоположность»? Она состоит именно в том, что мы *противополагаем* ту и другую фазу, выделяя и фиксируя их немногие различия, отбрасывая все общие черты, абстраги-

[1]) «Тектология», стр. 514.

руясь от них. Всякое различие становится противоположностью для нас, когда оно одно закрепляется в поле мышления, «отвлекшегося» от общих признаков.

«Таким образом, отношение «тезиса» и «антитезиса» есть просто отношение различия двух ступеней какого-нибудь процесса, возведенное мышлением в противоположность» [1]).

Таким образом, и здесь Богданов следует обычному пути формальной логики, рассматривающей противоположность и противоречие, как результат работы нашего мышления, а не как нечто присущее самой действительности. Но еще старик Гегель говорил, что представляется слишком большой нежностью относительно мира удалять из него противоречие, помещая последнее в разум. Противоположности, фиксируемые мышлением, представляют собой не плод нашего суб'ективного «отвлечения», а отражения противоположностей самой действительности. Достаточно было бы напомнить только что упоминавшийся пример с классами, чтобы доказать это. Но возьмем даже и тот пример, который приводит сам Богданов. Результат ли только обрабатывающей деятельности нашего мышления противоположность льда и воды или они действительно противоположны друг другу в природе? Богданов бессилен решить этот вопрос, так как метафизически понимает самую противоположность. Ему кажется, что противоположность исключает наличие каких бы то ни было общих свойств. Но таких абсолютных противоположностей нет, конечно, ни в природе, ни в обществе. Нет двух разных явлений природы, у которых нельзя было бы найти общее. Уже то обстоятельство, что все явления—порождения движения единой материи, представляет их общее свойство. Но этим общим не исчерпывается ни действительное содержание этих явлений, ни их познание. Как только мы начинаем изучать отдельные явления в движении материи—мы сейчас же погружаемся в мир различий, как раз и обусловливающих их раздельность. Поскольку эти различия не вытекают из самого существа предметов, мы не выходим за пределы различия, но как только различие касается в одном и том же отношении существа различающихся вещей—мы имеем противоположности [2]). Так, внутри третьего сословия феодального общества мы имели различия, не вытекающие, однако, из существа данной общественно-экономической формации, основанной на противопоставлении всего третьего сословия—классу феодалов-крепостников. Но с переходом к капиталистическому способу производства, определяющим

[1]) Там же.

[2]) Блестяще процесс развития различия в противоположность и противоречие показан т. Дебориным в его статье «Маркс и Гегель».

общественный строй производственным отношением оказывается уже новое отношение капиталиста и наемного рабочего и в связи с этим старое различие переходит в противоположность.

То же имеет место и в области природы. Конечно, вода и лед имеют много общих свойств, так же как имеют такие общие свойства вода и масло, вода и ртуть, лед и соль и т. д. Вместе с тем между всеми этими предметами существуют и всевозможные различия в пределах каждого из них, скажем, между водой горячей, холодной, морской, речной и т. д. Однако тождественно ли по своему типу, по своей качественной структуре различие между водой и льдом и между хотя бы водой кипяченой и некипяченой, водой и маслом? Несомненно, что это различие—особое различие, так как оно касается изменения самой формы данного предмета в прямо ему противоположную при переходе из жидкого в твердое состояние. Вода и масло различны, но их различия даны как бы в разных плоскостях, поскольку почти все они сводятся только к наличию или отсутствию у того или иного предмета тех или иных свойств. Вода и лед различны в одном и том же отношении и в этом смысле противоположны.

Отсюда понятно, что, считая противоположности не существующими об'ективно в природе, а лишь результатами абстрагирующей деятельности нашего мышления, Богданов и триаду, отрицание отрицания, толкует в том же смысле. Повторяем, что разбор того, чем хочет заменить Богданов диалектику—его теории равновесия, составляет предмет особой главы. Поэтому сейчас нас интересует лишь как Богданов понимает марксовскую триаду. И нельзя сказать, чтобы и в этом случае он был оригинален. Лавры Дюринга в наше время по праву принадлежат ему.

Вот финал рассуждений «Тектологии» о триаде: триада—понятие философское, «то-есть неточное, предварительное». «Отсюда значительная неопределенность и даже произвольность в применении триады. Сознательно или не сознательно подыскиваются черты сходства между разделенными промежутком стадиями процесса, иногда и довольно внешние, не выражающие основных его тенденций. Напр., можно принять за тезис и синтез детство с его примитивной гармонией жизни и зрелость с ее сложившейся выработанной гармонией; антитезис будет мятущаяся юность с ее кризисами созревания; но можно также сделать тезисом детство с его бессознательно-творческой мудростью и старость с ее мудростью пережитого опыта; весь путь между ними тогда—антитезис; можно в простом колебании за тезис и

синтез взять долину и под'ем, антитезис—безразличие, или ан
долину и другую долину, антитезис—под'ем, математический ан
лиз и здесь и там дает надлежащее формальное сходство форму
и т. д.» [1]).

В своем ответе Дюрингу Энгельс блестяще показал, чего
стоит эта аргументация: «В диалектике отрицать не значит
просто сказать «нет», или об'явить вещь несуществующей, или
уничтожить ее тем или иным способом. Уже Спиноза говорил:
«Omnis determinatio est negatio». «Всякое ограничение или опре-
деление есть в то же время отрицание». И, затем, способ отрицания
определяется здесь, во-первых, общей, а, во-вторых, особенной
природой всякого процесса. Я должен не только отрицать, но
и снова снять это отрицание. Следовательно, первое отрицание
я должен произвести таким образом, чтобы второе все-таки было
или стало возможным. Но как этого достигнуть? Это зависит
от особой природы каждого отдельного случая. Если я размолол
ячменное зерно или растоптал насекомое, то хотя я и совершил
первый акт отрицания, но сделал невозможным второй. Для
каждой категории предметов, как и представлений и понятий,
существует, следовательно, своеобразный способ подвергнуться
отрицанию так, чтобы отсюда получилось развитие. В исчисле-
нии бесконечно-малых отрицание происходит иначе, чем при
получении положительных степеней из отрицательных корней.
Этому приходится учиться, как и всему прочему. С одним зна-
нием того, что ячменный колос и исчисление бесконечно-малых
обнимаются понятием «отрицание отрицания», я не смогу ни
успешно вырастить ячмень, ни дифференцировать и интегри-
ровать, точно так же, как знание одних только законов зависи-
мости тонов от размеров струн не дает еще мне умения играть
на скрипке. Однако ясно, что при отрицании отрицания, сво-
дящемся к ребяческому занятию — попеременно писать, а затем
вычеркивать его, или попеременно утверждать о розе, что она
есть роза и что не есть роза, не получится ничего, кроме
глупости того, кто предпринимает подобную скучную процедуру.
А между тем метафизики хотят нас уверить, что раз мы желаем
производить отрицание отрицания, то это надо делать именно
в описываемой форме.

Итак, опять-таки не кто иной, как г. Дюринг, мистифи-
цирует нас, когда утверждает, будто отрицание отрицания пред-
ставляет собою забавную аналогию с грехопадением и искупле-
нием, изобретенную Гегелем и заимствованную из области рели-
гии. Люди рассуждали диалектически задолго до того, как
узнали, что такое диалектика, точно так, как они говорили

[1]) «Тектология», стр. 515.

прозой задолго до того, как появилось слово «проза». Закон отрицания отрицания, который бессознательно осуществляется в природе и истории и, пока он не познан, столь же бессознательно в нашем мышлении,—этот закон был лишь впервые резко формулирован Гегелем. И если г. Дюринг хочет втихомолку сам заниматься этим делом, но ему только не нравится его название, то пусть отыщет лучшее название. Если же он намерен изгнать из мышления самую суть дела, то пусть будет любезен изгнать ее сначала из природы и истории и изобрести такую математику, где $(-a)\times(-a)$ не дает $+a^2$ и где дифференцирование и интегрирование воспрещены под страхом наказания» [1]).

По отношению к Богданову в добавление к словам Энгельса надо показать, почему именно приходит он к столь вульгарному пониманию марксовской триады, как в приведенном выше примере.

В основном это об'ясняется его пониманием метода и закона.

Резюмируя свои замечания по поводу «старой» диалектики, Богданов видит ее основной грех в «логизме», который приводит к отождествлению «схем» и «реальностей», между тем, как действительное ее значение лишь «архитектурно-эстетическое» [2]). В другом месте в «Философии живого опыта», характеризуя диалектический метод, изучающий «логику» мирового процесса, Богданов пишет: «Гегель исследует эту логику и находит ее законы, выражаемые в определенных схемах (курсив наш. *Н. К.*). Рассмотрим основную из них так называемую «триаду» [3]). Марксовская диалектика, по Богданову, также «сохранила» многие черты старой, особенно схему «триады» [4]). Вдумываясь во все эти замечания Богданова о диалектике и особенно «триаде», удивляешься лишь одному—как могло случиться, что столь плоское понимание и Гегеля, и Маркса, и диалектики привлекало к себе стольких «марксистов».

Конечно, никто из марксистов не разделяет гегелевского идеалистического отождествления логического развития понятия с развитием действительности. Но признать за диалектическими законами значение лишь «архитектурно-эстетическое» и значит отвергнуть диалектику, как метод познания.

Богданов сводит диалектическую логику к установлению отвлеченных схем развития, важнейшей из которых он считает «триаду». Но это и значит не знать буквально элементарных вещей о роли триады и у Гегеля и у марксистов. Даже для Гегеля, идеалиста—триада вовсе не имела того значения, какое

[1]) Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 162—164.
[2]) «Тектология», стр. 516.
[3]) А. Богданов, Философия живого опыта, изд. 3, стр. 228.
[4]) Там же стр. 241.

ей хочет приписать Богданов. Вот что писал сам Гегель на эту тему: «Хотя это единство, равно как вся форма метода—троичность—есть лишь совершенно поверхностная внешняя сторона познания, но одно указание на нее и притом в определенном приложении, ибо сама отвлеченная числовая форма была известна уже ранее, однако установлена без понятия, а потому и без последствий, должно также считаться бесконечною заслугою кантовой философии... Формализм хотя также усвоил себе тройственность и удержался в ее пустой схеме, но поверхностная беспорядочность и пустота нового так назыв. философского построения, состоящего единственно в том, чтобы повсюду придерживаться этой формальной схемы, без понятия и имманентного определения, и употреблять ее для установления внешнего порядка, сделали эту форму скучною и приобрели ей дурную славу. Однако пошлость этого употребления не может еще уничтожить его внутренней стоимости, и все же следует высоко ценить то, что тем самым найден хотя бы непонятный еще образ разумного» [1]).

Таким образом, именно поскольку триада берется чисто-внешне, как схема, под которую подгоняют данные явления—она является формальной конструкцией, ничего не дающей для реального познания. То же самое в вышеприведенной уже цитате говорил и Энгельс. Подлинное значение она приобретает и с точки зрения Гегеля, и с точки зрения Энгельса только тогда, когда выражает результат исследования. Тот, кто видит в триаде основное в диалектике, доказывает тем самым лишь, что сам стоит целиком на метафизической точке зрения. Богданов вполне естественно потому именно ищет в триаде важнейшее для диалектики, что у него самого задачей тектологии является не открытие законов и форм движения конкретного, а конструирование абстрактных схем.

В согласии с эмпириомонистическим взглядом на истину и в тектологии задачи логики сводятся к выработке норм и способов взаимного убеждения людей, игнорируя совершенно вопрос о соответствии этих норм законам действительности [2]). Задача тектологии принципиально тождественна в этом отношении с задачей математики. «Ее обобщения должны отвлекаться от конкретности элементов, организационную связь которых выражают, должны скрывать эту конкретность под безразличными символами» [3]). Об'яснить явления—это значит «дать абстрактные схемы их тенденций и закономерностей». Задача—прямо противоположная задаче диалектики. Мертвый схематизм здесь возводится

[1]) Гегель, Наука логики, ч. 2, стр. 207—208.
[2]) «Тектология», стр. 40.
[3]) Там же, стр. 83.

в высший принцип науки и провозглашается последней ее целью. Это вполне вытекает из всего построения тектологии, но вместе с тем глубоко враждебно тому, чему в действительности учили Маркс и Энгельс.

Задача науки есть воспроизведение конкретного путем мышления. Человеческое познание начинается с восприятия этого конкретного во всем его чувственном многообразии. Первый шаг науки заключается в разложении этого конкретного на его простейшие составные элементы, в установлении между этими отвлеченными, простейшими элементами количественных отношений и в сведении к ним сложного. Это—путь анализа. Но им вовсе не исчерпывается задача науки. Разложив явление, затем надо еще воспроизвести его, показать, как из сочетания простейших элементов в действительности возникают высшие формы, новые закономерности, новые качества. Это—путь синтеза. Единство аналитического и синтетического метода и представляет собой диалектический метод. И именно потому, что он отражает действительные связи и опосредствования в природе—он верно согласует данные нашего опыта, помогает нам познавать действительность и передавать это знание другим.

Задача его есть изучение и воспроизведение конкретного. Она оказывается возможной лишь потому, что диалектика выражает наиболее общие формы движения самой действительности, и поэтому, оперируя ею, мы можем легче вскрыть в каждом данном конкретном случае, как совершается развитие предмета, какую форму движения мы наблюдаем и куда ведет его развитие. Цель, которую ставит себе диалектическое изучение предмета, заключается в том, чтобы открыть закон его движения. Тектология же ищет абстрактной схемы [1]). Отсюда ее поверхностность, бесплодность, механичность, всюду проводимое серое и отвлеченное тождество. В простом механическом движении она иногда еще улавливает существенные отношения, но чем сложнее форма, тем скучнее и бесплоднее ее анализ. Вот еще один пример. Разбирая влияние подбора на различные сложные системы, Богданов пишет, сравнивая исторический материализм Маркса с... нагреванием водопроводных труб: «Так важнейшая и для старой науки еще спорная формула исторического материализма тектологически сводится к простому выводу из той же закономерности, в силу которой, напр., нагревание внутренних слоев тела через теплопроводность зависит от нагревания на-

[1]) Можно было бы сказать, что тектологические схемы более родственны гегелевскому понятию порядка, как чисто внешней определенности предметов, нежели закону, как их имманентному и об'ективному определению (см. «Наука логики», II, 119).

ружных и т. п. При этом само собой ясно, что формула применима не только к человеческому обществу, но и к любой группе социальных животных—социальных ли насекомых или стайных птиц, или стадных млекопитающихся»[1]). Конечно, можно удивляться этой поразительной способности соединять, казалось бы, самые разнородные явления и все окрашивать в один и тот же серый цвет тектологических схем, которую обнаруживает Богданов в своей невеселой работе, но, в конце концов, по прочтении 500 стр. «Тектологии» невольно начинаешь себя чувствовать как бы узником в одиночке универсального тождества всего и вся. Живая жизнь, борьба противоречий, движущие силы развития, закон конкретного движения предмета—все улетучивается и заменяется отвлеченной схемой, внешними столкновениями изолированных и мертвых предметов, стремящихся к равновесию.

К рассмотрению значения понятия равновесия и теории равновесия у Богданова, составляющей в сущности центральную идею всех его положительных построений, мы и перейдем сейчас.

(Окончание следует).

[1]) Там же, стр. 388.

Адвокат философской интуиции.

(Бергсон и его критика интеллектуализма).

В. Асмус.

I.

Бергсон—громкое имя современной буржуазной философии. Если в Гуссерле справедливо видят «властителя дум» буржуазного Запада, то Бергсон, несомненно, властитель его философских настроений и средоточие его философских симпатий. Книги Бергсона читаются на обоих берегах океана, отделяющего Америку от Европы, идеи его философии оказывают воздействие на самые разнообразные группы читателей. Буржуазные психологи, философы, теоретики искусства, художники, мистики черпают полными горстями из «богатств» бергсоновского учения.

Колоссальный успех философии Бергсона, ее популярность в средо буржуазной интеллигенции не могут быть об'ясняемы одними личными качествами Бергсона: его блестящим литературным талантом, оригинальностью некоторых его анализов и построений. Только в глазах недальновидных буржуазных критиков личная одаренность Бергсона может казаться ключем к разгадке секрета его популярности. Но, во-первых, личные данные Бергсона вовсе не так уже исключительны. Конечно, Бергсон—талантливый, блестящий писатель. Однако обаятельный элегантный стиль Бергсона не в состоянии затушевать крупные недостатки философа. Сочинения Бергсона страдают многословием, обилием повторений. Его красноречие граничит с риторикой, а преизбыток образных выражений и метафор скоро приедается и начинает ощущаться, как нечто неуместное в научных работах. Во всяком случае метафорический способ выражения мало содействует ясности понимания. Что же касается оригинальности Бергсона, которая привела в неистовый восторг Джемса[1]), то она—на три четверти мнимая. Суть дела только в том, что Бергсон не любит вскрывать источники своих философских идей. Оригинальный стиль, манера изложения удачно маскируют почтенный возраст и происхождение бергсоновских идей.

Во-вторых, даже наличие большой одаренности не может об'яснить факта широкой популярности. Сила влияния идеологии,

[1]) «Я должен сознаться,—заявляет Джемс,—что оригинальность Бергсона столь изобильна, что некоторые из его идей совершенно сбивают меня с толку... Редко случается, чтобы чрезвычайное своеобразие точки зрения соединялось с чрезвычайной ясностью и необыкновенным умением использовать все классические средства изложения. Средства Бергсона в смысле эрудиции замечательны, а в смысле изложения они просто феноменальны» (У. Джемс, Вселенная с плюралистической точки зрения, пер. Б. Осипова и О. Румера, стр. 124).

ее об'ективное значение измеряется, в первую очередь, не степенью личной талантливости или оригинальности автора, но степенью соответствия между его идеями и интересами той социальной группы, к которой он обращается, выразителем которой он призван быть. Огромный успех и влияние Бергсона есть прежде всего факт общественной психологии и общественной идеологии. «Влияние» никогда не бывает только пассивным восприятием, безвольным отражением и усвоением чужих идей. Влияние всегда есть также выражение активной воли, результат выбора, акт предпочтения и узнавания. Говоря вообще, «влияет» на нас то, что нам нужно и, стало быть, нам интересно. Понять причину влияния Бергсона—это значит понять, каким идеологическим потребностям современной буржуазной интеллигенции отвечает его философия.

Философия Бергсона выросла из основного противоречия современной буржуазной идеологии. Состоит оно в том, что буржуазный интеллигент—в силу об'ективных условий развития своего класса—вынужден в одно и то же время и признавать и отрицать могущество науки, научного знания. С одной стороны, он прекрасно знает, что наука отражает бытие в его реальности. По своей профессии он сам часто инженер, механик, техник, физик, химик. Колоссальный рост производительных сил, успехи техники, беспрерывное развитие изобретений и усовершенствований на каждом шагу представляют ему тысячи примеров реальной силы научного знания. Буржуазный интеллигент в полной мере признает факт технического могущества науки. Он знает, что от развития техники, технических и точных знаний зависит развитие его класса—его экономической силы и даже политической мощи. С другой стороны, глубокие противоречия в бытии современного капиталистического общества вынуждают буржуазного интеллигента не доверять науке в основном. Признавая практическое, техническое могущество научного знания, современная мыслящая буржуазия глубоко сомневается в теоретической силе науки, т.-е. в способности науки познавать, отображать действительность так, как она есть, в ее об'ективном бытии, в законах ее развития. Признание теоретической силы науки обязывает к выводам, на которые буржуазная мысль—в данный момент бытия класса—уже не может решиться. Признать, что в научных теориях мы открываем действительные законы развития природы и общества,—это значит поставить вопрос о том, каковы эти законы, куда они ведут и что можно предвидеть на их основании. Признать, что исторический процесс имеет об'ективную—об'ективно же постигаемую—закономерность, это значит поставить вопрос, какую роль в этой закономерности должны сыграть классы современного общества, каковы тенденции их дальнейшего и ближайшего развития, какова их будущая судьба. Но как раз на это совершенно неспособна современная буржуазия. Теоретическая отвага класса, горизонты его теоретической пытливости не безграничны. В каждый данный момент они определяются суб'ективно-психологическим тонусом класса, об'ективно—условиями его развития в данное время, прочностью его положения. Историческое положение современной буржуазии таково, что она должна совершенно отказаться от доверия к теоретической силе научного знания. Для нее

довериться науке, интеллекту, теории—значит увидеть в ясном зеркале знания свою собственную—уже недалекую—судьбу. Но на это уже не хватает мужества. Современная буржуазия не хочет видеть своего будущего, потому что оно для нее слишком непривлекательно. В то же время она не может просто от него отвернуться. Она не может поступить так, как сделал старый астроном, просто оттолкнувший телескоп, в который ему было предложено взглянуть на спутников Юпитера. Свое нежелание заниматься будущим современная буржуазия обязана «оправдать» идеологически. Психологическое состояние страха, неуверенности, тоски, сомнения она должна возвести в ранг «методологической» принципиальности, придать ему минимум об'ективной убедительности. Тому, кто боится заглядывать в собственное будущее, остается одно: уверить себя и других, что в будущее и не стоит заглядывать, что все равно в нем ничего не увидишь, что будущего нельзя ни в какой мере предвидеть. В переводе на язык философии это значит, что закономерность вещей недоступна теоретическому познанию. Недоступность эта не случайная, не временная, не исторически обусловленная, но, так сказать, принципиальная. Но устранить всякую попытку исследования закономерности в природе можно только при глубоком, радикальном сомнении в силе научной теории вообще. Для того, чтобы такое сомнение сделалось возможным, необходимо подвергнуть критике не ту или иную науку в ее частной методологии, но все научное миросозерцание в целом и научный метод в самой общей и существенной его основе. Необходимо подкопаться под основное орудие всякого научного познания, всякой научной теории. Таким орудием является интеллект, который распадается на низший или рассудок и высший или диалектический разум. Поэтому необходимо направить критику против интеллекта, как основного орудия познания. Только уверив себя в том, что интеллект не может быть орудием[1]) адэкватного познания истины, можно спокойно отказаться от попыток изучения закономерности явлений. Бытие современной буржуазии толкает ее философов на путь «критики» рассудка, интеллекта, интеллектуальной логики, интеллектуального знания, интеллектуальных научных теорий и построений. «Критика» интеллекта есть совершенно необходимое условие идеологического существования современной буржуазии.

Но, будучи таким образом обусловленной в глубочайших недрах бытия класса, критика эта приводит буржуазную мысль к противоречию, указанному выше. Насквозь «интеллектуальная» и, стало быть, «неспособная» к адэкватному познанию действительности, наука, однако, представляет фактически одно из главных условий существования и развития современного общества. Наука продолжает делать открытие за открытием, изобретение за изобретением, с каждым часом увеличивая власть человека над природой. Получается явное противоречие. С одной стороны, современная буржуазия спешит использовать всякое научное новое открытие в интересах своей технической, хозяйственной и политической мощи. С другой стороны, в философ-

[1]) Адэкватное познание—постигающее действительность так, как она есть.

ских диспутах она вынуждена упорно отрицать за наукой и за интеллектом способность к истинному познанию действительности.

Философия Бергсона вся вышла из этого противоречия. В философии Бергсона характерная для нынешней буржуазии раздвоенность между величайшим почтением к науке и величайшим, глубочайшим недоверием к ее теоретической силе нашла замечательное идеологическое выражение. Историческое значение деятельности Бергсона в том, что пониженному психическому тонусу своего класса он сумел придать такое выражение, которое не подрывает интеллектуального авторитета класса. Дело не в том, что Бергсон «критикует» интеллект. И до Бергсона, и в наше время было не мало таких «критиков», сражавшихся более или менее успешно с логикой и интеллектом. Важно то, что своей критике—по существу глубоко отрицательной, нигилистической, знаменующей глубокую деградацию философии—Бергсон сумел подыскать формы, внушающие на первых порах впечатление положительной творческой силы. При поверхностном чтении философия Бергсона кажется проникнутой пафосом истинного творчества. Пафос этот подкупает и кажется признаком силы и свежести мысли. На каждое «нет», на каждое из'явление скептицизма у Бергсона есть эффектное «да». Отвергая механистическую картину мира, Бергсон с большой энергией и с пленительным красноречием противопоставляет ей свое «положительное» учение о творческой эволюции, о потоке развития, в котором движимое творческим порывом и потому непредвидимое настоящее вырастает из прошлого и толкается в неведомое будущее. Отрицательным результатом своей «критики» интеллекта и науки Бергсон с неменьшим пафосом противопоставляет учение об интуиции, как высшем абсолютном роде симпатического познания, проникающем в недоступные для интеллекта глубины истинно-сущего. Далее. Самый тон бергсоновской критики интеллекта чрезвычайно сдержан и—при первом взгляде—производит впечатление большой интеллектуальной свободы, широкой терпимости и полного отсутствия предвзятости мышления. Разрушительные результаты критики, направленной против науки и интеллекта, смягчаются, стушевываются в силу того, что свою отрицательную теорию знания Бергсон пытается ориентировать на данных биологии и биологического учения о развитии. Пафос положительного биологизма удачно прикрывает истинную—глубоко враждебную по отношению к науке и интеллекту—сущность. Критикуя интеллект и науку, Бергсон свободен от всякого кликушества, от истеричности, которой страдают философы вроде г-на Бердяева. Не менее удачна и та позиция, какую занял Бергсон относительно религии. Принципиально и фактически Бергсон расчистил и подготовил почву для фидеизма. Из бергсоновской критики интеллекта выросла философия религии Джемса, знаменитого лидера возрождающегося буржуазного фидеизма [1]. Но, подготовляя гносеологическую почву для фидеизма, сам Бергсон в то же время не делает никаких фидеистических выводов из своей философии. Здесь, как и в других случаях, личный темперамент Бергсона, его личное глубокое равнодушие к фидеизму стушевывают чрезвычайно благоприятные для фидеизма выводы из его философии.

[1]) В дальнейшем я представлю документальные доказательства зависимости Джемса от Бергсона.

Счастливое сочетание всех перечисленных обстоятельств выдвинуло Бергсона в первый ряд современных мыслителей Запада. Философия Бергсона «спасает» интеллектуальный авторитет класса, который исчерпал свои идеологические рессурсы. Как никому другому, Бергсону известно искусство faire bonne mine au mauvais jeu. Интеллект и науку критикуют многие. Но только Бергсон умеет делать это с тем пелегко достижимым достоинством и тактом, без которых упадочная сущность буржуазной философии стала бы слишком обнаженной, слишком явной и потому не выгодной, опасной для интеллектуального превосходства класса.

Наличие глубокого расхождения между «видимостью», «формой» и «сущностью» философии Бергсона делают анализ ее содержания чрезвычайно важной, практически нужной задачей исследования. Необходимо разоблачить тайну бергсоновского пафоса, раскрыть и обнажить упадочную нигилистическую сущность его «позитивизма». Задаче этой и посвящается предлагаемый очерк.

II.

Борьба с интеллектом—исходная точка всей философии Бергсона. В критике интеллектуализма—весь пафос, вся энергия его мышления. Однако такая характеристика учения Бергсона далека от очевидности. Нигде Бергсон не начинает с прямого нападения на интеллект и на его логику. Свою атаку он ведет с отдаленной, достаточно широкой позиции. Эта позиция—общее учение о знании, о том, чем должно быть истинно философское знание. По Бергсону, философское знание есть созерцание. Только созерцательное, т.-е. освобожденное от какого бы то ни было отношения к практике, к действию, только умозрительное знание может постигать реальность вещей. «Цель философии,—говорит Бергсон,—умозрение, т.-е. видение; ее положение по отношению к живому не будет положением науки, которая стремится только действовать» [1]). По Бергсону, чем больше практики примешано к знанию, чем теснее связано знание с деятельностью, тем дальше оно от постижения действительности: «Фактически было бы легко показать, что, чем более заняты мы жизнью, тем менее мы склонны к тому, чтобы созерцать, и что необходимость действия стремится ограничить поле видения» [2]). Приведенные положения Бергсона играют громадную роль в его построениях. В них заключен тот масштаб, с которым Бергсон начнет свою критику интеллекта и науки. Масштаб этот—«бескорыстное», бездеятельное, внепрактическое созерцание или видение.

Идея такого масштаба неоригинальна. Созерцание, как критерий философского познания, выставил Шопенгауэр; о «бескорыстном», свободном от интереса умозрении учили Кант и его ученик Шиллер. Но какая разница между этими великанами и Бергсоном! В диалектике развития буржуазной мысли эстетиче-

[1]) Анри Бергсон, Творческая эволюция, пер. В. А. Флеровой, изд. «Русская Мысль», 1914 г., стр. 176.

[2]) Анри Бергсон, Восприятие изменчивости.

ское учение Канта—Шиллера о незаинтересованном созерцании имело явный революционный смысл. Эстетический синтез Канта—Шиллера, осуществляемый в деятельности незаинтересованного созерцания, был предельным напряжением, предельной попыткой мысли, стремившейся преодолеть противоречия, рожденные в практике социального бытия. В условиях времени этот синтез мог быть только идеологическим, умозрительным, но по заданию своему он питался великими практическими задачами Великой Французской Революции. Не для разделения теории и практики, но для их синтеза—пусть только идеологического—были созданы «Критика силы суждения» и «Письма об эстетическом воспитании».

Другое дело—Бергсон. Возобновляя почтенную традицию великих идеалистов, он имеет в виду придать ей совершенно иное назначение. Выставляя чистое созерцание, как критерий и идеал философского познания, Бергсон подготовляет позиции для обстрела науки и интеллекта. Если только «чистое», «бескорыстное» созерцание может доставить нам настоящее постижение реальности, то возможно показать, что наука и интеллект такого познания добыть не могут. Ибо наука тесно связана с практикой и с потребностями практики. Из практики черпает наука свои вопросы и проблемы, в практике находит она операции и технические средства для их разрешения и в практике же лежит последний критерий достоверности и адэкватности научного знания, его соответствия действительности. Все усилия Бергсона имеют целью доказать и подчеркнуть, что наука и интеллект связаны с практикой принципиально, никогда не могут освободиться от связи с нею и потому не могут «возвыситься» до «настоящего», т.-е. чистого, внепрактического созерцания. Понятие созерцания играет громадную роль в философии Бергсона. Оно дает исходную точку и перспективу для всей его критики. Как настоящий метафизик, Бергсон разрывает то, что связано в действительности. Действие и созерцание, практику и теорию он противопоставляет как понятия безусловно противоположные и друг друга исключающие. Но такой взгляд в корне неверен. Человеческая практика есть вместе и суб'ективная практика людей и в то же время—предметная практика. Это значит, что хотя наука рождается из практики и в практике находит масштаб и критерий своей достоверности, однако возможна и действительна наука лишь постольку, поскольку изучаемая наукой реальность познается так, как есть. Практическое строение науки ни в какой мере не противоречит возможности научной теории. Напротив. Только в том случае наука может с успехом выполнять диктуемые практикой задачи, если в своих исследованиях и теориях она будет исходить из об'екта, из его данных свойств, ни от какой суб'ективной практики не зависящих. Нет поэтому никакого противоречия в том, что Ленин, следуя за Энгельсом, утверждал как то, что последний критерий знания—в практике, в промышленной и экспериментальной технике, так и то, что научные теории суть отображение, отражение законов об'ективной действительности. Наука—теоретична, об'ективна (и в этом смысле «созерцательна») и практична, действенна в одно и то же время. Еще можно согласиться с тем, что начальные стадии развития интеллекта и первые шаги науки совершаются в

непосредственных интересах практики, обслуживают ближайшую потребность действия. В дальнейшем, однако, познание начинает освобождаться от непосредственного давления практики, подниматься над узкими горизонтами ближайших практических действий. На-ряду с практикой, постоянно поверяемая ею, вырастает теория—с бесконечными горизонтами пытливости, не знающая торопливого понуждения, расточительная на время, направляемая на предметную, об'ективную сторону действительности... Таково диалектическое воззрение на науку. Ему Бергсон противопоставляет свое—метафизическое, диаметрально противоположное. По мнению Бергсона, совершают большую ошибку, когда думают, будто назначение нашего интеллекта, а, следовательно, и задача науки состоят в том, чтобы отображать действительность такою, какова она есть, независимо от ее отношения к нашим практическим интересам. Интеллект и наука созданы не для познания, не для теории, но для действия, для практики. По Бергсону, интеллект и вся основанная на его формах наука практичны не только на ранних ступенях своего развития, но и по существу. Сама форма нашего интеллекта, его категории, методы и точки зрения обязаны практике не только своим происхождением, но также своим строением, своей природой. «Мы,—говорит Бергсон,—считаем человеческий интеллект зависимым от потребности в действии. Положите в основание действие, и форма интеллекта сама из него вытечет» [1]). «Человеческий интеллект, как мы его себе представляем, совсем не тот интеллект, который показывал нам Платон в своей аллегории с пещерой. Его функцией не будут ни наблюдения проходящих иллюзорных теней, ни созерцание, при оборачивании назад, ослепительного светила. У него есть другое дело. Впряженные, как волы земледельца, в тяжелую работу, мы чувствуем деятельность наших мускулов и наших сочленений, тяжесть плуга и сопротивление почвы; действовать и сознавать себя действующим, войти в соприкосновение с реальностью и даже жить ею, но только в той мере, в какой она касается выполняющегося действия и прорезывающейся борозды,—вот функция человеческого интеллекта» [2]). По Бергсону, научное знание не может быть отображением реальности, ибо предмет науки—не сама реальность, но наше практическое отношение к ней, прежде всего—наши действия. В основе своей интеллект есть только способность организации действия: «Обычный труд интеллекта далеко не является трудом бескорыстным. Вообще, мы добиваемся знания не ради знания, но для того, чтобы принять известное решение или извлечь выгоду, словом, ради какого-нибудь интереса» [3]). «Каждое понятие... является практическим вопросом, который ставит наша деятельность реальности, и на который реальность должна отвечать, как это и надлежит в практических делах, кратким «да» или «нет» [4]). Так как научное познание служит практике, то оно, по Бергсону, односторонне. Оно видит в вещах только ту сторону, которая представляет инте-

[1]) А. Бергсон, Творческая эволюция, стр. 137.
[2]) Там же.
[3]) А. Бергсон, Введение в метафизику (Собр. соч., т. V, пер. В. А. Флеровой), стр. 22.
[4]) Там же, стр. 35.

рес для практики. Интеллект не созерцает, но выбирает. Выбирая то, что нужно, он выбрасывает все остальное, совершенно не считаясь с тем, насколько оно важно само по себе: «Прежде чем философствовать, нужно жить; а жизнь требует, чтобы мы надели наглазники, чтобы мы не смотрели ни направо, ни налево, но прямо перед нами в том направлении, куда нам нужно будет итти... в бесконечно обширном поле нашего возможного познания мы собрали все то, что полезно для нашего действия на вещи, чтобы создать из этого нынешнее знание: остальным мы пренебрегли. Мозг, повидимому, построен в виду этой работы подбора, что можно показать без труда на деятельности памяти» [1]. Начиная с простого ощущения и восприятия и кончая высшими родами мышления, механизм сознания стоит, по Бергсону, в прямой связи с потребностью организации нашего воздействия на вещи: «помощник действия», восприятие «выделяет из реальности, как целого, то, что нас интересует; оно нам показывает менее самые вещи, чем то, что мы можем извлечь из них» [2]. По словам Бергсона, «основным законом нашей психической жизни» является «ориентировка нашего сознания в направлении действия» [3]. Об этом говорит, по Бергсону, все строение нашей нервной системы. «Наше тело,—утверждает Бергсон,—есть орудие действия и только действия. Ни в какой мере, ни в каком смысле и ни с какой стороны не служит оно для того, чтобы подготовлять, а тем более осуществлять представления» [4]. С точки зрения Бергсона, несостоятельны все существующие теории восприятия: материалистические и идеалистические. Как бы ни были они противоположны друг другу, в основе всех их лежит общим всем предпосылка: «все они считают элементарные операции духа, восприятие и память, операциями чистого познания» [5]. Как для реалиста, так и для идеалиста «восприятие носит всецело умозрительный характер; оно есть чистое познание... Весь спор касается лишь того достоинства, которое следует приписать этому познанию по сравнению с познаниями научными. Одни ухватываются за ту закономерность, которой требует наука, и видят в восприятии лишь смутное и предварительное познание. Другие ставят во главе восприятие, возводят его в абсолют, и считают науку лишь символическим выражением реальности. Но для тех и для других воспринимать значит прежде всего познавать» [6]. В последнем счете и реалист и материалист представляют себе восприятие «в виде фотографии вещей, снятой с определенного пункта посредством специального аппарата, каковым является наш орган восприятия» [7]. Но именно эту предпосылку и оспаривает Бергсон. По мысли Бергсона, материя мозга «есть носитель действия, а не субстрат познания» [8]: «нет решительно

[1]) А. Бергсон, Восприятие изменчивости (Собр. соч., т. IV, пер. В. Флеровой), стр. 22.
[2]) Там же. стр. 13.
[3]) А. Бергсон, Материя и память (Собр. соч., т. III, пер. В. Базарова), стр. 178.
[4]) Там же, стр. 224.
[5]) Там же, стр. 226.
[6]) Там же, стр. 17.
[7]) Там же, стр. 27. Ср. еще там же, стр. 59.
[8]) Там же, стр. 65.

никакого основания приписывать мозговому веществу способность порождать представления» [1]. Функция мозгового аппарата—«просто в том, чтобы обеспечить нам целесообразное действие на наличный об'ект» [2]): «фактически восприятие и память обращены всегда к действию, и подготовлять это действие есть функция тела» [3]). Говоря конкретно, «восприятие порождается тою же самою причиной, которая создала цепь нервных элементов вместе с органами, ее поддерживающими, и жизнь вообще: оно выражает и измеряет собой способность живого существа к действию» [4]). Иными словами—восприятие служит не зеркалом вещей, но «мерой нашего возможного действия на вещи, а значит, и, обратно, мерой возможного действия вещей на нас» [5]). Какова природа восприятия, таков и критерий его действительности. Действительность восприятия измеряется, по Бергсону, вовсе не степенью соответствия между его содержанием и предметом. «Действительность нашего восприятия,—говорит Бергсон,—состоит... в его действенности, в тех движениях, которые служат его продолжением, а не в большей или меньшей интенсивности» [6]). Тот свет, который наше восприятие проливает на вещи, не есть прозрачный свет познания: «Вещи словно поворачиваются к нашему телу своей освещенной стороной, но освещена у них лишь та сторона, которая в состоянии нас практически затронуть: они выделяют из своего состава то, что мы задержали бы при прохождении через нас, на что мы способны влиять» [7]).

Так устроено восприятие. Но таково и назначение сознания вообще. «На всем протяжении животного царства сознание кажется как бы пропорциональным захвату выбора, которым обладает живое существо. Оно (сознание) освещает зону возможностей, окружающих действие... Рассматривая его извне, его можно бы было считать простым помощником действия, светом, который зажигается действием, мгновенной искрой, рожденной от трения между реальным действием и действием возможным» [8]). Уяснение той мысли, что интеллект навсегда прикован к практике и представляет орудие для организации наших действий, имеет в глазах Бергсона громадное значение. Если цель познания заключается только в подготовке нашего действия на вещи, то отсюда, по Бергсону, следует, что наш интеллект и основанная на нем наука могут постигать не самые вещи, но лишь отношения между ними. Работа интеллекта не идет дальше познания отношений. Наука, научное познание имеет своим предметом только отношения между вещами, и ничего более. Интеллектуальное познание «не постигает в частности ни одного предмета» и есть «только природная способность ставить в известные отношения один предмет к другому, одну его часть или одну его сторону сопоставлять с другой частью или с другой стороной» [9]). Так как интеллект есть, по Бергсону, «способность фабриковать

[1]) А. Бергсон, Материя и память, стр. 65.
[2]) Там же, стр. 67.
[3]) Там же, стр. 226—227.
[4]) Там же, стр. 55.
[5]) Там же, стр. 47.
[6]) Там же, стр. 59.
[7]) Там же, стр. 26.
[8]) А. Бергсон, Творческая эволюция, стр. 161.
[9]) Там же, стр. 134.

неорганизованные, т.-е. искусственные, орудия» и так как природа отказывается снабжать обладающее интеллектом существо орудием, которое ему служило бы, то «естественной функцией интеллекта будет... отыскание средств выхода из затруднения при каких бы то ни было обстоятельствах. Он будет искать то, что может лучше всего ему служить, т.-е. что может лучше всего войти в предложенные рамки. Он касается, главным образом, отношений между данным положением и средствами использования этого положения. Врожденною в нем, следовательно, будет тенденция устанавливать отношения, а эта тенденция предполагает естественное познание очень общих отношений,—ткань, из которой деятельность, свойственная каждому интеллекту, выкроит более специальные отношения. Таким образом, там, где деятельность направлена на фабрикацию, познание по необходимости касается отношений» [1]). Установление относительного, формального характера интеллекта и научного познания дает Бергсону нужную базу для критики науки. Однако и здесь Бергсон действует не напрямик, а исподволь, издалека. Уклончивый, осторожный и гибкий, он заранее хочет отвести всякое подозрение в наукоборстве. Как опытный игрок, он предпочитает дать противнику несколько ходов вперед. Сформированная исключительно в интересах действия способность интеллектуального познания дает человеку, по Бергсону, огромные практические преимущества. Хотя такое познание есть «только познание внешнее, ничего не заключающее внутри», однако способность такого познания «этим самым... имеет преимущество включать в одни и те же рамки бесконечное число предметов, которые поочередно могут в них помещаться» [2]). Это «совершенно формальное познание имеет над материальным познанием инстинкта неисчислимые преимущества. Форма, именно потому, что она ничем не наполнена, может быть наполняема поочередно бесконечным числом вещей, даже теми, которые ни к чему не служат» [3]). В формальном характере интеллектуального знания таится, по Бергсону, возможность победы над его ограниченностью, возможность прорыва из мира отношений в широкое поле воззрения. «Формальное познание,—говорит Бергсон,—не ограничивается только тем, что полезно практически, хотя оно и появилось на свет в виду практической полезности. В разуме существе заложено то, чем оно может превзойти самого себя» [4]). С другой стороны, Бергсон не отрицает и того, что даже подчиненное интересам действия, направленное на одни отношения, интеллектуальное познание все же отображает до некоторой степени об'ективную природу вещей. По мнению Бергсона, материя не лежит целиком вне интеллекта и не остается безразличной к его эволюции: «интеллект и материя последовательно приспособлялись друг к другу, чтобы в конце концов притом совершаться вполне естественно, так как одно и то же обращение одного и того же движения создало разом интеллектуальность духа и материальность вещей» [1]). Но если сама материя «приспособилась» к форме интеллекта, то отсюда следует, что интеллектуальное познание схватывает, хотя бы отчасти, подлинный образ реальности: «если форма интеллекта живого существа отлилась мало-по-малу по взаимным действиям и противодействиям между известными телами и окружающей их материальной средой, то почему же не может он сказать что-либо о самой сущности того, из чего созданы эти тела? Действие не может совершаться в нереальном. Относительно духа, рожденного для умозрений и грез, я мог бы допустить, что он остается вне реальности, что он ее искажает и изменяет, быть может, даже создает ее, как создаем мы фигуры людей и животных, выделяемых нашим воображением в проходящем облаке. Но интеллект, стремящийся к действию, которое должно быть выполнено, и к противодействию, которое должно последовать, интеллект, нащупывающий свой об'ект, дабы в каждый момент получать от него подвижное впечатление, такой интеллект соприкасается с чем-то абсолютным» [2]). Бергсон согласен даже признать, что интеллектуальное познание адэкватно действительности: «интеллектуальное познание, поскольку оно касается даже известной стороны инертной материи, должно, напротив, дать нам ее верный отпечаток, так как само оно отлито по этому специальному предмету. Оно становится относительным только тогда, когда, оставаясь тем, чем оно есть, хочет представить нам жизнь, т.-е. самого отливальщика, создавшего отпечаток» [3]). Но Бергсон идет далее. Он явно стремится отмежевать—в глазах читателей—свою философскую позицию от всякого агностицизма. На словах Бергсон отвергает как агностицизм критической философии Канта, так и эволюционный агностицизм Спенсера. По словам Бергсона, эволюционная философия «заявляет, что воспроизводит уже не реальность, а только подражание реального, или, вернее, символический образ; сущность вещей от нас ускользает и будет ускользать всегда; мы движемся среди отношений, абсолютное нам недоступно, мы должны остановиться перед Непознаваемым». «Но поистине,—возражает Бергсон,—после излишней гордости это уже чрезмерное самоуничижение человеческого интеллекта» [4]). Интеллект, напротив, обладает, в глазах Бергсона некоторыми преимуществами, которых никогда не достигнет интуиция. Даже став вполне интуитивной, «философия никогда не достигнет такого познания своего предмета, как наука—своего. Интеллект остается лучезарным ядром, вокруг которого инстинкт, даже очищенный и расширенный до состояния интуиции, образует только неясную туманность» [5]). «По принципу позитивная наука касается самой реальности, лишь бы она не выходила из своей области, каковой является инертная материя» [6]). «Войти в соприкосновение с реальностью и даже жить ею...—вот функция человеческого интеллекта» [7]). Хотя наука постигает одни

[1]) А. Бергсон, Творческая эволюция, стр. 135.
[2]) Там же, стр. 134.
[3]) Там же, стр. 135.
[4]) Там же, стр. 135.

[1]) А. Бергсон, Творческая эволюция, стр. 185.
[2]) Там же, Введение, стр. 5.
[3]) Там же, стр. 6.
[4]) Там же, стр. 5.
[5]) Там же, стр. 159.
[6]) Там же, стр. 185.
[7]) Там же, стр. 172.

только отношения, однако научное знание не есть знание относительное:—«познание материи, даваемое, с одной стороны, нашим восприятием и, с другой,—наукой, является, без сомнения, приблизительным, но не относительным» [1]). Направленное на одни отношения, познание науки—условно, однако, по Бергсону, условность ее, так сказать, фактическая, а не по праву» [2]).

III.

Приведенные цитаты, если их взять изолированно, вне контекста, представляют философию Бергсона в самом выгодном для него свете. За исключением странного идеалистического выверта, будто в процессе эволюции материя «приспособлялась» к интеллекту, остальное кажется вполне убедительным. Человек отмежевывается от релятивизма, признает об'ективное, адэкватное значение науки и интеллекта. Что же еще надо?—Однако жестоко ошибся бы тот, кто взял бы эти цитаты за руководство к пониманию гносеологии Бергсона. Благонамеренные заявления лежат мертвым грузом в философии Бергсона. Они обязывают ко многому, но из них не делается никаких выводов. Если сам Бергсон признает, что в формальном строении интеллекта заключена возможность прорыва из тесных горизонтов практики в просторы об'ективной теории, если он прямо заявляет, что интеллекту доступно хотя бы приблизительное, но все же адэкватное, не относительное познание, то, казалось бы, прямая задача философа,—исследовать условия возможности такого познания, установить критерий его достоверности, исходя из практики, как всеобщей его основы. Ничего подобного мы не видим у Бергсона. Об'ективная ценность научного знания интересует его не по существу. Признание об'ективной силы науки нужно Бергсону, как ширма, как отвод против обвинения в наукобоpстве. Зангрывание с наукой и интеллектом только смягчает основную тенденцию философии Бергсона. Вся приведенная выше «защита» адэкватности научного познания и прав интеллекта стоит в прямом и неустранимом противоречии со всем остальным содержанием учения Бергсона. Я добросовестно собрал и привел выше все заверения Бергсона, которые можно было бы выставить против мнения, будто Бергсон борется с интеллектом и наукой. Однако все эти заверения тонут в массе других, диаметрально противоположных. Бросив мимоходом из приличия несколько фраз в защиту науки, Бергсон дает полную волю истинным тенденциям своего мышления. Тенденций эти направлены на принципиальную репительную критику науки, интеллекта и всего научного миросозерцания. Исчерпать риторику Бергсона по этой теме положительно нет возможности. С неистощимым красноречием, с редкой изобретательностью, в бесчисленном множестве увлекательных образов доказывает Бергсон, что наука и интеллект принципиально относительны, ограничены и не адэкватны действительности. В полном противоречии с приведенными выше заявлениями, Бергсон неоднократно утверждает, что науке недоступна истинная цель познания, которая заключается

[1]) А. Бергсон, Творческая эволюция, стр. 185.
[2]) Там же, стр. 185.

в отвращении от практики, в чистом созерцании. По Бергсону, даже тогда, когда мы хотим созерцать, когда мы стремимся к познанию сущности вещей, независимой от наших действий и от интересов практики, это нам не удается. Даже тогда, когда наука хочет быть вполне теоретичной и только теоретичной, она остается зависящей от практики с ее ограниченной точкой зрения. Привыкнув смотреть на вещи только с точки зрения того интереса, какой они представляют для наших действий, наш интеллект не в силах взглянуть на вещи по-иному, незаинтересованным взором. Для созерцания вещей он вынужден применять те самые формы, категории и точки зрения, которые он выработал или, вернее, которые выработались в нем в интересах практики, применительно к потребностям действия: «Мы переносим на умозрение приемы, созданные для практики» [1]). «Волей-неволей мы сохраняем этот способ... мышления и в наших умозрениях о природе вещей, независимо от того практического интереса, который имеют для нас вещи» [2]). «Мы прилагаем к бескорыстному познанию реального те же приемы, которыми мы пользуемся в текущей жизни в целях практической полезности» [3]). Так как наш интеллект переносит ь созерцательное познание несоответствующие, чуждые приемы, заимствованные из практики, то все интеллектуальное познание оказывается, по Бергсону, неадэкватным и всего лишь относительным. Практический интерес приводит к познанию одних только отношений. Будучи насквозь практичным—в своей установке и в своих приемах,—интеллектуальное познание также в состоянии постигать только отношения. Но практика, по крайней мере,—так рассуждает Бергсон,—не имеет претензий. Она просто учит нас организации наших действий. Она ничего не говорит нам о том, насколько то, что практический интерес открывает нам в вещах, соответствует их действительной сущности. Напротив, наши интеллектуальные представления, наши научные теории выдают себя за адэкватную картину реальности. С точки зрения Бергсона, недостаток интеллекта—не в ограниченности, а в том, что он ее не замечает. Свои естественные иллюзии он выдает за истину. Провинциальными средствами он думает решать универсальные проблемы. «Но переносить этот modus operandi в философию... и здесь, имея в виду на этот раз бескорыстное постижение предмета, в нем самом, прилагать тот же способ познания, который внушается известным интересом и по самому определению является точкой зрения, взятой на предмет извне—это значит итти против собственной цели...» [4]), «если и в наших умозрениях о природе реального мы продолжаем смотреть на него так, как. того требовал наш практический интерес,—мы становимся неспособными видеть истинную эволюцию...» [5]). Но именно так поступает все наше интеллектуальное познание. Рожденное из практики, оно, по природе и по всем своим привычкам, неспособно к созерцанию. В этом смысле несостоятельны, по Бергсону, все формы интеллектуального познания, начи-

[1]) А. Бергсон, Творческая эволюция, стр. 244.
[2]) Там же, стр. 244—245.
[3]) Там же, стр. 35.
[4]) А. Бергсон, Введение в метафизику, стр. 23.
[5]) А. Бергсон, Творческая эволюция, стр. 244.

ная с восприятий и кончая высшими понятиями и научными теориями. «Наши восприятия,—утверждает Бергсон,—дают нам очертания нашего возможного действия на вещи гораздо более чем очертание самих вещей. Контуры, которые мы замечаем в предметах, обозначают только то, чего мы можем в них достигнуть и что изменить...» [1]), «интеллекту нашему, как, впрочем и чувствам, продолжением которых он является, оказывается доступной только та сторона жизни, которая открывается для действия» [2]). Несостоятельность интеллекта особенно ясно обнаруживается там, где он обращается к познанию движения. Представить себе истинную природу движения, становления вещей, интеллект бессилен. Искусство нашего знания подобно кинематографу. «Вместо того, чтобы слиться с внутренним становлением вещей, мы становимся вне их и воспроизводим их становление искусственно. Мы схватываем почти мгновенные отпечатки с проходящей реальности, и так как эти отпечатки являются характерными для этой реальности, то нам достаточно нанизывать их вдоль абстрактного единообразного, невидимого становления, находящегося в глубине аппарата познания, для того, чтобы подражать тому, что есть характерного в самом этом становлении» [3]).

Заблуждение интеллекта, описанное здесь Бергсоном, действительно существует. Противоречие между истинной природой движения и тою его картиной, которую рисует нам наш интеллект, есть не выдумка, но реальный факт познания. Противоречие это есть не что иное, как несоответствие между реальной диалектикой движения и его отображением в абстрактном рассудке. «Кинематографический» метод интеллекта, столь элегантно изображенный Бергсоном, есть тот самый «метафизический» способ мышления, который был исчерпывающе описан Энгельсом в «Анти-Дюринге». Ошибка Бергсона в том, что ответственность за метафизический образ мышления Бергсон сваливает не на абстрактный рассудок, а на интеллект в целом. Но это, конечно, неверно. Рассудок есть не весь интеллект, но лишь его низшая ступень. Высшей его ступенью является диалектический разум. Диалектический разум постигает не абстрактную, механическую схему движения, но его конкретный, живой, диалектический ритм. Это диалектическое отношение между отвлеченным рассудком и конкретным диалектическим разумом совершенно недоступно метафизику Бергсону. Блестяще охарактеризовав недостаточность абстрактного, рассудочного познания, Бергсон без всякого на то основания делает отсюда «уничтожающие» выводы относительно интеллекта и научного познания в их целом. «Интеллект,—говорит Бергсон,—характеризуется естественным непониманием жизни...» [4]), «что касается жизни, то он дает нам только ее перевод в выражениях инерции, и не претендуя, впрочем, на большее» [5]). Из несоответствия между задачами интеллектуального познания и средствами, которыми интеллект располагает, следует, что наше знание—относительно и символично. Интеллект «обращается с живым, как с инертным, прилагая к этому новому предмету те же самые привычки, которые с таким успехом прилагались им к старому. И он имеет основание так поступать, ибо только при этом условии живое так же поддается нашему действию, как и инертная материя. Но истина, к которой приходят таким путем, становится относительной, вполне зависящей от нашей способности действовать. Это уже не более, как истина символическая» [1]). Каков интеллект, такова и основанная на его формах наука. Относительности интеллектуальных форм соответствует относительность научных теорий. Даже на своих высших ступенях научное познание зависит от интересов практики. Даже научная теория не есть еще, по Бергсону, истинная, т.-е. свободная от внушений практики, теория: в ней еще слишком силен запах почвы, из которой она выросла. «Наука,—говорит Бергсон,—может быть умозрительной по форме, бескорыстною в своих ближайших целях: другими словами, мы можем оказывать ей кредит как угодно долго. Но, как бы ни отодвигать срок платежа, нужно, чтобы в конце концов наш труд был оплачен. Таким образом, по существу наука всегда имеет в виду практическую полезность. Даже когда она пускается в теорию, она вынуждена приспособлять свою работу к общей конфигурации практики» [2]). С большой подробностью останавливается Бергсон на относительности научного знания. Так называемая точность научного знания вовсе не есть еще, в глазах Бергсона, гарантия его адэквatности. Точность науки есть, по Бергсону, только выражение ее зависимости от практики. Точность науки—другая сторона ее символичности. «Сущность науки,—говорит Бергсон...—заключается в том, чтобы изготовлять знаки, которыми она заменяет сами предметы. Эти знаки, конечно, отличаются от знаков языка своей большей точностью и более высокой действенностью, но тем не менее они не свободны от общих свойств знака, заключающихся в том, чтобы отмечать в закрепленной форме неподвижный аспект реальности» [3]). «Наше восприятие, роль которого—освещать наши действия, совершает рассечение материи, всегда, следовательно, требующее пересмотра. Наша наука, стремящаяся принять математическую форму, подчеркивает более, чем это следует, пространственность материи; ее схемы поэтому в общем слишком точны и всегда нуждаются в переделке» [4]).

Нельзя не признать, что в этом пункте Бергсон обнаруживает не малую «оригинальность»: науку он упрекает не в недостатке точности, но, напротив, в том, что она слишком точна. Замечательно, однако, что по этому вопросу взгляд Бергсона поразительно совпадает с взглядом... Льва Толстого. В небольшом, но очень любопытном сочинении «О жизни» Толстой развивает положение, согласно которому точность научного знания не только не гарантирует его адэквatности, но, напротив, несовместима с нею. Точность знания, по Толстому, обратно пропорциональна его адэквatности. Поэтому лучше всего знаем мы

[1]) А. Бергсон, Творческая эволюция, стр. 169.
[2]) Там же, стр. 145.
[3]) Там же, стр. 273.
[4]) Там же, стр. 148.
[5]) Там же, стр. 158.

[1]) А. Бергсон, Творческая эволюция, стр. 175—176.
[2]) Там же, стр. 294.
[3]) Там же, стр. 294.
[4]) Там же, стр. 185.

самих себя, менее знаем—животных, еще менее—растения и, наконец, всего менее—мир материи, мертвой неорганической природы. Математическое естествознание—самая точная наука, но именно поэтому оно—наименее адэкватный род знания.—Это замечательное совпадение во взглядах между ориентирующимся на положительную науку Бергсоном и явным наукоборцем Толстым—факт не случайный, но глубоко детерминированный в психологии класса, для которого все интеллектуальные дороги ведут в Рим идеализма. В этом пункте ни Бергсон, ни Толстой не оригинальны. Взгляд обоих восходит к глубоко традиционному положению идеализма, выставленному еще Сократом. Еще Сократ учил, что знание может быть только о том, что в нашей власти. Но более всего в нашей власти—наша душа. Поэтому более всего доступно нам познание нашей души, нас самих. Наименее доступно нам познание «вещей божественных», т.-е. порядка и строения природы. Недостоверность натурфилософии явствует, по Сократу, из тех противоречий, в которых запутались философские школы, пытавшиеся познать строй природы. Любопытно, что «Творческая эволюция» Бергсона начинается с утверждения этого самого, по существу—сократовского, положения: «Из всего, что существует,—говорит Бергсон,—самым достоверным и всего более известным, неоспоримо, является наше собственное существование, ибо понятия, имеющиеся у нас о других предметах, можно считать внешними и поверхностными, тогда как познание самого себя есть познание внутреннее, глубокое» [1]). Подобно Сократу, Бергсон главную причину дробления философии на множество борющихся школ видит в принципиальной неадэкватности научного знания, в несоответствии между его ограниченными средствами и задачами чистого познания: «Неудобство простых понятий,—говорит Бергсон,—заключается... не только в том, что они делят конкретное единство предмета на соответственное число символических выражений; они делят также философию на различные школы, из которых каждая держится своего места, выбирает свои жетоны и начинает с другими состязание, которому не суждено окончиться» [2]).

Вся эта критика точности только на первый взгляд кажется оригинальной. На самом деле она выдает классовые источники и классовые традиции современной философии. Эволюционист, базирующий свою философию на данных биологии, Бергсон подает руку наукоборцу Толстому в его мистической критике точного научного познания. Каким убогим оказывается арсенал современной буржуазной философии! И каким наивным кажется в свете подобных открытий восторг Джемса, которого, по его собственным словам, оригинальность идей Бергсона положительно сбила с толку.

Но вернемся к Бергсону. Развенчав идеал точного знания, Бергсон последовательно развивает критику науки. Без устали, с неистощимой изобретательностью в средствах выражения аргументирует Бергсон недостатки научного знания. Наука по существу аналитична. «Обычной функцией положительной науки является анализ. Она работает поэтому прежде всего над симво-

[1]) А. Бергсон, Творческая эволюция, стр. 1.
[2]) А. Бергсон, Введение в метафизику, стр. 12.

лами. Даже самые конкретные из наук о природе, науки о жизни, придерживаются видимой формы живых существ, их органов, их анатомических элементов. Они сравнивают формы одни с другими, сводят самые сложные из них к самым простым, словом, они изучают отправления жизни в том, что является в ней, так сказать, видимым символом» [1]).

Символическая в своих методах, приемах, наука никогда не бывает завершенной в своих результатах. Поэтому научные теории никогда не совпадают целиком со всей полнотой реальности. В этом,—думает Бергсон,—большой недостаток науки и ее теории. Как настоящий метафизик, Бергсон требует, чтобы наука сразу преподнесла ему, как на блюде, всю полноту истины. «Чтобы научная теория,—рассуждает Бергсон,—могла сделаться законченной теорией, нужно, чтобы дух мог охватить сразу всю совокупность вещей и распределить их в определенных отношениях одни к другим; но в действительности мы вынуждены ставить проблемы одна за другой, в выражениях, являющихся по необходимости выражениями временными, так что решение каждой проблемы бесконечно исправляется решением следующих проблем, и наука в ее целом является относительной, завися от случайного порядка, в котором поочереди ставились проблемы» [2]). Смысл этих замечаний сводится не только к тому, чтобы еще раз обнаружить относительность научного знания. Относительность, незавершенность научного знания означает—в глазах Бергсона—его бесплодность: «В своем вечно ненасытном желании охватить предмет, вокруг которого он осужден вращаться, анализ без конца умножает точки зрения, чтобы дополнить представление, всегда неполное, без устали разнообразить символы, чтобы довершить перевод, всегда несовершенный. Он продолжается в бесконечность» [3]).

IV.

Своей высшей точки восстание Бергсона против интеллекта достигает в критике понятий. Борьба с понятиями образует центральный пункт всей критики Бергсона. И это, конечно, не случайно. Понятия—основная форма научного познания и самая важная функция интеллекта. Без критики понятия весь бергсоновский бунт против интеллекта остался бы половинчатым, незавершенным. Только рассчитавшись с понятием, только развенчав его познавательную ценность, мог бы торжествовать Бергсон победу над интеллектом. Поэтому критика понятий играет первейшую роль в учении Бергсона. Своего врага Бергсон хочет поразить в самом заветном его убежище. Именно понятия образуют фокус, в который направлены все удары Бергсона по интеллекту. И именно в критике понятий яснее всего обнажается глубокая связь между философией Бергсона и основными тенденциями современного буржуазного мышления. Современная буржуазная философия в подавляющем большинстве случаев антирационалистична. Она боится понятий, как чорт ладана. Понятия для нее слишком ясный, прозрачный, точный и потому—

[1]) А. Бергсон, Введение в метафизику, стр. 6.
[2]) Там же, стр. 6.
[3]) Там же, стр. 6.

слишком беспокойный и нежелательный род познания. Она не столько ими пользуется, сколько их критикует. В этой критике Бергсону принадлежит одно из первых мест.

По Бергсону, уже представление или образ—этот элементарный зародыш понятия—таит в себе ряд крупных познавательных недостатков. Образы не дают нам знания о внутренней жизни. «В образах ее нельзя себе представить. Но еще труднее ее представить путем понятий, т.-е. абстрактных идей, общих или простых» [1]. Но в сравнении с понятием образ «имеет по крайней мере то преимущество, что он удерживает нас в конкретном» [2]. Понятие, согласно Бергсону, лишено и этого преимущества. «Но понятие, абстрагируя, вместе с тем и обобщает. Понятие символизирует специальное свойство не иначе, как делая его общим для бесконечности вещей. Широким толкованием, которое оно ему дает, оно всегда поэтому более или менее его извращает» [3]. Не о силе нашего интеллекта говорят, по Бергсону, наши понятия, но, напротив, о его слабости. Понятия создаются интеллектом, как продукты движения по линии наименьшего сопротивления. «Если бы чувства и наше сознание были неограниченны, если бы наша способность внешнего и внутреннего восприятия была бесконечна, мы никогда не прибегали бы к понятиям и рассуждениям. «Понимать»—это худший исход, когда нельзя уже «воспринимать», и рассуждать приходится по мере того, как нужно наполнять пустоты внешнего и внутреннего восприятия и расширять их захват» [4].

По Бергсону, понятия несоизмеримы с реальностью и постоянно рушатся под ее напором. «Я не отрицаю,—говорит Бергсон,—полезности абстрактных и общих идей, как не отрицаю важности банкового билета. Но как билет есть только обещание золота, так и ценность понятия измеряется предполагаемыми восприятиями, которые оно собою представляет... понятия, подобранные самым искусным образом, рассуждения, воздвигнутые по самому научному способу, рушатся, как карточные домики, лишь только факт—один реально подмеченный факт—сталкивается с этими понятиями и с этими рассуждениями... нет ни метафизика, ни теолога, который не был бы готов признать, что совершенное существо познает все интуитивно, без посредства рассуждений, абстракций, обобщений» [5]. Все, что есть ценного в понятии, зиждется, по Бергсону, не в нем самом, но в непосредственном восприятии, которое есть основа всякого понятия. Назначение понятия—упорядочивать то, что уже дано ему в содержании образов и восприятий: «Понятия не более, чем образы [6]. Как бы абстрактно ни было понятие, его исходной точкой всегда будет восприятие. Интеллект комбинирует и разделяет; он приводит в порядок, изменяет порядок, координирует; он не творит» [7]. В понятиях нет никакого творчества: «из понятий и

[1]) А. Бергсон, Введение в метафизику, стр. 10.
[2]) Там же, стр. 10.
[3]) Там же, стр. 11—12.
[4]) А. Бергсон, Восприятие изменчивости (Собр. сочинений, т. II) стр. 7.
[5]) Там же, стр. 7.
[6]) А. Бергсон, Введение в метафизику (т. IV), стр. 10.
[7]) А. Бергсон, Восприятие изменчивости, стр. 8.

точек зрения никогда ничего не создается» [1]. Будучи несовершенным родом познания, понятия дают нам не только не полную, но прямо-таки неверную, искаженную картину действительности: понятия характеризуют предмет не по содержанию, но только по об'ему [2]. Понятия неподвижны и с их помощью не может быть добыто истинное познание движения: «анализ всегда оперирует неподвижным»... «понятия и схемы, к которым приводит анализ, характеризуются, главным образом, тем, что они остаются неподвижными в то время, как их рассматривают [3]. Познавать живое, движущееся, становящееся интеллект может только «кинематографическим» методом. Этот метод познания «имеет преимущество давать нам возможность предвидеть будущее и делать нас в известной мере господами событий; но зато он удерживает от движущейся реальности только предполагаемые неподвижности, т.-е. снимки с реальности, получаемые нашим разумом: он скорее символизирует реальное и переводит его на человеческое, чем его выражает» [4]. Неспособность понятий к выражению реальности особенно ясно выступает, по Бергсону, там, где понятия направлены на индивидуальное. Все единичное, неповторимое, единственное в своем роде проходит через понятия, как вода через сетку. «Поскольку абстрактные идеи могут оказывать услуги анализу, т.-е. научному изучению предметов в его отношениях к другим, постольку они неспособны заменить собою... исследование предмета в том, что есть в нем существенного и ему одному принадлежащего... Напрасно поэтому было бы надеяться схватить с помощью их реальность: они ограничиваются тем, что представляют нам только тень ее» [5]. В последнем счете понятия, по Бергсону,—только ярлычки, которые мы поспешно наклеиваем на предмет, выделяя в нем все важное для нашей практической точки зрения и отворачиваясь от всего остального и существенного. Уж простое восприятие, эмбрион понятия, действует именно таким образом: «оно нам показывает менее самые вещи, чем то, что мы можем извлечь из них. Заранее оно их классифицирует, заранее наклеивает на них ярлычки; мы едва взглядываем на предмет; нам достаточно знать, к какой категории он принадлежит» [6]. Но ничего иного не дают по существу и понятия: «Наклеить на предмет этикетку какого-нибудь понятия—это значит отметить в точных выражениях род действия или положения, которые предмет должен будет нам подсказать... Правда, что наш интерес бывает иногда очень сложен. Вот почему нам случается давать несколько последовательных направлений нашему познанию одного и того же предмета, и менять наши точки зрения на него. В этом состоит «широкое» и «всеоб'емлющее» познание предмета, предмет сводится тогда не к единому понятию, но к нескольким, к которым его считают «причастным» [7].

[1]) А. Бергсон, Введение в метафизику, стр. 22.
[2]) А. Бергсон, Творческая эволюция, стр. 134.
[3]) А. Бергсон, Введение в метафизику, стр. 25 и 23.
[4]) А. Бергсон, Творческая эволюция, стр. 305—306.
[5]) А. Бергсон, Введение в метафизику, стр. 11.
[6]) А. Бергсон, Восприятие изменчивости, стр. 13.
[7]) А. Бергсон, Введение в метафизику, стр. 22—23.

Мы исчерпали весь арсенал бергсоновских аргументов против понятий. Как и в других, уже нам известных, случаях Бергсон хорошо видит отдельные факты, отдельные признаки, но он совершенно неспособен найти и правильно определить их взаимные связи, понять их диалектический смысл. Конечно, наши понятия о реальности и сама реальность—не одно и то же. Конечно, сетка абстрактных понятий не во всех пунктах соприкасается с реальностью. Но утверждать на основании этого несовпадения, будто понятия бессильны «схватить реальность»—это значит неправильно ставить вопрос. Двусмысленность бергсоновской критики в этом пункте заключается в том, что, критикуя мощь научного познания в его целом, Бергсон направляет свои удары против абстрактного теоретического познания, которое есть только одна сторона научного знания. Если иметь в виду только созерцательное, абстрактное теоретическое познание, то «схватить реальность», т.-е. представить ее во всей неисчерпаемой полноте конкретных, индивидуальных черт, равно бессильно всякое познание, будет ли оно познанием посредством понятий или познанием интуитивным. Никакая «интуиция», никакое созерцательное, т.-е. оторванное от практики, познание не в силах воспроизвести реальность. Даже художественная интуиция, проще говоря—художественные представления, образы, не дают нам адэкватного отражения реальности. Пусть нам кажется, что сама жизнь глядит на нас с полотна картины или проходит перед нами в образах беллетриста,—на самом деле художник не воспроизвел действительности. Он выбрал из нее то, что он в ней увидел. Да и из того, что он в ней увидел, далеко не все попало в его картину. Из всего замеченного он отобрал то, что ему было нужно, что показалось ему нужным. Между научным понятием и «интуитивным» художественным представлением или образом различие не по существу, а только в степени. И то и другое основано на выборе одних признаков и исключении других. Меняется только точка зрения, метод организации признаков. По отношению к реальности «интуитивное познание»—такой же вторичный факт, как и познание интеллектуальное. Бытие первее сознания. Воспроизвести реальность так, как она есть, в состоянии лишь тот, кто умеет воспроизвести ее. «Схватить» реальность в бергсоновском смысле этого слова—все равно, что вновь породить ее. Но интеллект, как его понимает Бергсон, т.-е. способность рассудка, направленная на образование отвлеченных и общих понятий, вовсе и не берется за такую задачу. Интеллект, как таковой, отображает бытие, а не творит его вновь. Критикуя познавательную мощь интеллекта, Бергсон ломится в открытую дверь. Он обвиняет интеллект в неисполнении обязательств, которых тот никогда не обещался выполнить.

Но интеллект вовсе не так абстрактен, как представляет его Бергсон. Анализ, отвлечение, обобщение—только абстрактно могут быть выделены, как моменты его работы. Конкретно работа интеллекта—всегда предметна, всегда материальна, всегда связана с практикой, с промышленной и экспериментальной техникой. А о практике уже нельзя сказать, что она—несоизмерима с реальностью. Ибо практика не только отображает и абстрагирует: она создает и воспроизводит. В тот момент, когда химику удается в своей лаборатории добыть путем экспериментального

синтеза сложное органическое вещество, вырабатываемое только живыми организмами, он, несомненно, «схватывает» реальность—в точном бергсоновском смысле этого слова. Экспериментальная, т.-е. связанная с техникой, с практикой, наука воспроизводит реальность и даже «творит» ее вновь. При этом воспроизводимая реальность—уже не абстрактная всеобщая, но конкретная, индивидуальная. В этом воспроизведении интеллект принимает прямое участие. Без интеллектуальных форм познания, без понятий, без «отвлеченных» теорий, экспериментальная практика не могла бы осуществляться. Понятия, точки зрения, методы и категории интеллекта лежат не где-то вне экспериментальной техники, но в ней самой. И лежат они не каким-то чужеродным балластом, но, напротив, руководят практикой в ее построениях. Абстрактные моменты научного знания как бы растворяются в осязательных результатах экспериментальной практики. Они становятся их неотъемлемой составной частью. Но и «невидимые», «растворенные» в материальных продуктах техники, они все существуют. Их роль оттого не становится менее значительной.

Таким образом, практика и принципиально и фактически разрешает задачу, которую Бергсон ставит перед отвлеченным рассудком. Свои обвинения Бергсон направляет не по адресу. То, что в этих обвинениях есть справедливого, относится только к отвлеченному рассудку, а не к интеллекту в его целом. Интеллект гораздо шире, чем это представляется Бергсону. Интеллекту доступны не только анализ, но и синтез, не только абстрактное, но и конкретное, не только всеобщее, но и единичное, не только символы реальности, но и сама реальность. Интеллект диалектичен так же, как диалектична наука и все познание. Он—практичен и теоретичен, конкреген и абстрактен в одно и то же время. Реальная почва, на которой «снимаются» эти противоречия, есть практика, та самая тысячу раз охаянная Бергсоном практика, которая, по мнению Бергсона, есть главное препятствие на пути к адэкватному познанию. Противоречие Бергсона—на это раз, увы, не диалектическое—состоит в том, что Бергсон одновременно и связывает науку с практикой и отрывает их друг от друга. Когда требуется «доказать», что наука—несвободна, несамостоятельна, что она смотрит на бытие чужими и потому помраченными глазами, Бергсон усиленно подчеркивает зависимость интеллекта от практики, его «плебейское» происхождение. Когда же надо показать, что наука не адэкватна реальному бытию, Бергсон ставит на вид ее абстрактный, отвлеченный, отчужденный от творческой практики, созерцательный характер. В основе всего этого—в корне противоречивого—представления лежит глубоко характерное для идеолога современной буржуазии недоверие к практике, к ее творческой силе и ее возможностям. Практические усилия, практическая энергия современной буржуазии направлены не на творчество нового, а на сохранение и упрочение настоящего порядка вещей. Практически эта тенденция выражается в активной борьбе с этим новым, в его физическом подавлении. Идеологически она приводит к философии, которая задачей науки об'являет созерцательное познание «вечных» законов сущего. Поэтому гносеологический идеал всех современных буржуазных философов—чисто созерцательный. В этом отношении философия Бергсона не составляет

никакого исключения. Революционность философии Бергсона, восстающего против всех прежних рационалистических учений,—совершенно мнимая. Пусть вместо созерцания неподвижных вещей и их образов философия займется, как предлагает ей Бергсон, созерцанием текучих процессов. Пусть «кинематографический» род созерцания уступит место «интуитивному», «симпатическому». Созерцание от этого не перестанет быть созерцанием. В философии Бергсона, как и во всех предшествующих ей буржуазных построениях, суб'ект познания по-прежнему абстрактно и метафизически противопоставлен его об'екту. Различие между Бергсоном и прочими буржуазными идеологами все-таки лишь в оттенках, а не в самой сути.

V.

Справедливость сказанного еще яснее выступает в учении Бергсона об интуиции. Прямой критикой интеллекта пафос бергсоновской философии не исчерпывается. Если бы Бергсон ограничился только этой критикой, то его антиинтеллектуализм не был бы до конца решительным. Все эти замечания о символизме и неадэкватности интеллекта можно было бы рассматривать, как заостренное, преувеличенное выражение некоторой относительности, действительно присущей нашему знанию. Бергсону можно было бы упрекать за пессимистические выводы из этой критики, за агностицизм, за уклон в релятивизм. И все же интеллект и наука оставались бы у Бергсона единственным путем, орудием и методом познания действительности.

На самом деле антиинтеллектуализм Бергсона гораздо более радикален. Происходит это в силу того, что критика интеллекта развивается Бергсоном на фоне его учения об интуиции. Критикуя приемы и методы интеллектуального знания, Бергсон исходит из заранее готового и заранее принятого решения,—будто существует форма знания, неизмеримо более совершенная. Эта форма—интуиция. Понятие интуиции образует тот фон—иногда ясно видимый и осязаемый, всегда во всяком случае подразумеваемый,—на котором развертываются все мотивы критики. Даже там, где Бергсон ничего не говорит об интуиции, где он анализирует одни интеллектуальные формы, взятые сами по себе, понятие интуиции образует твердый масштаб, по которому равняется и к которому пригоняется оценка всех интеллектуальных функций.

Как и в других вопросах, Бергсон постарался смягчить впечатление от слишком резкого, слишком категорического противопоставления. Предупреждая возражения, Бергсон оговаривается, что он не имеет целью умалить интеллект за счет интуиции. Интеллект и интуиция—два параллельно развившиеся рода знания. Они взаимно обусловливают и пополняют друг друга. Источником обоих является о п ы т, и это эмпирическое единство интеллекта и интуиции, единство их происхождения позволяет даже, по Бергсону, об'единить в целое теорию знания и метафизику: «если сознание... раздвоилось на интуицию и интеллект, то оно произошло это вследствие необходимости как применяться к материи, так, одновременно с этим, следовать за течением жизни. Раздвоение сознания зависит здесь от двойной формы реального, и теория

познания должна исходить из метафизики. Поистине каждое из этих двух исканий приводит к другому: они составляют круг, и круг этот не может иметь другого центра, кроме эмпирического изучения эволюции» [1]). Перенесенный в плоскость эмпирической биологии, параллелизм интеллекта интуиции превращается у Бергсона в параллель интеллекта и и н с т и н к т а. Интуиция может быть определена, по Бергсону, как «инстинкт, сделавшийся бескорыстным, сознающим самого себя, способным размышлять о своем предмете и расширять его бесконечно» [2]). Будучи различными направлениями одной и той же деятельности жизни, интеллект и интуиция, по Бергсону, равноценны: они «представляют... два расходящихся, одинаково красивых, решения одной и той же проблемы» [3]).

Изложенное построение кажется—на первый взгляд—достаточно широким. Повидимому, общей перспективой, к которой Бергсон относит параллель между интеллектом и интуицией, служит у него биологическое учение об эволюции. На самом же деле биологизм, эволюционизм и здесь—только маска. Что бы ни говорил Бергсон о расходящихся в виде снопа линиях биологического развития, о параллельности логизма и инстинкта, о взаимной обусловленности интеллекта и интуиции,—основным лозунгом, основной задачей его философии остается превознесение интуиции за счет интеллекта и науки. Только интуиция в состоянии, по Бергсону, исполнить задачу философии, цель которой—«исследовать живое без задней мысли о практическом пользовании, освободившись от форм и привычек, в собственном смысле слова, интеллектуальных» [4]). Только интуитивное знание не останавливается на относительном, но достигает абсолютного. Оно схватывает реальность непосредственно,—без помощи анализа и символов. «Абсолютное—говорит Бергсон—может быть дано только в интуиции, тогда как все остальное открывается в анализе. Интуицией называется род интеллектуальной симпатии, путем которой переносятся внутрь предмета, чтобы слиться с тем, что есть в нем единственного и, следовательно, невыразимого» [5]). Поэтому и сама философия, если она действительно стремится к адэкватному познанию реальности, должна сбросить с себя гнет интеллектуальных привычек и стать философией интуитивной. «Или метафизика есть только... игра идей, или, если это серьезное занятие для духа, если это наука, а не простое упражнение,—нужно, чтобы она вышла из пределов понятий и перешла к интуиции. Конечно, понятия для нее необходимы, ибо все другие науки работают обыкновенно над понятиями, а метафизика не может обойтись без других наук. Но самой собой в собственном смысле слова она является только тогда, когда она переходит за понятие или, по крайней мере, когда она освобождается от понятий неподатливых, вполне законченных, чтобы создавать понятия иные, совершенно непохожие на те, какими мы обычно пользуемся,—я хочу сказать создавать представления

---

[1]) А. Бергсон, Творческая эволюция, стр. 160.
[2]) Там же, стр. 159.
[3]) Там же, стр. 128.
[4]) Там же, стр. 176.
[5]) А. Бергсон, Введение в метафизику, стр. 6.

гибкие, подвижные, почти текучие, всегда готовые принять ускользающие формы интуиции» [1]).

В виду столь важного значения, какое понятие интуиции играет в системе Бергсона, вполне естественным было бы ожидать, что Бергсон постарается дать законченное гносеологическое обоснование и об'яснение интуиции. Читатель, которому предлагают заменить интеллектуальные методы интуицией, несомненно, не удовлетворится одними обещаниями познавательных благ. Такой читатель потребует, чтобы ему точнее определили, что такое конкретно эта прославленная интуиция, каковы ее методы, при каких условиях она достигается, каковы ее органы, в чем положительная сущность ее работы. Расстаться с интеллектом—дело не шуточное. Прощаясь с ним, хочется знать, по крайней мере, на что его променяешь.

Однако, как бы ни были законны и понятны эти вопросы,—во всей философии Бергсона нельзя найти на них никакого ответа. Как это ни странно, но понятие интуиции лишено у Бергсона какого бы то ни было положительного содержания. По Бергсону, способность интуиции—чисто отрицательная. Для обладания интуицией не нужно,—раз'ясняет Бергсон,—никаких специальных способностей или органов восприятия; интуиция не есть положительная функция познания. Условия интуиции—чисто отрицательные и заключаются только в освобождении сознания от практической заинтересованности, в устранении практической точки зрения. Чтобы познавать интуитивно, не нужно ничего иметь, не нужно ничего предпринимать, требуется только переменить точку зрения, смотреть на вещи не практически, а теоретически, т.-е. чисто созерцательно. Разрубить все ниги, которыми наше сознание и его приемы связываются с практикой, отвернуться от всего, что связано с практической точкой зрения,—это и значит, по Бергсону, обладать интуицией. «Роль философии,—говорит Бергсон,—не заключается ли в том, чтобы привести нас к более полному восприятию реальности путем известного перемещения внимания? Дело шло бы о том, чтобы отвратить наше внимание от той стороны вселенной, в которой мы заинтересованы практически, и повернуть его к тому, что практически ни к чему не служит. Такой поворот внимания и была бы сама философия» [2]). В знаменитом докладе «Философская интуиция», читанном на международном конгрессе философов, Бергсон прямо сравнивает интуицию с «демоном Сократа». Демон этот, как известно, не внушал, не советовал Сократу ничего положительного: он только удерживал, предостерегал, воспрещал. Такова и роль бергсоновской интуиции. «Мне кажется—говорит Бергсон,—что интуиция играет в сфере умозрения такую же роль, какую играл демон Сократа в практической жизни. По крайней мере, в таком виде она впервые обнаруживается, и в таком же виде она и в дальнейшем ярче всего сказывается: она запрещает. Наперекор общепринятым идеям и как будто самоочевидным тезисам, наперекор утверждениям, признававшимся до того научными, она шепчет философу на ухо: «Невозможно» [3]). Что за странное явление,—

[1]) А. Бергсон, Введение в метафизику, стр. 13.
[2]) А. Бергсон, Восприятие изменчивости, стр. 14.
[3]) А. Бергсон, Философская интуиция (Новые идеи в философии, Сб. № 1. Философия и ее проблемы, Спб. 1912 г.), стр. 4—5.

восклицает Бергсон,—эта инстинктивная сила отрицания. И как она не обратила на себя внимания историков философии. Разве не очевидно, что первое, что делает философ, когда мысль его еще не уверена и когда еще нет ничего окончательного в его учении—это то, что он окончательно отвергает некоторые вещи. Впоследствии, взгляды его могут измениться в том, что он будет утверждать; но они не будут изменяться в том, что он отрицает» [1]). Интуиция Бергсона не говорит нам, что и как мы должны познавать. Она только запрещает нам совершать акты познания, связанные с практикой. Бергсоновская интуиция удивительно похожа на мораль Толстого, которая состоит из одних отрицательных заповедей.

Учение Бергсона об интуиции кажется еще более странным в связи со взглядами Бергсона на искусство. Интуитивное познание реализуется, по Бергсону, в искусстве. Самый факт существования искусства доказывает, что интуиция возможна и осуществима. Она возможна, правда, только в виде редкого исключения. Обычное человеческое познание: равно житейское и научное—всегда практично и, следовательно, интеллектуально, а не интуитивно. Нам трудно даже представить, каким образом вообще возможно видеть в вещах больше того, что показывает нам в них наше обычное восприятие. «Как можно требовать от тела или духа, чтобы они видели более того, чем они видят. Внимание может осветить, увеличить точность наблюдения, углубить его; но оно не может заставить появиться в поле восприятия того, чего там не было сначала» [2]). Вот возражение, которое формулирует сам Бергсон и которое он предвидит, как возражение против возможности интуиции. Но «нам кажется,—отвечает самому себе Бергсон,—что это возражение опровергается опытом. Действительно, во все времена встречаются люди, назначение которых как бы именно в том и состоит, чтобы видеть самим и заставлять видеть других то, что естественным образом мы не замечаем. Эти люди — художники». «Чего добивается искусство, если не того, чтобы заставить нас открыть в природе и духе, вне нас и в нас самих массу вещей, которые не обнаруживаются с ясностью нашими чувствами и нашим сознанием».

Итак, по Бергсону, искусство удостоверяет нас в том, что интуиция существует в том смысле, в каком ее понимает сам Бергсон. Но если искусство действительно есть классический пример интуитивного познания, то не трудно видеть, насколько неверна, несостоятельна бергсоновская теория интуиции. Искусство есть прежде всего деятельность, и при том деятельность—крайне сложная. Искусство опирается на особый сложный механизм восприятия, имеет особые условия реализации в данных материала и техники, в данных общественной и индивидуальной жизни. Чтобы быть художником, надо обладать многими положительными, материальными (психофизиологическими) данными, которые в каждом искусстве—иные и соответствуют его конкретному материалу и его своеобразным функциям. Интуитивная эстетика Бергсона единым взмахом уничтожает все эти конкретнейшие различия. Искусство она сводит к единственному и притом

[1]) А. Бергсон, Восприятие изменчивости, стр. 10.
[2]) Там же, стр. 10.

совершенно отрицательному условию. Чтобы быть художником, не требуется, по Бергсону, никаких конкретных данных, кроме уменья непрактически смотреть на вещи. Искусство сводится у Бергсона к деятельности чистого созерцания.

Нетрудно понять источник всех этих заблуждений. Весь секрет в том, что понятие интуиции у Бергсона совершенно фиктивно. Его назначение в системе—чисто служебное, вспомогательное. Понятие интуиции есть только средство для ниспровержения авторитета интеллекта и интеллектуального знания. Интуиция не интересует Бергсона, как особый род познания. Она имеет для него значение лишь в качестве идеального масштаба, которым можно измерять несовершенство интеллекта и науки. Именно поэтому понятие интуиции оказалось у Бергсона совершенно пустым и состоящим из одних отрицательных определений и признаков. По той же причине оно осталось без всякого применения в системе. «Открыв» интуицию, Бергсон нигде не пускает ее в ход, в работу, нигде не применяет ее в положительных целях познания. В конечном счете бергсоновская интуиция—чистейшая фикция, условное понятие, символ, огромный призрак. Его назначение—отбрасывать тень на науку и интеллектуальное познание. Кто поймет это своеобразное назначение бергсоновской интуиции, тому должно быть ясно, какой смысл имеет в последнем счете бергсоновская критика науки. На поверхностный взгляд критика эта кажется результатом глубокого убеждения в существовании абсолютной истины. Научное познание отвергается, как относительное, во имя познания абсолютного. Абсолютное познание, абсолютная истина, повидимому, есть и первая предпосылка и последняя цель бергсоновской критики. Исходя отсюда, многие даже увидели в философии Бергсона попытку опровергнуть ходячие учения релятивизма и прагматизма. Такое понимание мы находим у Гессена. «Абсолютная истина,—говорит Гессен,—не только существует, она познаваема: чтобы познать ее, нам надо только вернуться к самим себе. Вот основной нерв философии Бергсона, роднящий ее с вековой философской традицией, сообщающий ей ее очарование и значение. «Прагматический» критерий не есть критерий истины, ибо прагматизм не знает истины, он—вне ее. Чтобы познать истину и судить об истине, надо прежде всего и раз навсегда отрешиться от прагматизма. Прагматизм годен лишь для сферы символов, δόξης. Но именно, символы закрывают путь к истине, ἐπιστήμη: философия должна преодолеть прагматизм — вот основное требование Бергсона»[1]). Но трудно придумать что-нибудь более чуждое истинным намерениям Бергсона. Единственным источником критического и полемического вдохновения Бергсона было, есть и остается стремление расшатать, поколебать авторитет интеллекта и научного знания. Если бы сущность философии Бергсона состояла в опровержении прагматизма, то критика была бы для Бергсона только исходной точкой для развития положительного учения об абсолютной истине, ее условиях, крите-

[1]) С. И. Гессен, Вступительная статья к русскому переводу трактата Бергсона «Непосредств. данные сознания» (Время и свобода воли), изд. «Русск. Мысль», М. 1910, стр. 7. Курсив мой.

рии и т. п. В центре философии Бергсона должна была бы стоять именно теория абсолютной истины, а критика была бы только трамплином, подсобным средством. На самом деле справедливо обратное. Понятие абсолютной истины стоит, как мираж, на горизонте бергсоновской системы. Вам дают понять, что до этой истины вы дойдете лишь освободившись от интеллектуальных привычек, лишь преодолев «прагматическую» природу интеллекта. Вы соглашаетесь и начинаете покорно следовать за «учителем». Вскоре поле вашего движения усеивается трупами: восприятие, представление, понятие, интеллектуальные «символы», образы, теории, повергнутые «критикой», усилают ваш путь. С трудом подвигаетесь вы по столь пересеченной местности к вашей цели. Но по мере того, как вы движетесь вперед, ваша цель—учение об абсолютной истине—уходит все дальше и дальше. Она остается, как и раньше, на горизонте системы. В то же время критическое сражение с интеллектом продолжается: в поле действия появляются все новые враги; интеллект, как стоглавая гидра, высылает все новые формы, и борьба ни на мгновение не ослабевает. Все это продолжается до тех пор, пока читатель не поймет, что абсолютная истина, абсолютное познание были только миражем, «регулятивным» принципом в смысле Канта и что реальное содержание системы исчерпывается борьбой с интеллектом и научным знанием.

VI.

Как ни неверно истолкование Гессена, оно все же порождает интересный вопрос. Почему критика науки идет у Бергсона под знаменем борьбы с прагматизмом? Зачем понадобилось Бергсону чрезмерное преувеличение прагматического характера науки и интеллектуального познания. Человек, который поставил целью ниспровержение—во что бы то ни стало—авторитета науки, мог бы избрать много других путей, ведущих к той же цели. С отвлеченной логической точки зрения можно было бы выдвинуть совершенно иные «основания» для критики научного познания.

В этом пункте едва ли не яснее всего выступает историческая и классовая определенность мышления Бергсона. Философия Бергсона принадлежит к идеологии класса, который давно уже противостоит всяким попыткам переделать, практически перестроить социальное бытие современного общества. В глазах идеологов современной буржуазии действие, деятельность, практика всегда подозрительны, ибо действие может оказаться действием революционным, практика—революционной практикой. Отсюда—глубокое недоверие к практике, глубокая подозрительность и вражда. В теории познания это недоверие выражается в том, что за практикой отрицаются всякие права на гносеологическую достоверность. Современная буржуазия менее, чем когда либо, способна понять гносеологический смысл и гносеологическую ценность тезисов Маркса о Фейербаха. Практическому критерию достоверности она противопоставляет идеал чистого созерцания, пассивного умозрения, заимствовав его из арсенала классиков идеализма, но лишив того практического, жизненного, даже революционного смысла, какой понятие созерцания имело у Канта, Шиллера и Фихте. Отсюда понятно, почему критика науки идет у Бергсона по линии борьбы с прагматиз-

мом. Чем теснее связь между формами интеллекта и человеческой практикой, тем хуже для интеллекта, ибо—в глазах Бергсона и его класса—недостоверность знания прямо пропорциональна его близости к практике. Поэтому все усилия Бергсона направлены к доказательству положения, что наука—по природе и во всем своем об'еме, начиная с зачатков в обыденной практике и кончая отвлеченнейшими построениями—сплошь практична, рождается из практики, и к ней в последнем результате сводится. Доказав «прагматичность» науки во всем ее целом, Бергсон тем самым подрывает гносеологическую достоверность научного знания. Дух глубокого отвращения к практике, недоверия к ее познавательной силе, витает над всеми произведениями Бергсона. И эта черта—не индивидуальная в нем, но глубоко типическая, классовая. Как ни корректен стиль Бергсона, как ни заигрывает он с интеллектом, наукой,—по существу нет никакой разницы между отношением к практике у Бергсона и у наиболее ярких представителей современного буржуазного мистицизма, откровенно восстающего против науки и разума [1]. Последней задачей системы Бергсона, средоточием всех ее тенденций и стремлений остается не новая положительная теория знания, а радикальная критика интеллектуализма. Пафос философии Бергсона—пафос интеллектуального нигилизма современной буржуазии. Предельное выражение этого нигилизма—в отрицательной теории интуиции.

В связи с отрицательным характером этой теории стоит и взгляд Бергсона на предмет знания. Как раз в этом пункте Бергсон видит оригинальность своего учения, его глубокое отличие от всех: античных и новых—систем интуитивизма. По Бергсону, интуитивно постигаемая действительность не есть какая-то иная, особая действительность. Это—та же действительность, с какой всегда имеет дело наш интеллект, наши восприятия и понятия. Правда, интуитивное познание открывает нам в ве-

[1]) Любопытно сравнить критику Бергсона с выпадами против практики у известного ренегата марксизма, мистика и идеолога контр-революционной буржуазии С. Булгакова. Комментируя тезисы Маркса о Фейербахе, г. Булгаков об'ясняет их следующим образом: «Для разрешения всех вопросов Маркс рекомендует одно универсальное средство—«практику» жизни; достаточно оглушить себя гамом и шумом улицы, и там в этом гаме, в заботах дня, найдешь исход всем сомнениям. Мне—продолжает г. Булгаков—это приглашение философские и религиозные сомнения лечить «практикой» жизни, в которой бы некогда было дохнуть и подумать, в качестве исхода именно от этих сомнений, кажется чем-то равносильным приглашению напиться до бесчувствия... Приглашение вываляться в «гуще жизни», которое в последнее время стало последним словом уличной философии и рецептом для разрешения всех философских вопросов и сомнений, и у Маркса играет роль ultima ratio философии, хотя и не в такой, конечно, оголенной и вульгарной форме» (проф. С. Н. Булгаков. Карл Маркс как религиозный тип. Из этюдов человекоборства Спб. изд. Д. Жуковского, 1907, стр. 16—17, курсив мой). Совершенно очевидно, что так понять гносеологический смысл тезисов Маркса о Фейербахе мог только человек, смертельно напуганный «практикой жизни», «гамом и шумом улицы»—революционной улицы. Этот испуг (и еще кое-какие деяния, о которых мы здесь не станем вспоминать) далеко завел г. Булгакова в самую «гущу жизни» белой эмиграции. Бергсону еще непришлось итти так далеко. Он мог сосредоточиться на одной «критике». По существу, однако, отношение к практике у Бергсона—то же самое, что и у Булгакова. Это—отношение современного деолога буржуазии. Оно не выбирается, но внушается об'ективной диалектикой бытия класса. По отношению к этому базису существующие варианты—только оттенки.

щах новое, то, чего мы в них обычно не видим. Но открывается это новое в тех же самых вещах. Чтобы увидеть это новое, не надо обращаться ни к каким новым предметам. Надо лишь переменить точку зрения на уже имеющуюся перед нами действительность. Таким образом об'ект интуитивного познания тот же, что и об'ект познания интеллектуального. Реальность одна, смотрим ли мы на нее глазами интеллекта или глазами интуиции. Не существует никакой иной действительности, кроме той, которая открывается нам уже в наших простых восприятиях. Это учение Бергсон считает своим оригинальным достоянием. О созерцании, об отвращении от практики учили многие. Но никто—так думает Бергсон—не знал, что созерцание, что интуиция должны быть направлены на ту же самую действительность. Все, учившие об интуитивном познании, думали, что предметом интуиции должна быть иная действительность, по существу отличная от действительности наших обычных восприятий. «Не один философ говорил,... что философствовать значит отвращаться от практической жизни, и что размышление обратно действию... никто не выразил эту идею с большей силой, чем Плотин. Всякое действие,—говорил он (и он прибавлял даже «всякое производство»),—есть ослабление созерцания». И, верный духу Платона, он думал, что открытие истинного требует обращения (ἐπιστροφή) духа, который должен оторваться от низменных видимостей и привязаться к высшим реальностям. «Бежим к нашей милой отчизне». «Как видите,—замечает по этому поводу Бергсон,—дело идет о том, чтобы «бежать». Для Платона, как и для всех тех, кто одинаково с ним понимали метафизику, оторваться от жизни и повернуть внимание значило перенестись в мир, отличный от того, где мы живем, и прибегнуть к иным способностям помимо наших чувств и сознания. Они не думали, что это воспитание внимания может состоять просто в том, чтобы снять с него наглазники, отучить его от тех ограничений, которые пред'являют ему требования жизни. Они не думали, что внимание должно продолжать направляться на то же, на что оно направлено; нет, им нужно, чтобы внимание обратилось на другое. Вот почему они апеллируют к способностям видения, абсолютно отличным от тех, какими мы пользуемся при познании внешнего мира и нас самих» [1]).

Последние замечания направлены, повидимому, к утверждению реализма и имеют целью демонстрировать единство предмета познания. Не без энергии отрицает Бергсон всякую возможность существования сверхчувственного бытия, сверхчувственной стороны реальности. Сама по себе эта энергия заслуживала бы полного одобрения. Но все дело в том, что отрицание сверхчувственной реальности имеет у Бергсона особый смысл и особое назначение. Именно в силу того, что, по учению Бергсона, предмет интуитивного познания равноценен предмету познания интеллектуального—отчетливее выступают все недостатки интеллекта. Если бы интуиция и интеллект были бы направлены на разные об'екты, то их познавательная сила ускользала бы от сравнительного анализа и оценки. Но так как предмет обоих—единая реальность, то всякое преимущество интуиции превра-

[1]) А. Бергсон, Восприятие изменчивости, стр. 14.

щается тем самым в недостаток интеллекта. В литературе о Бергсоне только Р. Кронер правильно разгадал действительные тенденции бергсоновского «монизма». Если у философии и у науки...—говорит Р. Кронер—предмет познания один и тот же, и только метод иной, то ценность метода науки неизбежно должна понизиться. В таком случае философия почувствует себя судьей в отношении к ценности науки и низко оценит содержащееся в ней истины» (Р. Кронер, «Философия творческой эволюции» (А. Бергсон), Логос, 1913 г., стр. 104).—А так как бергсоновская интуиция характеризуется всеми чертами биологического инстинкта (пусть очищенного, «сделавшегося бескорыстным, сознающим самого себя, способным размышлять о своем предмете»), то вся философия Бергсона приводит, в конце концов, к чистейшему алогизму. «Наша мысль—говорит Бергсон—под формой чисто логической не способна представить себе истинной природы жизни, глубокого значения эволюционного движения» [1]. «Наша логика есть совокупность правил, которым нужно следовать при работе над символами» [2]. Здравый смысл, истинная интуиция реального отнюдь не совпадает с нашей логикой. «Геометрия и логика со всей строгостью приложимы к материи. Они там у себя дома и могут действовать самостоятельно. Но вне этой области чистое суждение нуждается в том, чтобы быть под присмотром здравого смысла, который представляет собой совсем иную вещь» [3]. В свете этого «здравого смысла» одинаково несостоятельными представляются все интеллектуалистические построения: равно ходячий эмпиризм и рационализм. Они одинаково бессильны перед задачей—«встать как можно ближе к самому оригиналу, углубиться в его жизнь и помощью как бы интеллектуальной аускультации почувствовать биение его души» [4]. Заключительный вывод всех анализов Бергсона—полное отрицание познавательной ценности логики, интеллекта и науки. «Если метафизика—говорит Бергсон—имеет притязание составиться из понятий, которыми мы обладали до нее, если она состоит в искусственном размещении предсуществующих идей, которыми мы пользуемся, как пользуются строительными материалами для постройки здания, словом, если она есть что-либо помимо постоянного расширения нашего духа, помимо этого всегда возобновляемого усилия, направляемого к тому, чтобы выйти за пределы наших актуальных идей и, быть может, нашей прозой логики,—то слишком очевидно, что она становится искусственной, как все творения чистого разума. И если наука является вся целиком созданием анализа или абстрактного представления, если опыт должен служить здесь только проверкой «ясных идей», если, вместо того, чтобы исходить из множественности различных интуиций, которые проникают в движение, присущее каждой реальности, но не вкладываются всегда одни в другие, она стремится к тому, чтобы стать необ'ятной математикой, единой системой отношений, захватывающей целокупность реального и расставленную заранее сеть,—то она становится познанием вполне относительным, зависящим от человеческого разума» [5].

[1] А. Бергсон, Творческая эволюция. Введение, стр. IV.
[2] Там же, стр. 144.
[3] Там же, стр. 145.
[4] А. Бергсон, Введение в метафизику, стр. 18, сл. 20.
[5] Там же. стр. 42—43.

Мы проследили основные идеи гносеологии Бергсона. Все ее содержание, все оттенки, все тенденции сливаются в одном стремлении, направленном против интеллектуального познания. Ни интуитивизм, ни реализм не преследуют у Бергсона никакой иной цели. Иллюзия положительной научности, ориентация на биологию, уважение к положительному творчеству, высокая оценка художественной деятельности—все это лишь лицевая, показная сторона системы, которой истинная сущность—в восстании против интеллекта и науки. Разоблаченная в этой своей сущности, философия Бергсона выдает тайну интеллектуального состояния того класса, идеологом которого выступает ее автор. Привлекая взоры блестящей и туманной реторикой, она очень скоро обнаруживает удивительную бедность своих тем и идей.

Идея интуитивизма заключает в себе не больше положительного. Та небольшая польза, которую можно было бы из нее извлечь, целиком поглощается ее дурными намерениями. Бергсону не удалось показать, что интуиция есть особый род познания. Проблема интуиции не есть проблема гносеологическая. Мы можем притти к истине путем «интуиции», т.-е. догадки, внезапного уразумения, «прозрения» и т. п. Также верно и то, что момент зарождения догадки, гипотезы часто ускользает от учета интеллектуального сознания, что открытия, прозрения возникают в неясной сфере «интуитивного». Но каковы бы ни были пути, на которых мы добыли нашу догадку, об'яснение, теорию или гипотезу—само содержание познанного всегда может быть —по крайней мере, в принципе—выражено в формах интеллектуального познания. И только таким образом выраженное, доказанное, обоснованное, словом, приведенное к полной интеллектуальной прозрачности и оформленности, получает интуитивно познанное настоящую гносеологическую ценность. «Интуиция» относится к психологии «познания», но не к его теории и не к методологии. С методологической точки зрения познание может быть формально-логическим и конкретно-диалектическим. Но в обоих случаях оно движется в пределах интеллекта. «Текучие», «гибкие» понятия диалектики суть такие же интеллектуальные продукты, как и «застывшие», «неподвижные» понятия рассудка и формальной логики. Сверх того, между ними нет никакого противоречия. Тщетно стали бы мы искать в реальных фактах познания опоры для того обостренного дуализма, в котором развертывает Бергсон свое учение об интеллекте и интуиции. Не менее ошибочным, голословным следует признать и релятивизм Бергсона. Из незавершенности научного знания, на которой так упорно настаивает Бергсон, нельзя заключить о его несостоятельности. «Человеческое познание—говорит Энгельс—развивается по очень запутанной кривой, и теории вытесняют друг друга также в исторических науках, включая философию,—на основании чего, однако, никто не станет заключать, что, например, формальная логика, это—чепуха» [1].

Но что казалось невозможным великому мыслителю пролетариата, то осуществилось в философии современного буржуазного идеолога. Философия Бергсона расчистила идеологический

[1] Ф. Энгельс, Диалектика природы (Архив К. Маркса и Ф. Энгельса под ред. Д. Рязанова, кн. II, Гиз, 1925), стр. 11.

путь к алогизму. Подрывая авторитет науки, она создала благоприятные условия для возвышения авторитета веры и религии. И здесь не имеет никакого значения то случайное обстоятельство, что сам Бергсон не дошел до этих выводов. Достаточно было, что он их внушал—всем содержанием, всеми уклонами своего учения. То, чего не сделал сам автор, сделали за него другие. Философия Бергсона стала активным ферментом подымающегося фидеизма. Ее об'ективное влияние переросло намерения ее автора. И первым плодом ее влияния оказались работы Джемса по теории знания и по психологии религии. Впрочем, анализ и критика этих работ составляют предмет особого очерка.

Спиноза и материализм.

И. Вайнштейн.

Плеханов, как известно, всегда выдвигал и подчеркивал материалистический характер философии Спинозы, разоблачал всякого рода идеалистические ее толкования со стороны буржуазных философов. Спиноза являлся для них предметом затейливых толкований, «волшебных слов», посредством которых они навязывали ему свои собственные измышления. Плеханов жестоко высмеивал такого рода «волшебные слова», направленные к коренному извращению смысла его философской системы. Петцольд, вопреки всякой очевидности, превращал Спинозу в параллелиста. Физические и психические процессы согласно его толкованию протекают в системе Спинозы совершенно независимо друг от друга. Если же мозговые и психические процессы протекают в известном соответствии, то причиной этого является, по Петцольду, «та предустановленная гармония, то математическое волшебное слово, которое в надлежащий момент замещает собою недостающее понятие и делает из столь различных по смыслу предпосылок вещей, как душа и тело, лишь стороны одной и той же вещи». Конечно, не математическое волшебное слово делает из столь различных по смыслу вещей формы одной и той же вещи, а материальная субстанция, природа, об'единяющая обе эти стороны. Но если такого рода волшебные слова естественны в устах эмпириокритика, то они совершенно непонятны и странны в устах материалиста, которому более подобает, как это и делал Плеханов, вскрывать их пустоту и бессодержательность. Поэтому мы были очень удивлены, когда, ссылаясь именно на Плеханова, Л. И. Аксельрод, так много и столь успешно посвящавшая свое внимание критике идеализма, в последних своих статьях также идет по линии подчеркивания у Спинозы идеалистических моментов, что столь же мало имеет основания в системе Спинозы, как и в ссылках на Плеханова.

Тов. Аксельрод [1]) говорит о «материалистических мотивах» философии Спинозы. Последнее, собственно, означает, что в системе Спинозы имеются т о л ь к о материалистические мотивы, что только этим исчерпывается ее материалистическая сущность. Однако это находится в полном противоречии со взглядами на этот вопрос представителей ортодоксального марксизма, Энгельса и Плеханова. Возьмем, например, Р. Авенариуса, основателя эмпириокритицизма, эклектической системы идеализма. Есть в его системе материалистические мотивы? Имеются, конечно. Взгляд Авенариуса, что психическая жизнь находится

[1]) См. «Красную Новь», сентябрь 1925 г.

в зависимости от «определенных изменений в системе С.», т.-е. от происходящих в мозгу процессов, материалистичен. Мы в данном случае имеем бесспорно материалистический мотив. Есть ли, например, материалистические мотивы, скажем, в системе Фехнера? Есть. Учение об измерении интенсивности ощущений доступною физической мере силою раздражительности есть материалистический мотив. Однако такой мотив не мешает ему считать мир—телом бога, который (бог) в свою очередь является душою этого мира, наделен сознанием и самосознанием. Материалистические мотивы, как видно, благополучно уживаются с самым закоренелым идеализмом и мистицизмом. Можно ли в таком случае признать равноценными эти системы с системой Спинозы, которой также приписываются только материалистические мотивы. Думается, что нет, ибо Спиноза материалист. Предоставим, однако, слово о философии Спинозы Плеханову, на котором в своем понимании Спинозы ссылается Л. И. Аксельрод. «При нынешнем повсеместном господстве идеализма весьма естественно, что история философии излагается теперь с идеалистической точки зрения. Вследствие этого Спинозу давно уже причислили к идеалистам. Поэтому иной читатель, вероятно, очень удивится, что я понимаю спинонизм в материалистическом смысле. Но это единственно правильное его понимание» (Плеханов, «Предисловие к книге Деборина»). Если бы материализм философии Спинозы заключался только в некоторых существенных материалистических мотивах, то он был бы лишь «эклектической нищенской похлебкой». Но что такое эклектическое мышление? Это мышление людей, неспособных к последовательному мышлению, «останавливающихся на полдороге, довольствующихся помесью идеализма с материализмом». Но останавливался ли Спиноза на полдороге или был материалистом, последовательным мыслителем? Последовательной является такая материалистическая система, которая берет за точку отправления об'ективную природу, независящую от человеческого сознания. Есть у Спинозы отступления от этого основного материалистического исходного положения? Таких отступлений у Спинозы нет. Фридрих Энгельс, говоря об ограниченности естествознания в первой половине XVIII века, «когда высшей всеобщей идеей естествознания была мысль о целесообразности естественных процессов, плоская Вольфовская теология, согласно которой кошки были созданы, чтобы пожирать мышей, мыши, чтобы быть пожираемыми кошками, а вся природа, чтобы доказать мудрость творца», указывает на огромное превосходство тогдашней материалистической философии, которая не поддалась этой ограниченности. «Нужно, — говорит Энгельс,—считать огромным достоинством и честью тогдашней философии, что она не поддавалась влиянию ограниченной точки зрения тогдашнего естествознания, что она, начиная от Спинозы и кончая великими французскими материалистами,—настойчиво пыталась об'яснить мир из него самого, предоставляя детальное оправдание этого естествознанию будущего» (Энгельс, «Архив», кн. 2, стр. 161). Об'яснение мира из его собственной субстанциальной сущности есть материализм. Может быть, однако, субстанция Спинозы, которая является отправной точкой его системы, лишена такого признака самодовления и нуждается

в какой-либо высшей причине? Но под субстанцией Спиноза разумеет то, что «существует в себе и представляется само по себе, т.-е. то, представление чего не нуждается в представлении другой вещи, из которого оно должно было бы образоваться» («Этика», ч. I, стр. 1).

Не безынтересно отметить поэтому, что не кто иной, как епископ Берклей, последовательный идеалист, почуял в системе Спинозы своего последовательного врага. Берклей говорил, что признание независимого от сознания существования материи неизбежно ведет к признанию протяженности бога, а в этом признании и заключается, по его мнению, сущность материализма. Слово «бог» в системе Спинозы не скрыло от епископа Берклея проникающего ее материалистического содержания. Сущность материализма, а не материалистические мотивы! Протяженность бога (природы) есть сущность материализма, если за словом «бог» видеть не его традиционный смысл, а действительно присущее ему материалистическое содержание. Усмотрение этого содержания неизбежно ведет к признанию слова «бог» только теологическим привеском, неспособным ни в какой степени внести какой-либо диссонанс в строго-монистическую материалистическую систему. Когда же в интерпретации тов. Аксельрод мертвая традиция одерживает верх над живым содержанием, последнее неизбежно извращается и стираются действительно присущие ему черты. Действительно! Заключает ли содержание субстанции Спинозы нечто теологическое? Субстанция есть самопричина, не произведена чем-нибудь другим, имеет одним из своих бесконечных атрибутов протяжение, необходимо заключает в себе существование, которое не определяется никакой другой вещью, но предшествует своим модусам, а также и человеку, который есть лишь ее переходящий модус. Положение Спинозы, гласящее, «что действующий разум, будет ли он конечный или бесконечный, так же, как и воля, пожелание, любовь, относится к созданной природе, а не к созидающей», исключает всякую персонификацию и антропоморфизацию природы или бога, делает бога Спинозы бесконечным и универсальным материальным об'ектом, единой материальной природой, единством мышления и протяжения. Спиноза жестоко смеется над теми, кто воображает бога, наподобие человека, состоящим из тела и души и подверженным страстям, так же как и над теми, кто говорит о бестелесности бога и мотивирует это конечностью всякого тела, «величина которого имеет длину, ширину, глубину и определена известной фигурой». Основания, которые приводятся для подобных утверждений, показывают, что таким образом «совершенно устраняют из божественной природы телесную или протяженную субстанцию и утверждают, что она создана богом. Но из какой божественной потенции она могла быть создана,—говорит Спиноза,—они совершенно не знают, а это ясно показывает, что они не понимают того, что сами говорят. Бог или природа есть вещь протяженная, которая ни в какой степени не оскорбляет божественной природы, «хотя бы она предполагалась делимою, только бы при этом допускалось, что она вечна и бесконечна», ибо вне бога, идентичного с природой, «не может быть другой субстанции, действие которой она могла бы испы-

тывать» («Этика», часть 1, стр. 21). Борьба Спинозы за материальную субстанцию, существующую независимо от какой-либо другой причины, вполне оправдывает его систему, как материалистическую. Не менее резко и рельефно высказывается по поводу философии Спинозы Артур Шопенгауер. «На самом деле,—говорит Шопенгауер,—все, чего Спиноза требует для своей субстанции, приложимо к материи и только к ней: она безначальна, т.-е. не имеет причины, вечна, единственна и всеедина, ее модификации, это—протяжение и познание—последнее, как исключительное свойство мозга, который материален. Таким образом, Спиноза—бессознательный материалист; однако материя, которая при ближайшем анализе реализует его понятие (субстанции. *И. В.*) и дает ему эмпирическую оболочку, есть не так ложно понимаемая и атомистическая материя Демокрита и позднейших французских материалистов, которая обладает механическими свойствами: нет, это—материя, правильно понимаемая, снабженная всеми своими необ'яснимыми качествами» («Фрагменты для истории и философии», стр. 67). Шопенгауер, конечно, неправ, когда говорит, что Спиноза бессознательный материалист. Такая бессознательность совершенно не характерна для Спинозы, который, как известно, выставил основное положение о руководящем значении понимания для познания, в сравнении с аффектами, и строго соблюдал это положение. Но Шопенгауер бесспорно прав, когда говорит, что материя, снабженная всеми необ'яснимыми качествами (такой агностицизм, конечно, также чужд Спинозе), реализует его понятие субстанции, т.-е. есть эта же субстанция. Последовательность Спинозы в данном случае выступает, как полная противоположность эклектизму Канта, который, допустив вначале материальную вещь в себе, как источник человеческих ощущений, признал ее абсолютно непознаваемой и этим ее аннулировал. Спиноза берет отправной точкой познаваемую субстанцию—самопричину, т.-е. нечто, существующее в себе, независимо от его способности быть об'ектом представления,—словом, вещь в себе. Верно ли в таком случае заявление Л. Аксельрод, что «с точки зрения Плеханова все мировоззрение Спинозы, во всем его целом, нельзя считать последовательно выдержанным, т.-е. свободным от противоречий, материализмом» («Красная Новь», кн. VII, стр. 144). Неужели Плеханов более идеализировал Спинозу, нежели Шопенгауер? Неужели Плеханов был такого мнения о Спинозе, что бог остается у Спинозы «каким-то отдельным от природы существом, лежащим в ее основе» (Л. Аксельрод).

Людвиг Фейербах, который говорил, что тайна философии Спинозы есть природа, упрекал этого философа в обожествлении природы, ибо при таком обожествлении, согласно Фейербаху, нет ни бога, ни природы, а есть лишь мистический земноводный гермафродит. Можно ли однако думать, что Плеханов согласился с подобной оценкой Спинозы? Думается, что Плеханов был далек от подобной оценки, ибо философию Спинозы он проводил всегда как образец материалистической точки зрения. «Между тем,—говорит Плеханов,—как Бернштейн до известной степени возвращается назад к Канту, Штерн говорит нам о старом Спинозе и предлагает нам вернуться к философии этого

благородного и гениального еврейского мыслителя. Это не что иное и гораздо более разумное, чем призыв Бернштейна» (Плеханов, «Бернштейн и материализм»). Плеханов, который философию Фейербаха также считал родом спинозизма, вряд ли считал бы разумным призыв вернуться к философии Спинозы, если бы находил, что центральная предпосылка этой системы, субстанция, потусторонняя природе и составляет отдельное от нее существо, если бы считал эту систему дуалистической.

Но что Плеханов считал философию Спинозы материалистичной, непоколебимо убеждают следующие его слова: «А пока что, я с полнейшим убеждением утверждаю, что Маркс и Энгельс в материалистический период своего развития никогда не покидали точки зрения Спинозы, и это мое убеждение основывается на личном свидетельстве Энгельса» (Плеханов). Такое полнейшее убеждение Плеханова, что Маркс и Энгельс в материалистический период своего развития стояли на точке зрения Спинозы, совершенно не вяжется с приписываемым Плеханову тов. Аксельрод противоположным убеждением в дуалистической сущности мировоззрения Спинозы, ибо мировоззрение Спинозы дуалистично, если в нем бог остается «каким-то отдельным от природы существом, лежащим в ее основе».

Согласно Гегелю, отсутствие принципа личности составляет недостаток субстанции Спинозы. Гегель, который делает ряд блестящих замечаний о философии Спинозы, упрекает в данном случае материализм Спинозы. «Правда,—говорит Гегель,—субстанция есть абсолютное единство мышления и бытия или протяжения; таким образом в ней содержится само мышление, но лишь в его единстве с протяжением, т.-е. не как отделяющее от протяжения, тем самым вообще не как определение и формирование, равно не как возвращающееся в себя и начинающееся из себя самодвижение» («Наука логики», ч. 1, кн. II, стр. 122). Когда мышление не отделяет себя от протяжения, т.-е. материи, то это и есть материализм, встречающий упрек со стороны Гегеля. По поводу такого упрека Плеханов замечает, что «субстанция Спинозы, имевшая два атрибута—мышление и протяжение—имела то преимущество, что в самом деле была суб'ект—об'ектом, единством мышления и бытия. Возвыситься от нее до самосознания, т.-е. представить ее себе, согласно требованию Шеллинга и Гегеля, как абсолютное я, как дух, значило свести ее к одному из атрибутов, именно к мышлению» (Плеханов, т. XVIII, стр. 165). Плеханов в данном ответе опять-таки отстаивает материализм Спинозы. Не подлежит никакому сомнению, что Энгельс также понимал субстанцию Спинозы материалистически. Считая взаимодействие первым, что мы наблюдаем, когда начинаем рассматривать движущуюся материю в целом с точки зрения современного естествознания, Энгельс замечает: «Спинозовское: субстанция есть causa sui выражает прекрасно взаимодействие», т.-е. движущуюся материю в целом («Архив», кн. 2, стр. 27).

Каково же, однако, содержание слова «бог» у Спинозы, которое, согласно т. Аксельрод, «не просто заимствованное из теологии слово, но термин, имеющий свое определенное содержание». Оказывается, что генезис этого содержания, согласно т. Аксельрод, коренится не в общественных условиях тогдашней

эпохи, а в религиозной идеологии еврейства, которая «прочно овладела трогательно-поэтической душой великого философа». «Центральная мысль иудаизма, что цель жизни и высшее верховное благо есть служение и любовь к богу, не оставила мыслителя атеиста. Она, эта же мысль в другой форме и по существу с другим содержанием, стала завершающим аккордом в его рационалистической системе, принявшей вид «amor Dei intellectualis» («Красная Новь», стр. 148).

Религиозная идеология еврейства, прочно засевшая в душе Спинозы, оказалась определяющей для центральной мысли его системы.

С точки зрения т. Аксельрод теоретическая мысль Спинозы, сокрушившая все следы трансцендентной телеологии и всякого рода моральных и эстетических фетишей, привела его к идее универсального мирового детерминизма. «Очевидно, таким образом,—комментирует Спинозу Л. И. Аксельрод,—что закон абсолютной необходимости, т.-е. строжайшая закономерность, проникающая собою все явления, есть в системе Спинозы высший верховный закон, управляющий всей вселенной. Вот этот абсолютный верховный закон и есть субстанция или, что одно и то же, бог Спинозы» (Курсив Аксельрод). Отрицая распространенное убеждение, что система Спинозы и ее исходный пункт — учение о субстанции — явились критическим продолжением философии Декарта, т. Аксельрод и в этом вопросе становится на точку зрения Геффдинга, который отрицает генетическую связь Спинозы с философией Декарта, разделяя попутно также и его взгляд на субстанцию Спинозы, как «начало закономерности всего сущего». Следование Геффдингу вряд ли, однако, способно дать плодотворные результаты. Конечно, Спиноза не был картезианцем, г. к. его философия выступила как отрицание этой философии и ее противоречивого дуализма. Философия Декарта явилась отрицательной основой, исходя из которой и основал свою положительную систему Спиноза. «Великий гений,—говорит Гейне о Спинозе,—образуется при пособии другого великого гения не столько посредством ассимиляции, сколько посредством трения. Алмаз полирует алмаз. Так философия Декарта отнюдь не произвела философии Спинозы, но только содействовала ее происхождению». Отрицать теснейшую идеологическую связь системы Декарта с системой Спинозы и усматривать родословную философии Спинозы в религиозной идеологии еврейства исторически неверно и совершенно незаслуженно умаляет и принижает эту систему.

Гегель также указывает, что всеединая субстанция Спинозы есть вывод из учения Декарта, противоречия которого нашли свое разрешение в монизме спинозовской субстанции. Существует одна субстанция—гласит основное положение философии Спинозы,—разрушая дуализм непримиримо противоположных субстанций Декарта. «Система Спинозы,—говорил Гегель,—есть об'ективация картезианской системы в форме абсолютной истины. Простая идея спинозистского идеализма заключается в следующем: все, что есть истина, есть исключительно лишь единая субстанция, которой атрибуты суть мышление и протяжение или природа; только это абсолютное единство есть действительность, только оно есть бог» (Гегель). Гейне и Гегель, указывающие на теснейшую идеологическую связь между системами Декарта и Спинозы, заслуживают полного доверия и гораздо более серьезны в своих суждениях о Спинозе, нежели бессодержательное и ничего не говорящее утверждение Геффдинга, что Спиноза никогда не был картезианцем. Если бы, например, на том основании, что Маркс не был гегельянцем, стали утверждать, что философия Маркса не имеет в качестве одного из своих источников философию Гегеля, то это было бы совершенно аналогично утверждению т. Аксельрод в указанном случае.

Ленин, который, подобно Гегелю, рассматривает познание в виде ряда кругов, рассматривает познавательную эволюцию от Декарта до Спинозы, как такой познавательный круг, который свое относительное завершение находит в системе Спинозы. Отрицать генетическую связь между философией Спинозы и Декарта, подражая Геффдингу, совершенно неосновательно. Не менее шатким и сомнительным, противоречащим взглядам Энгельса и Плеханова, является позаимствованное также у Геффдинга толкование понятия субстанции или бога в системе Спинозы, как начала закономерности.

Тов. Аксельрод видит подтверждение такого толкования в том обстоятельстве, «что два известных, взятых Спинозой из эмпирической действительности, атрибута—протяжение и мышление—так же как и предполагаемые неизвестные атрибуты, выражают собой одну и ту же связь, один и тот же порядок. Общим же началом, как для известных, так и для неизвестных, является закономерность». Благодаря такому характеру бога в системе Спинозы, как верховного закона, на который Спиноза перенес свое религиозное чувство преклонения, и «явилась изоляция и отрыв мирового порядка, т.-е. закономерности вселенной от самой вселенной» (Курсив Аксельрод). Бог Спинозы, как верховный закон, оказывается продуктом религиозного чувства, которое «гипостазировало в самостоятельную сущность закономерность, которая по существу не может быть оторвана от вселенной». Религиозное чувство Спинозы обусловливает таким образом самый жестокий дуализм его концепции, т. к. в образе бога или субстанции оно «разлучило материю и мышление, превратив их в самостоятельные и обособленные атрибуты и лишив их таким образом внутренней причинной живой связи» (курсив Л. Аксельрод). Понимание субстанции, как верховного закона, является вопиющим извращением философии Спинозы. Бог Спинозы действует только по законам своей природы и не принуждаемый никем. Так гласит одно из положений его этики. Если принять толкование т. Аксельрод и Геффдинга, то это должно было бы означать, что верховный закон действует только по законам своей природы. Получается нелепость. Дуализм же, приписываемый Спинозе, решительно отвергается положением, согласно которому бог или субстанция есть «имманентная причина всех вещей». Такое положение совершенно не вяжется с каким-либо дуализмом между закономерностью вселенной и самой вселенной, а, напротив, говорит о единстве природы, не нарушаемом никакой трансцендентной причиной, никаким потусторонним природе вмешательством. Совершенно верно, что субстанцию проникает закономерность. Но то, что ей

присуще в качестве закономерности, выражает ее природу, в то время, когда природа есть самопричина, имеет независимое самостоятельное бытие, являясь имманентной причиной бесконечного количества вещей, которые из нее вытекают бесконечными способами. Субстанция у Спинозы есть самопричина, т.-е. то, «сущность чего включает в себе осуществление» и не нуждается в чем-либо другом, из которого оно должно было быть образовано. Закономерность есть именно закономерность субстанции и ее сущность, выражаясь языком Спинозы, еще не включает осуществления, т.-е. нуждается в другом, а именно в субстанции для своего проявления.

Рассматривая взаимоотношение между явлением и законом, Гегель замечает: «Явление есть относительно закона полнота, ибо оно содержит в себе закон и еще более—именно момент самодвижущейся формы». Не вдаваясь в интерпретацию этих слов Гегеля, я однако думаю, что они в данном случае применимы для характеристики взаимоотношения субстанции и закономерности у Спинозы. Субстанция Спинозы по отношению к закономерности, присущей субстанции, есть именно полнота, так как она включает эту закономерность и ту реальную материю, которую эта закономерность выражает, как существенное отношение, но не составляет и не образует. Приписывать Спинозе взгляд на субстанцию, как на «начало закономерности всего сущего», который устраняет субстанцию как «единство всех вещей» и превращает ее в бесплотную закономерность, лишенную всякой опоры в мире телесности, совершенно произвольно с точки зрения принципов его философии.

Субстанция,—утверждает Аксельрод,—есть верховный закон, который, таким образом, должен с точки зрения Спинозы «существовать в себе и представляться сам по себе». Однако такое определение субстанции Спинозы лишает ее всякой вещественности, т.-е. совершенно упраздняет ее. Послушаем, однако, Спинозу. «В природе,—говорит Спиноза,—нет ничего, что можно было бы приписать ее несовершенству; ибо она всегда и везде одна и та же и ее силы и способность действия всегда одинаковы, т.-е. законы и правила природы, по которым она изменяется из одних форм в другие, всегда и везде одни и те же, поэтому существует только один способ понять природу всяких вещей, именно посредством общих законов и правил природы» («Этика». Предисловие к 3 части). Не значит ли это, что закономерность, проникающая всю природу, является для Спинозы скорее надежнейшим средством постигать ее истинное существо, которое в свою очередь заключается в ее материальности; не означает ли превращение субстанции Спинозы в верховный закон—извращение Спинозы в угоду Гефдингу, инициатору такого толкования?

Критерием познания Спиноза берет «природу вещей», реально существующих. Отправляясь от этого материалистического критерия, Спиноза подвергает жестокой критике человеческие представления, которые вместо адэкватного понимания вещей, соответствующего их действительной природе, скорее означают оценку их с точки зрения их целесообразности для человека.

Спиноза категорически порицает смешение подлинной природы вещей с образами воображения, которые несведущими людьми, побуждаемыми телеологическими навыками, принимаются за главные атрибуты вещей. Примером имагинативного понимания и противоположного ему адэкватного Спиноза берет величину, которая является «конечною, делимою и состоящею из частей», если ее рассматривать под углом зрения воображения и, с другой стороны, «бесконечною, единственною и неделимою», если ее рассматривать под углом зрения разума, исследующего собственную природу вещей в их об'ективной и независимой сущности. «Это,—говорит Спиноза,—будет достаточно ясно для всех, кто умеет отличать воображение от разума, особенно если иметь в виду, что материя везде одна и та же, и что части в ней различаются только тогда, когда мы представляем ее подверженной различным состояниям, почему части ее различаются только модально (по способу существования), а не реально» («Этика», ч. 1, стр. 20. Курсив Спинозы). Спиноза в приведенных словах говорит четко и ясно о реально существующей материи, которая, конечно, является ареной господствующей причинности, но не отождествляется с последней, ибо закономерные связи нуждаются еще в материальном носителе, которым и является вечная и бесконечная материальная субстанция—самопричина.

«Идея возникает из об'екта, который реально существует в природе». Куно Фишер по поводу этих слов Спинозы замечает, что если Спиноза в данном случае говорит о «происхождении души из тела», то это отнюдь нельзя материалистически толковать в том смысле, будто тело из себя создает душу (К. Фишер, «Спиноза», стр. 253). Предупреждение Куно Фишера совершенно понятно и естественно. Если идея возникает из об'екта, то душа, как идея тела, является производной функцией последнего, что и есть материализм. Но буржуазный историк философии боится материализма и старается всячески его затушевать. Но такая боязнь со стороны материалиста, каким является тов. Аксельрод, по меньшей мере странна и ничем не оправдывается.

Возникает, таким образом, следующая проблема. Какова действительная роль «бога», этого телеологического привеска в системе Спинозы, прицепленного к несомненно материалистическому содержанию последней? Бог есть природа, это не подлежит никакому сомнению, т. к. сам Спиноза говорит об этом убедительно и ясно. Зачем же ему тогда понадобился этот термин, позаимствованный из теологии, но совершенно не нужный и излишний в его материалистической системе. Причину этого следует искать не в религиозном чувстве Спинозы, которое вообще ничего не способно об'яснить, также не в господствовавшей тогда нетерпимости, которая, по мнению Иберверга Гейнце, об'ясняет и извиняет этот религиозный термин, совершенно чуждый системе Спинозы, а в условиях тогдашней эпохи. Эпоха Спинозы являлась эпохой борьбы с теологией и решительной реабилитации материи. Слово «бог», которое являлось в предыдущую эпоху синонимом всякого совершенства и могущества, переносится Спинозою на природу, которая не есть уже источник всякого зла и греховности, но вся проникнута

высшим совершенством и могуществом, т.-е. божественностью. «Материя,—комментирует философию Спинозы Генрих Гейне, великолепно понявший дух этой системы,—только тогда становится злою, когда она должна составлять тайный заговор против узурпаций духа, когда дух заклеймил ее позором и она проституирует себя из презрения к самой себе, или же когда она мстит за себя в порыве ненависти и отчаяния; и, таким образом, зло есть результат крайних увлечений спиритуалистического мироустройства». Материалистическая тенденция в мироустройстве, которую разделяла выступившая на историческую арену буржуазия, перенесла, напротив, божественность с небесных высот на земную материю и в результате этого «протяженная вещь» стала богом.

Любопытно отметить, что русский философ А. Введенский, смертельный враг материализма, усиленно убеждает заблуждающихся, сбитых с толку «богом» Спинозы, что это не бог, что это только пустое слово. Указав на характеристику бога Спинозою, согласно которой он есть «существо абсолютно бесконечное, т.-е. субстанция, состоящая из бесконечного количества атрибутов, каждый из которых выражает собою вечную и бесконечную сущность», Введенский говорит следующее: «Таково устанавливаемое Спинозою понятие бога. А к этому определению прибавляется еще ряд других признаков, выводимых в первой части «Этики». Из них остановимся только на двух следующих: 1) Спиноза отрицает у бога деятельность по целям, 2) а в связи с этим и волю. Но если у той сущности, которую Спиноза называет богом, нет ни воли, ни деятельности по целям, то что же это за бог? Не значит ли это, что понятие бога у него исчезло, а сохранилось только слово или название или термин бог?—слово, которое действительно фигурирует у него чуть не на каждой странице» («Об атеизме в философии Спинозы». «Вопросы философии и психологии», кн. 2-я, 1897 г.). Спиноза, согласно Введенскому, переступает всякий предел традиционного понимания бога, что лишает его всякого права «называть своего бога—богом, не впадая в игру слов». На основании такого понимания бога, при котором он является лишь пустым словом, Введенский возражает против определения философии Спинозы, как пантеизма, т. к. если рассматривать не слова, которые употребляет Спиноза при ее (своей философии) изложении, а понятия, над которыми он оперирует, то совсем нет учения о боге. Взамен того его философию следует охарактеризовать как атеистический монизм субстанции, т.-е. как такое учение о единстве субстанции, в котором последняя описывается как не подходящая под понятие бога, хотя, правда, она беспрерывно называется в то же время и богом. Но ведь это делается совершенно напрасно, логически непозволительным образом, ибо она не получает через это название ни одного нового предиката, так что и само-то это название остается пустым словом. Другими словами: при развитии философии Спинозы совсем не появляется понятие бога, а фигурирует только его название, которое употребляется Спинозою на-ряду с термином «субстанции» для обозначения субстанции, но без которого он смог бы смело обойтись» («Вопросы философии и психологии», 1897 г., кн. 2-я).

Враг материализма А. Введенский, подобно епископу Беркли, предостерегает против увлечения видимостью бога в системе Спинозы, указывая, что защита Спинозы против атеизма равносильна защите материализма Бюхнера против обвинения в атеизме, «опираясь на то, что Бюхнер, посмеиваясь над верою в бога, рекомендовал словом бог называть материю, т. к. она вечна, как бог, и обусловливает собою всю совокупность вещей, как это делает бог». Классовый интерес диктовал Введенскому верную оценку бога Спинозы, как пустого слова, лишенного всякого содержания, которое напротив целиком сосредоточено в понятии субстанции или природы, свободном от всяких теологических примесей.

Теперь несколько слов относительно «непреодолимой обособленности атрибутов», которая приводит тов. Аксельрод к заключению, что «в гносеологическом смысле учение Спинозы в основных предпосылках являет собою неподвижный и безысходный параллелизм». Ответом на этот упрек послужит следующее блестящее возражение, сделанное Плехановым эмпириокритику Петцольду. «Странно упрекать Спинозу в том, что он не об'ясняет, каким образом материальные и мозговые процессы вызывают нематериальные душевные: ведь автор «Этики» именно утверждал, что процессы этого второго рода не вызываются процессами первого рода, а только сопровождают их. «Душа и тело,—говорит Спиноза,—одна и та же вещь, которая рассматривается то под атрибутом мышления, то под атрибутом протяжения». Заметьте эти слова Спинозы, и посмотрите—останется ли хоть небольшой смысл в вопросе, каким образом душевные движения вызываются телесными. Вы видите, что в нем не остается ровно никакого смысла. Атрибут мышления не вызывается атрибутом протяженности, а представляет собою лишь обратную сторону «одной и той же вещи», одного и того же процесса» (Плеханов, «От обороны к нападению»). Возражение Плеханова достаточно ярко и внушительно показывает всю несостоятельность толкования «гносеологического смысла» учения Спинозы, как неподвижного безысходного параллелизма. Механизм восприятий в системе Спинозы понимается в духе подлинного материалистического монизма (т. к. человеческая душа не воспринимает никакого внешнего тела, как действительно существующего, «иначе как только посредством идей, испытанных от него его телом» («Этика», ч. II, стр. 86).Психическая деятельность сопровождает материальные процессы, совершающиеся в теле, которое является субстратом этой психической деятельности.

Положение, что душа и тело есть одна и та же вещь, представляемая с двух различных сторон, кажется Ибервегу окутанным туманностью, так как «остается неопределенным, как из единства субстанции следует соответствие в двойственности». «Или модусы мышления реально отличны от модусов протяжения,—тогда их соответствие необ'яснимо простым пребыванием в одной и той же субстанции. Или же они только различные способы понимания одного и того же реального модуса, который сам по себе один и нам представляется двояко. Тогда именно этот двоякий способ понимания остался бы непонятным. Ибо рядом с единой все в себе обнимающей субстанцией нет другого

постигающего, но в этой субстанции должна бы иметь основание двойственность понимания». Тупик, который встает перед Ибервегом, однако чисто метафизического характера, который имеет свое классическое выражение в альтернативе: или-или.

Диалектическое единство в различии совершенно непостижимо для формально логического мышления Ибервега, которому совершенно непонятно, «как из единства субстанции следует соответствие в двойственности» («История новой философии», том I, стр. 117). Но субстанция Спинозы представляет именно такое единство в различии, ибо состоит из различных атрибутов, каждый из которых выражает сущность субстанции. Человеческому разуму единая и бесконечная материальная субстанция представляется в атрибутах протяжения и мышления, т.-е. единством в двойственности. Но раздвоение единого, которое, как говорит Ленин, является основной особенностью диалектики, оставалось для Ибервега книгой за семью печатями. Что такая двойственность присуща р е а л ь н о субстанции Спинозы, несомненно и для самого Ибервега, который решительно восстает против попыток сгладить различия философии Спинозы от философии Канта. «Пытались,—говорит Ибервег,—понять определение атрибута таким способом, который сгладил бы различие спинозизма от кантианства, именно так, что только наш рассудок полагает различие атрибутов и вносит его в субстанцию, подобно тому, как нашему глазу сама по себе плоскость является голубой или зеленой, смотря по тому, как мы на нее смотрим—через голубое или зеленое стекло. Но это (суб'ективистское) понимание не сходится с (об'ективистским) общим характером учения Спинозы, а также с его нарочитым выражением, что субстанция состоит из атрибутов. Атрибуты, как мы должны допустить, хотя реально и не отделимы один от другого в субстанции, однако различны, и наш рассудок признает только существующее само по себе различие... Что может дать почву к суб'ективистскому пониманию атрибутов, то в смысле Спинозы надо относить к различным совместным моментам в самом об'екте, и с этим только и связано соответственное различие в нашем суб'ективном понимании» («История новой философии», т. I, стр. 109).

Верная оценка основных идей философии Спинозы, подчеркивание об'ективного, материалистического характера его системы, уживается у Ибервега с неясностями и колебаниями, коренящимися в конечном счете в его метафизическом способе мышления. Ибервегу это, конечно, простительно, т. к. в рамках своего метафизического способа мышления он все же обнаружил способность к верной оценке философии Спинозы, способность понять огромную дистанцию между Спинозой и Кантом. Но кажется совершенно непростительным, когда не понимает материализма Спинозы тов. Аксельрод, характеризуя учение Спинозы об атрибутах, как «безвыходный и неподвижный параллелизм».

Спиноза, напротив, категорически отрицал, чтобы два атрибута составляли «два существа или две различных субстанции» («Этика», ч. I, стр. 10). Факт реального различия атрибутов ни в коем случае еще не свидетельствует об их абсолютной разнородности. Констатирование реального различия атрибутов физического и психического, которые выражают реальность или бытие субстанции, не дает еще никакого права причислять Спинозу к параллелистам. «Мы,—говорит, например, Энгельс,—несомненно «сведем» когда-нибудь экспериментальным образом мышление к молекулярным и химическим движениям в мозгу, но исчерпывается ли этим сущность мышления?» (Энгельс, «Диалектика природы»).

Энгельс в приведенных словах бесспорно выступает единомышленником Спинозы, что однако не может дать повода причислить его к параллелистам.

Нужно ли еще указывать, что материалист Спиноза был также философом-революционером, который с невиданной теоретической решимостью сокрушал старые скрижали, производил потрясающую для своего времени переоценку ценностей в духе революционного материализма. Почему, например, некоторые элементы общества препятствуют адэкватному постижению истины и готовы распинать всякого, дерзающего на такое познание. Ибо они знают, что по устранении невежества уничтожится и тупое изумление, т.-е. единственное, каким они обладают, средство, для их аргументации и для поддержания их авторитета» («Этика», ч. I, стр. 48).

Спиноза в приведенных словах явственно квалифицирует реакционную идеологию, как орудие эксплоатации, выгодное для поддержания авторитета реакционеров. Дуализм в корне чужд и враждебен системе Спинозы, как реакционная идеология, стремящаяся затемнить природу вещей и сделать ее непроницаемой для адэкватного познания. Философия Спинозы есть борьба, решительная и последовательная для своего времени, за материалистическое познание.

Спиноза первый выдвигал необходимость сделать философию массовым достоянием, необходимость «выражаться соответственно понятию массы», ибо «мы можем достичь немало выгоды, если будем, насколько это возможно, считаться с разумением массы», что заставит последнюю охотно склонять свой слух к принятию истины («Трактат об очищении интеллекта», стр. 70).

Спиноза в данном положении выступает как подлинный философ-революционер, что становится очевидным при сравнении его с сознательным лицемерием вольнодумного Вольтера. Последний, как известно, боялся громких разговоров в защиту атеизма в присутствии этой массы, которая без веры в бога пришла бы спокойствию фернейского патриарха. Вольтер поэтому говорил, что самый упорный атеист не преминул бы провозгласить существование бога, награждающего и наказывающего, если бы ему пришлось управлять пятью или шестью миллионами крестьян. Истина же для Спинозы служила орудием борьбы за свободу, почему и возбуждала против его системы сильнейшую ярость всех реакционеров.

Что же сказать о толковании философии Спинозы тов. Аксельрод? Только следующее. Ревизия какой-либо философской системы, предпринятая во имя д и а л е к т и ч е с к о г о материализма, может быть только приветствуема. Но в данном случае ревизия предпринята под углом зрения Геффдинга и в явном противоречии с ортодоксальным марксизмом, прежде всего с тем, как учил нас понимать Спинозу Плеханов.

Теория наследственности Моргана и Менделя и марксисты[1]).

(Доклад в секции естественных наук Коммунистической Академии 12 января 1926 г.).

А. С. Серебровский.

Товарищи, истекшая четверть XX столетия ознаменовалась в биологии крупнейшим достижением, которое придает своеобразное освещение всей современной биологии, по крайней мере одной из крупных ее частей, касающейся учения об эволюции. Этим достижением является теория наследственности, основание которой было положено в 1865 г. Менделем, чье открытие было в свое время забыто, и только в 1900 г. воскрешено. С этого времени она подверглась стремительному и мощному развитию. Морган, теперешний исследователь, дал менделевской теории глубочайшее подтверждение, найдя тот механизм, о котором Мендель в свое время ничего не мог знать по состоянию науки. Поэтому можно говорить о теории Менделя—Моргана, хотя, конечно, в развитии теории принимало участие еще большое количество других не менее видных исследователей (Август Вейсман, Де-Фриз и целый ряд др.). Современная теория наследственности Моргана—Менделя, которую иногда еще называют корпускулярной теорией наследственности, имеет помимо своего непосредственного биологического значения и более широкое, я бы сказал, значение известного мировоззрения или элемента мировоззрения. Поэтому она может быть поставлена на ряду с самыми широкими обобщениями естественно-исторической мысли, вроде молекулярной теории, атомной и электронной теории и т. д. Всякая такая теория, появляясь на свет, позволяла человеческой мысли продвигаться значительно вперед, об'единяя груду фактов в нечто более или менее стройное. Такова и теория Моргана—Менделя. До этой теории мы в области наследования находились как в потемках и принуждены были пользоваться известной пророческой формулой: «либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет». В настоящее время мы очень много поняли, очень много уяснили, и в этом смысле, действительно, морган-менделевская теория произвела революционный переворот в той области, о которой я говорю. Казалось бы, что появление такой широкой теории должно было быть встречено приветственно марксистами, которые очень заинтересованы в создании единой целостной естественно-истори-

[1]) Статья дискуссионная.

ческой базы для своего мировоззрения. Именно таким приветствием были встречены в свое время те теории, о которых я говорил, проводя параллель между ними и теорией Моргана—Менделя. Кинетическая теория материи была горячо встречена Энгельсом, он ее приветствовал раньше, чем многие физики разобрались в этой теории. В новейшее время Ленин приветствовал нарождающуюся электронную теорию, считая ее переворотом, шагом вперед. Мне кажется, что и морган-менделевская теория имеет равноценное или, во всяком случае, однородное значение с этими теориями и должна была бы встретить более или менее горячее и участливое отношение. Между тем фактически получилась диаметрально противоположная картина. В частности со стороны московских марксистов в целом ряде выступлений на диспутах и в печати, в рецензиях и т. д. ее встретили враждебно и подвергли серьезному сомнению, вопрос о том, насколько эта теория может быть согласована с марксистским мировоззрением. Для тех из нас, биологов, стоящих на точке зрения Моргана—Менделя, которым одинаково близки и интересы марксизма, не безразлично, действительно ли это так, действительно ли марксистское мировоззрение не может быть согласовано с этой современной теорией? И это тем более, что все те товарищи, которые высказывались по поводу теории Моргана—Менделя и отмечали ее недостатки, с их точки зрения, противопоставляли ей, как антитезу, ламаркистскую точку зрения, как лучше удовлетворяющую идейным нуждам марксистов. Для нас, работающих в настоящее время в этой области, ясно, что ламаркистская точка зрения есть в значительной степени разрушенная, оставленная точка зрения, труп, который если и гальванизируется время от времени новыми и новыми исследователями, то по причинам, о которых я скажу дальше. И перед нами встает неотлагаемо вопрос о том, каково же истинное положение вещей? Если действительно теория Моргана—Менделя не может быть согласована с марксизмом, то или она не верна, или наше марксистское мировоззрение не проработано в каком-то отношении. Поэтому мне хотелось бы в настоящей аудитории этот вопрос поставить со всей остротой для того, чтобы серьезно разобрать его и выяснить, действительно ли какие-нибудь стороны этой теории не могут быть согласованы с марксизмом, или это недоразумение.

О самой теории, о том, верна ли она или нет, я сейчас говорить не буду.

Для того, чтобы было ясно, о чем идет речь, когда говорится о теории Моргана-Менделя, я позволю себе в самых кратких чертах изложить сущность этой теории, для того, чтобы споры могли базироваться на этих положениях. Сущность современного представления об явлениях наследственности сводится к пяти главным понятиям. Эти понятия: хромозомы, гены, генотип, фенотип и мутация. Остальные все имеют меньшее значение, и я о них говорить сегодня не буду.

В основе теории наследственности Моргана—Менделя (именно Моргана) лежит идея о том, что все явления наследственности приурочены к хромозомам. Но что такое хромозомы? Я поясню вкратце для тех, которые не достаточно знакомы с этим вопросом. Наше тело состоит из клеток. В каждой клетке

имеется ядро. В некоторые моменты жизни этого ядра в нем под микроскопом могут быть рассмотрены очень маленькие элементы, которые при микроскопической обработке красятся более интенсивно и поэтому называются хромозомами. Наиболее существенным является в этих хромозомах то, что каждому виду животных свойственно определенное число хромозом. По числу хромозом характеризуются не только виды, но целые группы организмов, и уже поэтому ясно, что они не являются чем-то случайным, мимолетным, а являются известной индивидуальностью. Идет спор о том, насколько они постоянны, во все ли моменты жизни ядра могут быть установлены, или возникают вновь. Это вопрос тонкий и сложный, о котором я сейчас говорить не буду. Но так или иначе теория Моргана—Менделя приурочивает все явления наследственности именно к этим хромозомам. Помимо наследственности, приуроченной к хромозомам, современная наука знает только отдельные очень редкие случаи, вроде наследования пестролистности у растений. Все же остальные явления наследственности, повидимому, целиком приурочены к хромозомам. Что в этих хромозомах находится? Моргано-менделевская теория представляет себе хромозомы в качестве носителей отдельных элементов, которые получили название генов. Следовательно, в каждой хромозоме расположены более или менее густо гены, и каждый из этих генов оказывает на организм известное влияние, в результате чего все признаки организма зависят от этих генов. Ответ на вопрос о том, один ли ген вызывает признак, или каждый признак зависит от большого количества генов, можно формулировать таким образом: каждому наследственному изменению организма соответствует изменение в том или ином пункте какой-либо из его хромозом. На основе изучения явлений изменчивости того об'екта, с которым он работал, для мухи дрозофилы Морган составил план хромозом. Здесь на этой диаграмме изображены хромозомы дрозофилы. Вот целый ряд букв, которые указывают, в каком участке какой хромозомы располагается тот или иной пункт, изменение которого вызывает тот или иной признак. Здесь изменение вызывает белую окраску глаза, здесь—укорочение крыльев, здесь—умножение числа щетинок и т. д.

Эти явления, описанные сначала для об'екта, с которым работал Морган, для мухи дрозофилы, позднее были распространены на целый ряд других организмов. В частности я сам занят составлением плана хромозом курицы, т.-е. об'екта, уже гораздо более близкого к человеку. В настоящее время трудно сомневаться в том, что это положение является универсальным.

Совокупность генов составляет генотип данного организма. Каждый из нас имеет свой генотип, т.-е. собрание тех генов, которые в нем находятся. Это понятие генотип представляет собой одно из очень важных завоеваний современной генетики. Она утверждает, что признаки организма, как целого, соответствуют наследственным элементам в виде зачатков генов, которые составляют его генотип. В противоположность этому генотипу, как собранию зачатков, мы говорим о фенотипе, как собрании тех признаков, которое мы

из себя представляем. Генотип нельзя увидать, рассмотреть, а фенотип является теми внешними признаками, с которыми мы имеем дело, так или иначе изучая организм. Очень существенно важным оказывается положение современной генетики о том, что между геногипом и фенотипом нет вполне определенного соотношения, что под влиянием внешних условий развитие признаков может итти так или иначе, и поэтому фенотип сдвигается относительно генотипа в ту или другую сторону.

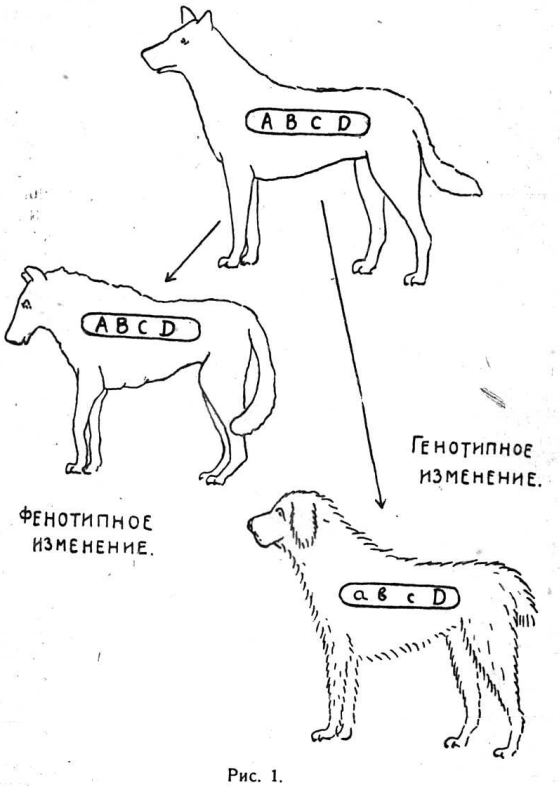

Рис. 1.

Под влиянием тех условий, в которых развивается организм, фенотип может оказаться в разных случаях весьма различным. Вот видите—пес (рис. 1), который воспитывался в жалких условиях, получился рахитичный. Наверху пес, который воспитывался в хороших условиях, имеет хороший вид. Генотип же их, тем не менее остается один и тот же и все те гены, которые си-

дели в хромозоме, сидят в обоих случаях в тех же местах, в том же порядке. Здесь, наоборот, имеется другой пес, который воспитывался в таких же условиях, как верхний, но, благодаря тому, что в хромозомах сидят другие гены, вы видите другую его внешность, хвост коротгкий, шерсть не гладкая и т. д. Вот в грубых чертах га связь, которая существует между генотипом и фенотипом и которая, таким образом, допускает известный сдвиг одного относигельно другого.

Теперь вопрос, откуда же берутся гены, и какова их судьба? Относительно этого мы знаем пока очень мало. Мы знаем, что время от времени некоторые гены подвергаются внезапному изменению. Это изменение генов носит название мутаций. Мутацию я буду понимать в смысле внезапного изменения гена, при котором он подвергается какому-то изменению, физическому или химическому, в результате которого получается новое устойчивое состояние гена, который теперь может опять длительно переходить из поколения в поколение. Это мутирование, способность подвергаться мутации в настоящее время является в значительной степени если не таинственным, то своеобразным явлением в том смысле, что оно оказывается фактически независящим от тех внешних условий, в которых живет организм. Оказывается, что как бы мы ни меняли те условия, в которых организм находится: температуру, химические агенты, которые окружают организм, пищу и т. д., мутационные явления остаются неизменными. При этом, однако, само появление мутации обнаруживает подчиненность законам больших чисел. С одной стороны, мутация возникает случайно, в том смысле, что вы можете иметь несколько тысяч нормальных организмов и только один из них рождается с новым признаком. В нем одном, среди тысяч, произошла мутация и в этом смысле она оказывается явлением случайным. Но, с другой стороны, это явление, возникавшее случайно, оказалось в конце концов вполне закономерным в том смысле, что не только процент организмов, которые дают мутацию, оказывается более или менее постоянным, но даже некоторые мутации возникают тоже закономерно, подчиняясь закону больших чисел. Например, мутация, которая дала муху с белыми глазами, появляется в количестве примерно 1 на каждые 100.000. В этом отношении это явление закономерно. Еще последней характерной чертой мутационного процесса является го, что мутация не обнаруживает никакой целесообразности в своем появлении. Она нисколько не является приспособлением, адаптивной реакцией организма на какие-нибудь изменения внешних условий, она происходит в самых разных направлениях. Муха дрозофилла, на которую приходится так часто ссылаться, дала громадное количество мутаций и имеются мутации совершенно противоположные: может быть глаз больше, меньше, темнее, светлее и т. д. и т. д., во всех направлениях, которые можно себе представить, всегда имеется изменение и в ту и в другую сторону. Поэтому мы и считаем, что мутация не имеет никакого приспособительного значения, а является совершенно случайным изменением организма и в смысле направления. Это положение не противоречит тому, что некоторые направления мутирования оказываются более частыми. Так, у дрозофилл возникло около пятидесяти

мутаций, влияющих на окраску глаз, но почти все изменения остались в пределах красных и розовых оттенков, не дав каких-либо иных, зеленых, синих и пр. Этот вопрос однако относится скорее к области механики развития, чем к самим мутациям. На этом я позволю закончить изложение сущности моргано-менделевской теории.

Против этого учения со стороны марксистов, высказывавшихся по этому поводу, выдвинут целый ряд тягчайших обвинений. Я сегодня рассмотрю только 3 наиболее гяжких греха, в которых нас упрекают. Во-первых, указывается, что эта теория не диалектична, во-вторых, указывается на ее будто бы не материалистический характер и, в-третьих, на ее контрреволюционность, или в лучшем случае нереволюционность. Три обвинения достаточно солидны для того, чтобы, если бы они оправдались, пришлось бы эту теорию подвергнуть сомнению. Надо, впрочем, заметить—наши старшие товарищи-марксисты по этому вопросу еще не высказывались, по крайней мере мне не известно официальных выступлений. Те обвинения, которые я перечислил, мне приходилось вылавливать из разных диспутов, рецензий и разговоров с целым рядом товарищей. Однако, я пришел к заключению, что действительно элемент враждебного отношения к моргано-менделевской теории весьма широко рассеян. Поэтому я и считаю интересным внимательно обсудить эти три обвинения.

Первый упрек этой теории состоит в ее якобы недиалектичности. Когда я попытался выяснить, в чем же суть этого обвинения, то оказалось, что оно может быть формулировано таким образом: «Теория Моргана-Менделя представляет себе наследственные элементы сосредоточенными в генах и утверждает, что изменение генов не зависит от внешних условий. Следовательно, она коренным образом отрицает наследование тех благоприобретенных особенностей, которые организм приобрел в течение индивидуальной жизни и которые многими считаются передающимися по наследству. Как же так? Основным положением диалектики является утверждение, что весь мир един, все связано, все в мире находится во взаимодействии. Как же при таких условиях может оказаться, что эти гены, которые составляют сущность теории, оказываются независящими от внешних воздействий, оказываются изолированными от внешнего мира?» И один из авторов прямо указывает на метафизический характер представления о генах.

«Что значит,—пишет он,—утверждение, что наследственные изменения родятся «вне среды» и «внутри» организма? Это значит итти против основной линии мысли научной биологии, рассматривающей всякий организм как продукт взаимодействия наследственных данных с внешней средой, превратить организм в метафизическую абстракцию, отрывая его от среды...» (Слепков, «Под Знам. Марксизма» № 7).

Разберем, насколько это возражение действительно справедливо.

Прежде всего, насколько моргано-менделевская теория грешна в том, что она якобы считает гены чем-то совершенно уединенным от остального мира, имеющим собственную жизнь и недоступным внешним воздействиям? Те товарищи, которые

имеют такое понимание теории Моргана-Менделя, находятся в глубочайшем заблуждении, и, только утрируя положение теории, можно формулировать ее, как изолирующую гены от внешних условий. Прежде всего, в какой же степени это уединение имеет место, насколько гены доступны или недоступны внешнему воздействию? Совершенно очевидно, что любое сильное воздействие внешней среды, сильное нагревание, сжигание, отравление и т. д. немедленно разрушает все эти гены, и, таким образом, о полной изоляции генов от остального мира говорить невозможно. Не так теория Моргана—Менделя ставит этот вопрос о постоянстве, независимости гена от внешних условий внешнего мира. Очевидно, когда здесь идет речь о неизменности, имеются в виду, прежде всего, известные очень узкие рамки внешних условий, в которых возможна жизнь. Во всех тех условиях, когда жизнь невозможна, оказывается невозможным и существование генов, и если организм переводят в эти условия—гены разрушаются, и таким образом вполне подвергаются изменению. Следовательно, это утверждение о неизменности генов нужно прежде всего рассматривать в рамках, в которых жизнь возможна. Но даже тут нужно выяснить один вопрос. Предположим, что мы организм слегка нагреваем, изменяя температуру. Спрашивается, что же гены изменяются при этом или не изменяются? Совершенно очевидно, что, как всякое тело при нагревании расширяется, и гены, как нечто вполне физически реальное, подвергаются изменению. Если мы обратно вернем температуру к исходному уровню, то и в генах, конечно, произойдет обратный процесс. Очевидно, что и тут гены известному изменению подвергаются, но это изменение будет обратимым и для учения о наследственности интереса не представит, почему мы о нем и не говорим. Следовательно, когда мы утверждаем, что от внешних условий не зависит изменение генов, мы вовсе не хотим сказать, что эти гены не подвергаются тем же самым обратимым процессам, которым все в мире подвергается. Когда мы выставляем их неизменность, мы имеем в виду, что изменение внешних условий в пределах тех рамок, в которых возможна жизнь, не подвергает гены необратимым изменениям. Мы не можем по желанию вызвать в генах необратимые изменения. Вот в каком и только в каком смысле и в каких рамках можно говорить о неизменности, независимости генов от внешних условий. Необходимо также иметь в виду, в какой обстановке отстаивается принцип независимости генов от внешних условий, принцип константности. Теория Моргана—Менделя выставляет свой тезис о неизменности, независимости генов, имея в виду ламаркистскую точку зрения, которая утверждает, наоборот, что все признаки настолько легко подвергаются изменению, что, собственно говоря, достаточно пустить животное в пустыню, чтоб оно через несколько поколений под влиянием внешней среды приобрело наследственную желтую окраску, т.-е. возникли бы соответственные гены.

В виде возражения на подобную точку зрения и отстаивается неизменность генов, независимость их от внешней среды. На почве этой борьбы в самой генетике возникло течение, которое

утрировало эту точку зрения, утверждая, что гены вообще никаким изменениям не подвергаются. Против этой утрированной точки зрения, которую представляет Лотси, теория Моргана—Менделя, наоборот, возражает, что гены изменчивы, но изменяются не так легко, не под влиянием той окружающей среды, о которой говорят ламаркисты. Такую точку зрения понять совершенно легко, так как гены находятся внутри организма, внутри протоплазмы. Достаточно представить, что они более устойчивы, чем окружающая протоплазма, чтобы мы получили такую систему, на которую нельзя подействовать достаточно сильно, чтобы не убить организм.

Из этого, конечно, отнюдь не следует, что мы никогда не найдем способа проникнуть сквозь протоплазму, не разрушив ее, и повлиять на хромозомы. Совершенно напротив. Лучшим доказательством этого служат попытки одного из самых блестящих морганистов, Моллера, повлиять на хромозомы икс-лучами, давшие уже некоторые результаты. Интересной попыткой этого же рода явилась нашумевшая, но, к сожалению, еще не подтвержденная (а скорее опровергнутая), попытка Гайера и Смиса воздействовать на гены хрусталика остроумной серологической реакцией. Только благодаря глубочайшему недоразумению, некоторые ламаркисты увидали в опытах Гайера и Смиса подтверждение своей точки зрения, а не противоположной. Однако и на этот раз мы, повидимому, должны констатировать, что попытка проникнуть к генам экспериментатору не удалась.

Видеть в этом констатировании покушение на разрушение единства мира, конечно, совершенно невозможно.

На этом я оканчиваю свою оборону данного пункта, и, наоборот, перейду к нападению. Товарищи, укоряющие нас в отсутствии философского мировоззрения и воображающие, что они вполне владеют диалектическим методом, на этом основании, не считаясь с прозаическими фактами, отвергают точку зрения Моргана—Менделя и, наоборот, утверждают точку зрения ламаркистскую. Я хочу сейчас попробовать выяснить, насколько действительно здесь налицо более глубокая философская оценка явлений, и не грешат ли здесь, наоборот, товарищи противоположным грехом. Если мы произведем опрос массы обывателей, то окажется, что $\frac{999}{1000}$ жителей земного шара стоят на типичной ламаркистской точке зрения, т.-е. на такой точке зрения, которая не различает фенотипа от генотипа и которая не подозревает неизменности геногипа под внешностью легко изменяющегося фенотипа. Однако назвать их ламаркистами, в том смысле, как мы понимаем эту точку зрения в науке, отстаиваемую и экспериментально аргументируемую, конечно, было бы слишком почетно. Громадное большинство людей, никогда в жизни не слыхавших о Ламарке, Дарвине, Моргане и т. д., если начать анализировать их мировоззрение, оказываются типичными ламаркистами. Если это так, а это так, то, очевидно, мы должны вскрыть какие-то общие основы, которые бы способствовали развитию такой точки зрения. И мы увидим, как нетрудно выяснить действительные корни такой необычайной популярности именно этой ламаркистской точки зрения. Я ее буду называть наивно-ламаркистской точкой зрения, подобно тому, как мы говорим о наивном реализме.

Если мы разберемся во взглядах людей, никогда не изучавших биологию, а просто занимавшихся сельским хозяйством, скотоводством, растениеводством, то мы увидим, что для них эта точка зрения является в высокой степени родной и, очевидно, вытекающей из хозяйственных условий, в которых они живут и работают. Это—мировоззрение, которое было широчайшим образом и без исключения распространено до XIX столетия. Оно состоит из двух элементов. Во-первых, из элемента статического, не видевшего в органическом мире никаких процессов—противоположность эволюционному мировоззрению, а во-вторых, из именно такого элемента, который допускает возможность изменения тех или иных сторон мира и который не сталкивается с представлением о том, что мир изменить не так легко и просто. Если мы посмотрим историю науки, то увидим, что каждая наука проходила известную стадию такого состояния. Возьмем химию. Химия прошла алхимическое состояние и на этой стадии алхимики представляли себе, что нет никакого основания не изменить железо в золото, считали возможным всякий элемент переделать в другой элемент. Для них вопрос шел только о том, как найти этот способ, как добиться удачи в этом вопросе. А самый вопрос о принципе перед ними не ставился. Точно также мы знаем, что и в астрологии человеку представлялось совершенно возможным, что солнце может на некоторое время остановиться, как в случае с Иисусом Навином, и вопрос лишь о том, удастся ли упросить бога устроить эту остановку. Все эти элементы чудесного для нас теперь абсолютно неприемлемы, но они укладывались в мировоззрении тогдашнего человека совершенно свободно. И это потому, что человек знал, строя свой дом, что он может его выстроить, и он будет стоять неизменно (разве только разрушится от старости и времени; этот процесс индивидуального с т а р е н и я является единственным процессом в статическом, доэволюционном мировоззрении), но во всякое время человек может его переделать. Земля лежит и может лежать без конца, но человек может ее вспахать и никакого принципиального сопротивления человек не находит. Его корова худа и плоха, но он может начать хорошо кормить ее, и корова раздобреет. Наивно-ламаркистская точка зрения оказывается таким образом в числе элементов, свойственных мировоззрению человека, е щ е н е о т н о с я щ е г о с я к р и т и ч е с к и к с в о е м у п р е д с т а в л е н и ю о п р и р о д е. По всему фронту науки рано или поздно против этой широко распространенной тезы была выставлена антитеза о неизменности. Химия выставила свое учение об элементах, астрономия выставила свое учение о постоянстве движения мира. Точно также и биологи выставили свою антитезу о неизменности элементов наследственности, о том, что мы можем изменить только фенотип, но генотип изменить может быть даже совсем невозможно. И, как крайность, была развита точка зрения Лотси, что наследственные элементы никакому изменению не подвергаются, а только могут входить в те или другие комбинации друг с другом. Как всякая антитеза, это учение Лотси является крайним. В настоящее время мы имеем синтез в лице моргано-менделевской теории наследственности, которая говорит, что совсем не так просто, как думают ламаркисты, изменить наследственные свойства организма. Но что гены изменчивы, хотя и самостоятельно, но изменчивы,

этот синтез, очевидно, вовсе не является возвратом к ламаркистской точке зрения, которая может считаться похороненной.

Однако, в настоящее время продолжается спор между ламаркистами, отстаивающими легкость изменения наследственных элементов, и современными генетиками, отрицающими это, и этот спор продлится еще очень долго. Но, однако, это вовсе не значит, что в этом споре еще настолько много неясного, что есть еще о чем спорить с такой же яростью, как спорили до сих пор. Спор с ламаркистами будет длиться очень долго, может быть бесконечно долго, потому что именно эти 99,9% обывателей земного шара продолжают стоять на наивно-ламаркистской точке зрения и из их толщи непрерывно выходят в науку новые и новые сторонники этой точки зрения. Если мы просмотрим за последние полвека борьбу этих идей, мы и увидим, как из этой толщи наивных ламаркистов поднимаются ламаркисты-исследователи, которые делают новые опыты и говорят: «Как же вы говорите, что ламаркизм не прав? А вот же я получил новые наследственные признаки». В 80-х годах нашумело знаменитое выступление Броун-Секара, который поставил опыт таким образом, что произвел повреждение спинного мозга у морской свинки и получил при этом эпилептические явления. Он сообщил, что и потомство обнаружило эти эпилептические явления. Этот опыт, поддержанный большим авторитетом Броун-Секара, произвел большое впечатление. Так как всякий опыт с наследственностью может быть проверен только в довольно длительный период времени, то пока этой проверки нет, он продолжает фигурировать как факт и на него продолжают ссылаться. И мы знаем, что три десятилетия ссылались на опыт Броун-Секара, пока не выяснилось, что никакой наследственной передачи эпилепсии здесь нет. Тем временем появилась работа Каммерера с жабами-повитухами, в которой он сообщил о названном им изменении инстинкта яйцекладки у жабы и получении нового наследственного признака, который продолжал передаваться из поколения в поколение, давая менделевские отношения в потомстве. Кто знает, насколько труден технически и пропотлив этот опыт Каммерера, тот должен понять, почему прошло много лет, а никто не взялся за проверку этого опыта.

И знаменитый рисунок из этой работы, изображающий менделирование инстинкта яйцекладки до сих пор, хотя все реже и реже, продолжает перепечатываться в учебниках и популярных книжках, а между тем для каждого генетика, знакомого с менделизмом не только по книгам, а и по собственному грудовому опыту, весь этот эксперимент, а тем более его менделистическое толкование, представляется наивностью, простительной только потому, что эта работа Каммерера была опубликована на заре менделизма.

Еще более печальная участь постигла второе исследование Каммерера с наследованием искусственно измененной окраски саламандр. И эта работа продолжает цитироваться ламаркистами, несмотря на открытое заявление одного из сотрудников Каммерера о том, что их материал не давал права Каммереру притти к тем выводам, которые он опубликовал. Одновременно с работами Каммерера, появился об'емистый труд Тауэра и целый ряд других аналогичных опытов. В настоящее время в Аме-

рике на Тауэра перестали ссылаться (изредка ссылаются в Западной Европе и очень охотно в Москве). Звезда его поблекла и отнюдь не в силах каких-то буржуазно-морганистских гонений, как пытаются изобразить дело его московские единомышленники, а в силу общей судьбы ламаркистских исследований. Между тем наш знаменитый академик Иван Петрович Павлов опубликовывает работу своего сотрудника, в которой излагается наследование благоприобретенных условных рефлексов. Довольно конфузная история, потому что нашумевшая работа уже опровергнута двумя авторами и, конечно, в значительной степени покоится на недоразумении. Но авторитет И. П. Павлова настолько и заслуженно велик, что пройдет много лет, пока этот опыт будет забыт. И еще много лет вперед будут выступать представители ламаркистской точки зрения и будут выдвигать новые замысловатые опыты, которые придется опровергать, на что будет уходить время, и поэтому споры еще долго будут тянуться. Тем не менее эта картина вовсе не указывает на то, что ламаркистская точка зрения сильна аргументами, как не прекращающиеся выступления защитников бытия божия вовсе не указывают на реальность этого бытия, а только на реальность бытия верующих.

Наконец, в ответ тем, кто утверждает, что моргано-менделевская теория наследственности чужда марксизму, я бы хотел отметить удивительный параллелизм истории развития, с одной стороны, марксистской идеи, с другой стороны—идеи генетики. Мы знаем, что в свое время утопические социалисты выставляли свою тезу о том, что мир социальный может быть легко изменен, в соответствии с нашими желаниями, нашей программой, которую мы себе ставим, стоит только найти богатого банкира, который даст денег и т. д. В качестве антитезы на эту наивную тезу мы имеем учение исторического материализма, который показал, что социальные изменения происходят не так легко, не по желанию какого-нибудь добродетельного прозелита-банкира, а по своим собственным внутренним законам по мере того, как хозяйственные отношения в обществе претерпевают те или другие изменения. И, наконец, в качестве синтеза мы получили революционный марксизм, который говорит о том, что все-таки, несмотря на наличие этих вполне закономерных элементов развития общества, мы можем на них влиять, если будем влиять не на добродетельных банкиров, а захватывать банки, захватывать власть, армию и т. д. Совершенно параллельную этому диалектику мы видим сегодня в биологии. Вместо наивной точки зрения, которая утверждала, что наследственные элементы можно менять очень легко, возникла антитеза, которая утверждала независимость, невозможность их изменить, а теперь мы приближаемся к синтезу, говоря, что, вероятно, и гены можно будет изменять, если только мы научимся понимать, на что и как нужно действовать. Если мы не добились результатов, то лишь пока, но для этого мы должны предварительно стать хорошими морганистами.

Вторым смертным грехом моргано-менделевской теории, с точки зрения наших возражателей, является ее нематериалистичность. При чем нематериалистичность усматривается, насколько мне удалось выяснить, именно в области мутационного учения.

Материалистическим, очевидно, представляется такое положение вещей, когда наследственные элементы, свойства изменяются под влиянием внешних воздействий. Когда же мы говорим о том, что внешним воздействием нам не удается желательным образом повлиять на наследственные свойства и что мутационный процесс идет самостоятельно под влиянием внутренних, быть может в самих хромозомах заложенных, причин, здесь усматривают наличие лазейки для нематериализма. Но если мы говорим, что мутация происходит по каким-то, неясным для нас причинам, можно ли, придравшись к этому, заявлять, что здесь появляется некоторый элемент виталистического представления и можно ли толковать, исходя из этого, о нематериалистичности мутационного процесса? Никаких оснований для этого, конечно, не имеется. И когда мы утверждаем, что мутационный процесс есть до некоторой степени имманентный процесс, подчиненный внутренней закономерности, то небольшого труда стоит найти параллель этому мутационному процессу в виде вполне материалистических схем из других областей науки. В частности по отношению к мутационным явлениям, поскольку их удалось проанализировать, в некоторых случаях найдено было об'яснение, в высокой степени механическое, которое сводит их к неправильностям действия механизма, при некоторых явлениях у хромозом, о которых я говорить не буду (так назыв. явление перекреста или кроссинговера). Но те случаи, которые удалось проанализировать, пока еще редки, и по отношению к большинству мутационных явлений мы продолжаем говорить, что они происходят по каким-то внутренним причинам, не зависящим от внешних условий. Попробуем найти такую схему, которая бы позволила дать чисто механическую параллель явлению мутаций. Я усматриваю возможность найти схемы об'яснения мутационных явлений, с одной стороны, в области радиоактивности, с другой стороны, в области астрономии. Хотя это—далеко, в смысле масштаба, но, тем не менее, и там и тут имеются явления, сходные с внезапными мутациями, которые происходят вне зависимости от внешних условий, но, тем не менее, никакого нематериалистического элемента не содержат, и не требуют введения витализма ни в область радиоактивности, ни в область астрономии. Мы знаем, что сложноатомное радиоактивное вещество время от времени претерпевает изменения, в результате которых часть электронов отделяется и атом, отделяющий электрон, претерпевает изменение. Что при этом происходит? При этом происходит явление **необратимое**, один элемент переходит в другой элемент и это изменение, насколько мы в настоящее время известно, не зависит от внешних воздействий, не вызывается ими, а зависит от внутренних движений, имеющих место в атоме, от столкновения электронов, или возмущений в их орбитах и т. д. Хотя этот процесс идет, можно сказать, имманентно, подчиняясь внутренним законам, но этот закон—чисто механический и никакого элемента, противоречащего материалистическому пониманию, в нем нет. На другом поприще мы встречаем очень сходное явление в области астрономии, в судьбе солнечной системы. Наша солнечная система время от времени претерпевает такие явления, которые можно было бы назвать мутационными явлениями, поскольку в результате явле-

ний солнечная система изменяется, обогащается или обедняется тем или другим членом. Я имею в виду явление ловли комет и выпуска комет «на волю». Вам известно, что наша солнечная система движется в пространстве сквозь поток комет, прилетающих и улетающих от нашей солнечной системы, движется, сохраняя свою структуру. Но время от времени происходит любопытное явление.

Если на основании случайности, именно случайности, с которой имеет дело наука, комета, идущая к солнцу, на своем пути пройдет очень близко мимо Юпитера, ее движение на этом участке претерпевает столь сильное возмущение, что ее орбита превращается в замкнутую и комета оказывается пойманной. Таким образом, солнечная система оказывается измененной, в ней оказывается n + 1 членов. По существу говоря, это та же мутация, потому что солнечная система является теперь уже не той солнечной системой, а с некоторым изменением количества, непосредственно переходящим в изменение и качества. Обратно: наша солнечная система имеет целый ряд комет, которые движутся по замкнутой системе, возвращаясь к солнцу, но опять иногда случайно происходит то, что комета проходит близко около Юпитера, Юпитер возмущает ее орбиту, и комета улетает в пространство. Опять мы имеем типичное мутационное явление, возникшее на основах тех закономерностей, которые действуют внутри солнечной системы и происходят вне зависимости от внешних воздействий.

Не потому электрон вылетел из атома радия, не потому комета улетела из области солнечной системы, что какие-то внешние импульсы вышибли их с их мест, что на радий подействовал свет, температура и пр. Конечно, это не значит, что нельзя внешним воздействием вышибить электрон из атома радия. Может быть мы научимся делать это, узнав точно структуру атома радия. Но, как постоянное явление природы, идущее непрерывно на всем земном шаре, радий разлагается имманентно.

Исходя из двух этих схем с противоположным масштабом, мне кажется совершенно нетрудно, несмотря на то, что мы еще ничего не знаем о причинах мутационных явлений в хромозомах, создать схему, которая может служить рабочей гипотезой и давать удовлетворительное об'яснение мутационным явлениям без какого бы то ни было элемента, противоречащего материалистическому мировоззрению.

Этим я заканчиваю по этому вопросу свою защиту и перехожу к нападению. Нападать я буду на тот пункт ламаркистского учения, который представляет собой учение о реакции организма на внешние изменения. Ламаркисты утверждают, что организм, попавший в некоторые условия, на него действующие, реагирует на них изменением своих наследственных свойств и при этом таким образом, что потомство оказывается обладателем того внешнего признака, который соответствует внешнему воздействию. Ламаркисты рассказывают, что животное, попадая в пустыню, где имеется желтый песок, под физиологическим влиянием этой среды постепенно изменяется, при чем таким образом, что рано или поздно у него рождается желтое потомство, которое, следовательно, получает пустынную окраску. Если организм попадает на север, где он будет находиться под влиянием «белых» воздействий, он опять претерпевает эволюцию, потому что его наследственные элементы соответствующим образом реагируют на внешние раздражения. Это пункт, который в ламаркистском учении совершенно неизбежен, потому что только при помощи этого пункта ламаркисты могут об'яснить ход эволюционного процесса во всей природе. А между тем этот пункт совершенно подозрителен с точки зрения материалистического мировоззрения. На этой схеме (рис. 2) у меня представлено серое животное, попавшее в обстановку снежной равнины севера, где его организм подвергается воздействию отражений от снега и т. д.

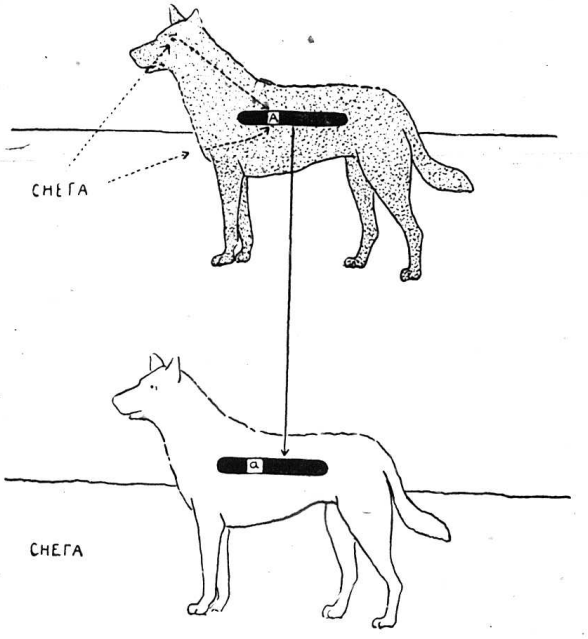

Рис. 2. Схема целесообразной приспособительной реакции наследственного вещества. В сером животном под влиянием окружающего снега ген A изменяется в a, которое, попав в потомка, вызывает уже белую окраску.

Ламаркисты требуют, чтобы находящиеся в этом организме хромозомы претерпевали такое изменение, которое, попав в детей этого серого животного, развило бы в них белую окраску, соответствующую внешней обстановке. В этом пункте ламаркистам неизбежно приходится допускать наличие целесообразной реакции со стороны наследственного вещества организма, и совершенно правильно наиболее последовательные ламаркисты, занимавшиеся выяснением этого вопроса (к числу которых принадлежит наш ленинградский

ученый Берг), указывают на неизбежную связь между ламаркистской точкой зрения и точкой зрения целесообразной реакции. В своем «Номогенезе» Берг пишет следующее, я прочитаю две маленькие цитаты:

«Целесообразность есть основное, далее не разложимое свойство живого—такое же, как раздражимость, сократимость, способность к питанию, усвоению, размножению. Она не более, но и не менее непонятна, чем любое из перечисленных свойств. Без целесообразности вообще немыслимо ничто живое. Выяснить происхождение целесообразностей в живом, значит выяснить сущность жизни. А сущность жизни сколь же мало умопостигаема, как и сущность материи, энергии, ощущения, сознания, воли («Номогенез», стр. 6).

В конце той же страницы он пишет: «Одним из следствий поддерживаемого нами принципа изначальной целесообразности является учение о влиянии упражнения и неупражнения органов или т. н. ламаркизм. И все авторы, как стоящие всецело на точке зрения Ламарка, так и признающие на ряду с естественным отбором и принцип Ламарка (каковы Дарвин, Спенсер, Плате и мн. др.), бессознательно поддерживают взгляд на целесообразность, как на основное, далее не разложимое свойство живого».

Это совершенно правильно развитое положение, при котором только и можно примирить ламаркистскую точку зрения с фактом эволюционного процесса. Мне кажется, здесь достаточно оснований для того, чтобы именно ламаркистскую точку зрения обвинять в противоречии материалистическому мировоззрению.

Наконец, третий смертный грех, в котором обвиняют современную теорию наследственности, это—ее нереволюционность. При чем эта нереволюционность заключается, по мнению противников, в том, что современная генетика допускает якобы оценку различных групп населения, различных классов, и что эта оценка может быть неблагоприятна для наиболее революционных классов. В этом повинна до некоторой степени евгеника. И с этой точки зрения пытаются ошельмовать и самую генетическую базу, базу биологическую. Допускается тем самым известная неразрывность элементов евгенической точки зрения и генетической. Здесь тоже в значительной степени дело покоится на недоразумении. Правда, если мы обратимся к евгеникам, т.-е. к тем ученым, которые пытаются приложить учение наследственности к вопросам об усовершенствовании человеческой расы, то мы найдем у них достаточное количество взглядов, очень резко выражающих классовую позицию их авторов. Тут можно найти целый ряд анекдотических положений. Достаточно привести пример с известным вычислением Гальтона о том, что с точки зрения якобы научной рождение ребенка из богатых классов может в некоторых случаях оцениваться в 1.000 раз дороже, чем рождение ребенка в семье рабочего и т. д. Очень интересна одна страница из известного евгенического труда германского евгеника Циглера, в котором он обрушивается на с.-д. в Германии, в частности на Шейдемана с обвинением в том, что они такие-де кретины, что не знают даже, что Бельгия в 1280 г. уже была завоевана Германией и по праву ей принадлежит. Это писалось

в военные годы. Но, товарищи, то, что некоторые буржуазные евгеники допускают классовые выступления, конечно, ни в какой степени не может послужить поводом к обвинению морганоменделевской теории в соучастии с ними. Надо совершенно ясно давать себе отчет в том, что евгеника не есть точная наука, а лишь известное нормативное учение, которое только берет современное учение о наследственности в качестве базы и на этой базе строит свои выводы о том, какими путями и приемами можно было бы у л у ч ш и т ь человеческое общество. Но, как только мы переходим к вопросу о том, что хуже, что лучше, мы неизбежно отрываемся от точной почвы науки и вступаем в область мнений, в область симпатий, и, как всякие симпатии, они неизбежно отражают в себе классовую позицию того автора, который высказывает эту симпатию. Генетическая база является областью вполне об'ективной. Но, как только мы переходим в области нормативных надстроек, тут открывается широкое поле для классовых точек зрения. И, конечно, евгеника, поскольку она о ц е н и в а е т что-либо, не может быть единой и каждый класс должен создавать свою собственную евгенику. Однако лозунг, что каждый класс должен создавать свою собственную евгенику, отнюдь не должен быть понимаем так, как понимают это некоторые, в частности московские товарищи, утверждающие, что вся база морган-менделевской теории, все это выдумки западных буржуев, а что пролетариат, создавая новую, свою евгенику, должен базироваться на ламаркизме. Это совершенно неожиданная утрировка, потому что она смешивает две части явления—с одной стороны, биологическое учение, а с другой стороны, элементы учения нормативного—евгеники. Вместе с мыльной буржуазно-классовой водой она выплескивает и биологического ребенка. Очевидно, сначала должен быть выяснен вопрос: насколько вывод Гальтона (о том, что ребенок из состоятельного класса евгенически дороже, чем ребенок рабочего) покоится на выводах современной науки? Мы должны категорически утверждать, что наши знания в области генетики человека, в области наследственности тех или иных ценных свойств человека еще настолько слабы, еще настолько отрывочны, что мы ни в коем случае не можем выдавать за точные научные выводы разговоры о том, что известный класс лучше другого по своим наследственным свойствам. Прежде всего, как вообще может быть поставлен вопрос о том, лучше или хуже тот или иной класс? Вопрос о том, лучше или хуже, может быть рассматриваем с разнообразных точек зрения: одному нравится физическая сторона—тело, другому—психическая, одному—музыкальные способности, другому—математические и т. д. и т. д. Что для одного «лучше», для другого «хуже». Следовательно, вообще понятие о хорошем и плохом здесь весьма условно, и нужно прежде согласиться, что понимать под понятием хороший. Большинство людей, которые по этому поводу высказываются, разумеют, главным образом, наличие умственных способностей, гениальность, талантливость и т. д. Поскольку мы говорим, что одаренность, гениальность являются ценным свойством в человеческом обществе, мы можем задаваться вопросом, насколько та или иная группа, класс обладает соответствующими талантами, насколько не обладает. И в этой пло-

скости произвести сравнение и оценку. Имеем ли мы возможность говорить, что та или иная группа обладает большим или меньшим наличием талантов и с этой точки зрения более или менее ценна? Вопрос, конечно, страшно труден, и сейчас мы не можем дать такой оценки ни для одной более или менее крупной группы населения. Правда, мы можем предполагать, факты у нас имеются, что элементы талантливости, элементы одаренности не рассеяны равномерно во всем человечестве, это противоречило бы тому, что мы знаем о распределении роста, окрасок, темперамента и т. д. Далее мы знаем, что по крайней мере некоторые родословные несомненно оказываются более насыщенными одаренностями в умственном отношении. Наш знаменитый русский пример А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого, оказавшихся довольно близкими родственниками, иллюстрирует это. Подобное совпадение не может быть рассмотрено, как случайное совпадение, или как результат того, что Пушкин и Толстой находились в хороших условиях, в которых они могли развивать свои таланты. Несомненно, что если мы наугад возьмем из всей массы русского населения одну родословную такого же об'ема, как та, которая заключает Пушкина и Толстого, то мы имеем очень мало шансов, даже в идеальных условиях, получить Пушкина или Толстого. Такого рода фактов довольно много. Они указывают на то, что элементы одаренности не рассеяны равномерно.

Но, если так, спрашивается: можем ли мы говорить о том, что тот или другой класс: 1) более насыщен одаренными людьми и 2) более ценен относительно талантов и одаренности? Весьма возможно, что разные классы окажутся не одинаковыми. Классовое расслоение создавалось не случайно. Хотя оно определялось теми или иными экономическими условиями, но по отношению к отдельным личностям возможно, что вопрос решался и биологическими факторами. Мы имеем двух братьев, которые живут на земле, и которым стало тесно хозяйничать. Один остается на земле, другой уходит в город. Почему один остается, а другой уходит? Может быть, целый ряд экономических причин обусловливает это, но безусловно, личные и врожденные свойства могут вести к тому, что именно уходит, отрывается от земли человек несколько иных наследственных свойств, более предприимчивый, более активный или которому труднее земледельческий труд. Правда, по этому вопросу у нас фактических данных очень мало и мы ни по отношению ни к одному случаю не можем сказать, что именно так произошло, что менее одаренный остался сидеть на земле, а более одаренный ушел, или наоборот и т. д. Но этот вопрос возможен, и поэтому я говорю, что априори мы не можем утверждать, что никакой разницы в концентрации разных свойств и способностей в разных группах населения нет. Но, конечно, утверждение вроде того, что группа интеллигенции или группа буржуазии является солью земли, а все остальное—подножье, навоз, на котором соль земли должна цвести, настолько нелепо, что только классовое ослепление не позволяет видеть этого тем, кто это утверждает.

По второму вопросу нужно помнить, что ценность каждой группы обусловливается произведением из концентрации одаренности в ней на ее массу, и, только принимая во внимание и массу и концентрацию, можно оценивать данную группу. Я повторяю, что здесь мы еще настолько слабы знанием, что постановка таких вопросов оказывается еще совершенно преждевременной.

В заключение еще один пункт. Не раз мне приходилось выслушивать мнение, что все споры о том, наследуются или не наследуются таланты, сколько для них имеется генов и где они сидят, в конце концов, совершенно не важны. Марксизм и коммунизм вовсе не заинтересованы в этом. Им безразлично, как происходит наследование, а важно выполнить свою задачу, создать такое общество, в котором каждый будет находить себе приложение, каждый будет жить счастливой творческой жизнью, наслаждаясь бытием. К этому должно стремиться, а вопрос о том, наследуются ли таланты, и как наследуются, вопрос академический. Такое возражение было в речи одного из товарищей, выступавшего на докладе т. Завадовского здесь же. Подобный индифферентизм далеко не случаен, и хотя авторы его и подчеркивают свою якобы беспристрастность, на самом деле он порожден именно ламаркистской точкой зрения. Для тех, кто верит в податливость наследственных элементов, вопрос о механизме наследственности отходит на второй план. И, наоборот, для нас, убежденных в значительной прочности и постоянстве генов, их судьба приобретает исключительный интерес. Поэтому против такого весьма распространенного индифферентизма нам приходится категорически возражать. Рассуждение о том, что нам безразлично, как наследуется в человеческом обществе то или другое, а важно создать общество, в котором всякому бы жилось хорошо,—это рассуждение детское. Если бы нам сказали, что вот найден способ, при помощи которого любого человека можно сделать гениальным, то каждый марксист и коммунист заинтересовался бы этим. Следовательно, когда проповедуют такой индифферентизм, безразличие, это зиждется не на принципиальной почве, а на том, что вопрос слишком сложен и труден. Так закрывать глаза на трудные вопросы значит вести политику страуса, которой мы, повидимому, не должны следовать.

К тому же легко показать, что точка зрения индифферентизма покоится на грехе, свойственном статическому мировоззрению. Оно представляет себе, что все то, что есть, так и остается и в человеке и в природе, и мы можем спокойно подыскивать те соответствующие условия, в которых каждый может найти свое наилучшее развитие. Между тем у нас нет основания это предполагать, даже, наоборот, есть основание опровергать идею о том, что человечество остается в биологическом смысле неизменным.

Рассматривая наше население, граждан нашего Союза, мы можем рассматривать их, с одной стороны, как группу полноправных суб'ектов, которые осуществляют свое право строить свое счастье на земле, а, с другой стороны, мы можем рассматривать их совокупность, как наше общественное богатство, совершенно так же, как рассматривают в качестве такого достояния совокупность пшеницы, молочных коров, лошадей, которые создают хозяйственную мощь нашей страны. Наша страна процве-

тает не только от того, что зреет пшеница, коровы дают молоко, но и потому, что имеются люди, которые производят трудом известное количество ценностей. И для нас не может быть безразличным вопрос о том, кем производятся ценности, имеется ли достаточно биологических предпосылок, помимо приспособлений техники и т. д. Особенно важен этот вопрос, когда мы переходим к «высшей» области творчества человека, к художественной, научной деятельности, к организационной деятельности и целому ряду других подобных проявлений человеческой природы. И если действительно эти элементы покоятся на наследственной базе, то мы вправе рассматривать совокупность этих генов, которые создают в человеческом обществе талантливых выдающихся людей, или, наоборот, идиотов, как национальное богатство, генофонд, из которого страна черпает своих людей. Ясно, что мы не только не можем закрыть глаза на наш генофонд, но, наоборот, мы должны выяснить, нет ли в генофонде процессов, которые его изменяют, и если да, то в какую сторону, в худшую или в лучшую. Наблюдение за этим процессом совершенно так же важно, совершенно так же должно быть поставлено на очередь, как вопрос о расходе нефти, вопрос, который достаточно волнует наш ВСНХ. Есть ли основание предполагать, что генофонд остается неизменным? Нет, наоборот, мы можем наметить ряд процессов, которые в нем имеются. Прежде всего, знаменитый мутационный процесс, который происходит как в растительном и животном царстве, так, очевидно, и в человеческом обществе, хотя мы пока еще очень мало в этом вопросе осведомлены. Если мы обратимся к какому-нибудь животному (дрозофиле), оказывается, что у нее мутационный процесс идет непрерывным потоком, и эти мутации обладают очень скверным свойством,—они в большинстве случаев оказываются вредными для организма и лишь сравнительно небольшой процент мало влияет на организм животного. Мы должны себе представить, что в человеческом обществе идет тот же мутационный процесс, накопление мутаций. На этой схеме я изобразил картину того, как некоторый нормальный ген претерпевает мутацию и дальше существует в измененном виде, при чем имеется много шансов в пользу того, что это новое изменение оказывается худшим с биологической точки зрения, чем прежнее состояние. И постепенно, шаг за шагом, то один, то другой ген в генофонде претерпевает мутацию, и в конце концов мы достигаем момента, когда все гены претерпели мутации. Рано или поздно почти каждый человек будет хранить вредные мутации. Мы будем иметь то, что называется вырождением. Возможность такого процесса в нашем генофонде отрицать нельзя и то накопление душевных болезней, уродств, которые у нас имеются, частью должно быть отнесено на сторону этого процесса. С другой стороны, большим фактором является так называемая дифференциальная размножаемость, которая сводится к тому, что различные группы населения размножаются различно интенсивно. Если мы возьмем такую группу, о размножаемости и свойствах которой имеются исследования и применим, напр., нашу интеллигенцию по степени ее одаренности, поставим во главе академиков, выдающихся ученых и т. д., а затем среднеодаренных,

то увидим, что размножаемость этих групп будет обратно пропорциональной степени одаренности. Группа академиков, это типичная вымирающая группа, она не может поддержать свое существование и существует только потому, что из гущи народной поднимаются новые академики. Если одаренность передается по наследству, то мы можем полагать, что если бы нам удалось от академиков получить большое количество детей, стало бы больше одаренных людей. Очевидно, для нас не безразлична дифференциальная размножаемость. В конце концов, в обществе идет непрерывный отбор именно в том направлении, что наиболее одаренные люди поднимаются в слои городского населения, в верхи партии, профсоюзов, науки, литературы и т. д. и т. д., и здесь прекращают свое размножение. Может быть, это не так страшно, может быть, мутационный процесс, который дает новые и новые гены творчества, идет таким темпом, что нам обеспечен непрерывно известный процент талантливых ученых, вождей, организаторов и т. д. Но может быть разница размножаемости настолько сильна, что имеется процесс отрицательного отбора, что количество положительных, ценных генов непрерывно убывает из общего генофонда. Пока у нас нет фактического материала, на котором мы могли бы показать, что действительно такой-то ген убывает ежегодно на такой-то и такой-то процент, но возможность такого изменения генофонда вполне возможна. Если мы обратимся теперь к политике всех наших наркоматов, то мы увидим, что почти каждый акт каждого наркомата в той или другой степени затрагивает интересы генофонда. Наркомздрав, который лечит, поддерживает существование больных, который охраняет дефективных детей и т. д., который создает такие улучшенные условия существования, в которых смертность детей в раннем возрасте изменяется, благодаря которым получают возможность выживать те, кто погибал, оказывается агентом, влияющим на судьбу генофонда. Возьмем Наркомтруд с его тарифными ставками, с его вопросами о заработной плате. Мы опять встречаемся с целым рядом элементов, которые непосредственно относятся к размножаемости тех или иных групп и которые непосредственно касаются судьбы генофонда.

И если мы так просмотрим деятельность любого наркомата, партии, профсоюзов, мы увидим, что каждый их акт в той или другой степени относится к судьбе генофонда.

Поэтому, когда говорят, что нам безразлично, как и что в человечестве наследуется, то эта точка зрения детская, и мы никак не можем ее поддерживать. Поэтому, выступая сегодня, в своем докладе я нарочно заострил некоторые положения, чтобы указать то значение, которое вопрос о мутациях, о генах, о генофонде имеет для Наркомздрава, Наркомпроса, чтобы показать, что не только академический интерес владеет мной, заставляет докладывать то, что я докладываю. Я кончаю тем, что повторяю, что современная морган-менделевская теория наследственности имеет все основания считаться выдающимся научным завоеванием и что она упирается вплотную в повседневную деятельность государства в его частях и в целом и поэтому заслуживает самого внимательного и хладнокровного изучения и обсуждения с разных точек зрения.

Метафизика и диалектика в биологии.

И. Агол.

I.

Мертвецы зашевелились.

Писать о метафизике и диалектике в естествознании в начале второй четверти двадцатого столетия может показаться довольно бесцельным делом: метафизика, мол, давно отжила свой век, и говорить серьезно о ней, значит, совершенно напрасно тревожить давно истлевших покойников. Но кто, даже кое-как просматривал естественно-научную литературу за последние двадцать пять—тридцать лет, тот, несомненно, заметил, что, с усилением классовых и национальных конфликтов на почве утверждавшегося империализма, давно забытые покойники зашевелились в своих гробах, стали стучать своими разваливающимися костяшками о крыши гробов и требовать выхода на солнечный свет. Этот «бунт» покойников особенно заметно проявился в биологии. «Против Дарвина, назад к мистицизму!», «Против плоского материализма, назад к витализму!»—таковы лозунги на черных знаменах зашевелившихся мертвецов.

Какие широкие размеры приняла эта вненаучная реакция, показывает поход против дарвинистов в Соед. Штатах, когда против сторонников эволюционной теории выступают уже не церковные мракобесы в своих проповедях, а могущественный правительственный аппарат самой цивилизованной страны в мире. Чем об'яснить это явление?

Дарвинизм, нанесший смертельный удар метафизике, витализму и мистицизму, в сравнительно короткий срок был принят всем миром, в том числе и буржуазией, как откровение. Все отрасли науки второй половины девятнадцатого столетия шли под знаком дарвинизма. Общественные классы, находившиеся под гнетом реакции, утвердившейся в Европе после наполеоновских войн, в лице так называемого священного союза, нуждались в научном обосновании борьбы за свое освобождение. В 1848 г. была сделана внушительная попытка смести реакцию силой.

Маркс и Энгельс, обратившиеся к пролетариату, звали его на борьбу не только против политической реакции, но и против экономического гнета, против частной собственности на средства производства, в которой они видели главнейшую причину всякого гнета и реакции. Но марксизм, конечно, не мог быть принят всеми классами. Буржуазной Европе нужно было другое учение, которое оправдывало бы т о л ь к о ее собственную борьбу.

И вот в 1859 году появляется философско-биологическая книга («Происхождение видов»), которая не только озарила беспросветный тупик, в который зашла научно-творческая мысль еще со времен натурфилософии и витализма, но об'явила единственным законом прогресса борьбу за существование и выживание наиболее приспособленных. Каждый считал себя в душе наиболее приспособленным, особенно буржуазия, которая уже тогда владела «командными высотами» в промышленности и торговле. Принцип борьбы за существование давал той же самой буржуазии научное основание для сдирания семи шкур с пролетариата и окончательной ликвидации остатков феодализма. Другие классы точно так же оценивали новое учение, но только, понятно, со своей классовой точке зрения. Философско-биологическое учение Дарвина перерастало в глазах борющейся буржуазии в целое мировоззрение. Дарвин был признан новым пророком.

Дарвиновские теории эволюции не имели успеха потому, что эпохи, в которые они появлялись, совершенно в них не нуждались. Этим в значительной степени об'ясняется победа Кювье над Жоффруа Сент-Илером; здесь же надо искать причины того, что учение Ламарка, появившееся за пятьдесят лет до дарвиновского «Происхождения видов», не встретило сторонников.

Но по мере роста классовых противоречий и утверждения капитализма на завоеванных позициях, по мере роста силы и значения пролетариата, как нового могучего фактора истории, претендующего на власть и коммунистическую реорганизацию общества, буржуазия стала отходить от Дарвина, ибо борьба за существование в новой интерпретации уже означает борьбу значительного большинства трудящихся против гнета ничтожной кучки эксплоататоров, не играющих никакой полезной роли в самом производственном процессе. Такова диалектика истории.

И вот тут-то появляются попытки воскресить мертвецов. Услужливыми руками вытаскиваются из архива запыленные и пожелтевшие от времени метафизические фолианты, а вместе с ними и мощи старых богов, витальной силы и прочая церковная рухлядь.

Кто призван заместить Дарвина? Какое учение выдвигается вместо дарвинизма? Вот самое свежее.

В 1920 году в Берлине, в одном из крупнейших научных центров мира, появляются две книги берлинского профессора К. Л. Шлейха. Одна из них говорит о проблеме смерти; другая о сознании и бессмертии. Сам Шлейх считает свое учение «кинжалом в сердце материализма». Вот он, висящий над нашей головой острый кинжал!

Шлейх утверждает не только бессмертие души, но и бессмертие тела, распадающегося, по его мнению, после формальной смерти на миллиарды отдельных существ, которые продолжают жить в других комбинациях, благодаря содержащимся в каждой клетке бессмертным хромозомам. Хорошее утешение, заметим мимоходом, для умирающего класса. Шлейх знает один только способ насильственного умерщвления бессметной хро-

мозомы, это—сожжение. Поэтому он всеми фибрами всех своих профессорских хромозом восстает против преступного использования крематориев, которыми мы препятствуем хромозомам выполнять их вечное назначение.

Послушаем самого Шлейха. Вот что он пишет:

«Если бы духовное, пластически конструктивное единство тела какого-нибудь высоко организованного существа не находилось в строгом согласии и совместной работе до самой смерти, то и человеческое тело представляло бы только то, на что оно распадается после смерти, т.-е. кишащий муравейник из микроскопических одноклеточных. Смерть, это—освобождение от диктатуры души, которая связывала в одно целое общество отдельных клеток. Душа своим уходом превращает клеточное организованное государство в посмертную анархию. Смерть животного, это—распад клеточной общины на миллиарды отдельных существ» («Проблема смерти», стр. 16, цитировано по Каммереру).

Вы хотите знать, какой возможный путь эволюции человека в дальнейшем по самоновейшей теории? Очень простой. В нашем организме происходит творческое смешение хромозом с'едаемых нами клеток животных и растений, а потому «научно» возможно наше превращение в птиц или растения.

Послушайте, что буквально пишет этот новый Эмпедокл 1920 года!

«Если бы, например, земля через сотни тысяч лет так сильно нагрелась, что наши ступни не могли бы больше прикасаться к ней, то у нас явилась бы возможность образования крыльев, так как мы в течение нашей жизни с'ели так много крылатых..., скопили так много ядерного вещества крылатых существ, что предварительные условия для образования крыльев уже создались, и эти «оплодотворения» могли бы выявиться активно» («Сознание и бессмертие», стр. 145, цитир. по Каммереру).

Эта цитата не из какой-нибудь натурфилософии Окена или Эмпедокла, а из книги, изданной в Берлине в лето тысяча девятьсот двадцатое одним из лучших немецких издательств.

Вы хотите знать биологическое основание неминуемой гибели культуры? Изучайте берлинского профессора Карла Людвига Шлейха! Вы там найдете много интересного и поучительного.

«Раз наша пища,—пишет Шлейх, происходит издалека, из Америки и Австралии, то мы не должны удивляться, если наши клетки не сохраняют своего прежнего типа, и даже мозговые клетки будут оплодотворяться до известной степени чуждыми элементами, что в конечном итоге приведет к смешению и гибели культур. Китаец же, который в маисе и рисе постоянно воспринимает клетки своих предков, сохраняет постоянство духа, являющееся беспримерным. (Последний год что-то не так. Не об'елся ли китаец картошек по-московски?! *И. А.*). Этот опыт, проделанный самой природой, ясно доказывает правоту тех, которые утверждают: оставайся на своей кочке и не принимай ничего международного, так как оно несет в себе зародыш смерти» (К. Л. Шлейх, «Сознание и бессмертие». Немецкое издательство, Штутгарт-Берлин, 1920 г., стр. 145. Цитировано по Каммереру).

Что в самом деле можно возразить против этих «сокрушительных» доводов «науки»?! Кинжал профессора Шлейха действительно «попал» в самое сердце материализма и интернационализма.

В приведенных цитатах ярко отразилась вся неизмеримая глубина падения буржуазной мысли. Поистине, бытие определяет сознание. Ища спасения от интернационалистического пролетариата, буржуазия заказывает своим душеприказчикам стряпать «научные теории» против интернационализма. Находятся «ученые», вроде г. Шлейха, бредни которых печатают во всех толстых «научных журналах», хорошо оплачивают. Этим господам поручается воспитание подрастающего поколения в духе ограниченного, плоского мещанства и узкого национализма: биологическая, мол, природа человека требует от тебя: оставайся в своей мещанской ограниченности, не рыпайся, не принимай ничего международного, так как она несет в себе зародыш смерти.

И совершенно понятна позиция известного профессора-биолога П. Каммерера, преследуемого за свои материалистические убеждения, лишенного всякой возможности работать, когда он по поводу этих книг пишет: «Теория Шлейха чрезвычайно характерна для нашего времени, времени, в которое такая смесь фразы, невежества и лжи может быть принята всерьез и найти себе издателей и читателей» (П. Каммерер, «Смерть и бессмертие», ГИЗ, 1925, стр. 47).

Теория Шлейха чрезвычайно ярка и характерна для нашего времени. Такими перлами переполнена современная буржуазная «научная» литература. Взять хотя бы хорошо известного немецкого биолога Плате, преемника знаменитого Геккеля по кафедре зоологии в Иенском университете. Осенью 1925 года он осчастливил мир вторым изданием своей книги о трансформизме («Die Abstammungslehre»). В трех новых главах, специально написанных для нашей бурной эпохи, автор между прочим затрагивает некоторые социологические проблемы в их связи с биологией. Выводы, к которым приходит автор, не отличаются от шлейховских: они, может быть, бледнее по форме, но зато ярче по своей бесстыдной циничности, ограниченной тупости и зоологическому людоедству. Приведу пару цитат. Разбирая противников теории трансформизма, Плате пишет: «Гораздо более серьезны те противники, которые отвергают теорию трансформизма из религиозных оснований, ибо, во-первых, они влияют своим количеством, а, во-вторых, нужно добавить, что религия—величайшее благо, которое должно быть сохранено для нашего народа, ставшего негодяем (Verlumpten Volke) благодаря революции» («Die Abstammungslehre», 1925, S. 156).

Для обуздания «взбунтовавшихся негодяев» богобоязненный естествоиспытатель патетически предлагает внедрение в широкие народные массы духа покорного преклонения перед всемогуществом бога, в руки которого «мы, дети господни, преисполненные доверия к нему, вручаем свою судьбу» (S. 156). Но этого мало. Преклонение перед богом не всегда дает буржуазии непосредственные выгоды. Умирающей буржуазии нужны наличные. И ее адвокат Плате бьется из сил, чтобы доказать, что современная биология требует преклонения не только перед богом, но и перед господствующей аристократией. Плате пишет: «Необходимо по-

казать молодежи, что верно не демократическое учение о принципиальном равенстве, как проповедует народам на тысячи ладов еврейство (так и пахнет зоологическим садом! Не даром автор—маститый зоолог. Где до такого библейского стиля нашим доморощенным Пуришкевичам с их суконным рылом! *И. А.*), но аристократический принцип, по которому имеют право выживать наиболее дельные» (там же, S. 156).

Следует ли добавить, что по мнению погромщика профессора, «наиболее дельными» является правящая группа мародеров и спекулянтов, а отнюдь не «народ-негодяй».

«Научные» исследования, подобные вышеприведенным, за последние десятилетия сыплются, как из рога изобилия, и не ограничиваются одной только биологией. В теоретической физике, напр., с самого недавнего времени отмечаются попытки воскресить старую лейбницевскую монадологию, превратив «видимые» атомы и электроны в непротяженные, вневременные и внепричинные монады или, так называемые, силовые центры Босковича.

II.

Философия и естествознание.

Некоторые товарищи, увидев этот поход лжи, метафизики и чертовщины на творческую мысль, не на шутку перепугались. Чтобы спасти результаты колоссальных успехов естествознания за прошлое материалистическое столетие от разгрома со стороны пробуждающейся вненаучной реакции и обеспечить за наукой ее дальнейшее успешное движение вперед, они об'явили контрпоход, но не только против метафизики и идеализма, но и против философии вообще, в особенности, философии в естествознании. Отрицая за философией всякое научное значение, одни из них метнулись в сторону чистого эмпиризма, другие—в сторону голого механизма, сами не замечая того, что становятся таким путем на сторону чистейшей метафизики.

Отвергая философию, они вместе с тем должны отвергнуть и самые крупные научные достижения последнего времени. Возьмем, хотя бы тот же самый дарвинизм. Не трудно видеть, что он не относится исключительно к биологии в тесном смысле слова, а в такой же мере относится к философии. Дарвинизм не только биологическое учение, а *философско*-биологическое. Отбросьте философскую сторону дарвинизма, и у вас останутся одни тощие примеры из жизни животных и растений, но никакой теории эволюции не будет. То же самое можно сказать и о других областях естествознания.

В старом предисловии к «Анти-Дюрингу» Ф. Энгельс пишет:

«Эмпирическое естествознание накопило такую необ'ятную массу положительного материала, что необходимость систематизировать его в каждой отдельной области исследования и расположить с точки зрения внутренней связи стала неустранимой. Точно так же стало неизбежным привести между собою в правильную связь отдельные области познания. Но, занявшись этим,

HOOVER LIBRARY

естествознание попадает в теоретическую область, а здесь методы эмпиризма оказываются бессильными, здесь может оказать помощь только теоретическое мышление. Но теоретическое мышление является прирожденным свойством голько в виде способности. Она должна быть развита, усовершенствована, а для подобной разработки не существует до сих пор никакого иного средства, кроме изучения истории философии» (Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. II, стр. 125).

Вынужденные стихийно заниматься философией, но игнорируя ее и не имея твердой философской точки зрения, современные естествоиспытатели, по выражению Энгельса, довольно нередко впадают в плен самой скверной философии и оказываются «беспомощными жертвами старой метафизики» (Там же, стр. 127).

Разноголосица во многих вопросах естествознания происходит, конечно, не от того, что одни признают конкретные факты, а другие их отрицают. Опыты можно проверять, повторять сколько угодно раз. Споры начинаются, как только приступают к об'яснению фактов и начинают делать общие выводы. Самый важный и кардинальный вопрос заключается в том, какое об'яснение дается явлению. Современники Дарвина не хуже его знали анатомию, эмбриологию, морфологические и физиологические особенности органического мира, в такой же степени как и он, видели целесообразные приспособления к окружающей обстановке отдельных органов и всего организма. В признании этих фактов между Дарвином и современной ему наукой никаких разногласий не могло быть. Но колоссальная пропасть вырастает между ними, как только Дарвин переходит к об'яснению явлений. Современная ему наука об'ясняет происхождение видов первоначальным актом творения, Дарвин же, отвергая всякие чудеса, ищет об'яснения явлений в законах природы.

Стало быть, наша задача не в том, чтобы хлять направо и налево *всякую* философию. Отвергая метафизические и поповско-идеалистические «научные» догмы, мы должны, если хотим не только описывать явления, но и действительно владеть ими и изменять их согласно нашим желаниям и целям, последовательно проводить нашу диалектическую и материалистическую точку зрения во все области человеческого знания.

Это стремление к обобщениям и охвату всех отраслей науки единым методом диалектического материализма также вызывает много толков. Раздаются голоса, что, идя таким путем, марксизм вырождается в догму, в своеобразную метафизическую систему. Марксистское мировоззрение отождествляется в данном случае с метафизикой.

Действительно ли так обстоит дело? Нет ли в самом деле никакого различия между метафизикой и марксизмом, поскольку последний является законченной системой взглядов на общество и природу, поскольку он стремится об'единить свои взгляды в единое целое? Остановимся на этом вопросе.

Характерной особенностью метафизических систем являются их вечные, абсолютные истины, отличающиеся довольно резко друг от друга у каждого автора системы. Каждый метафизик уверен, что только ему одному благодаря необ'яснимой счастливой случайности удалось открыть эту неотразимую абсолютную

правду, не зависящую ни от времени, ни от пространства. Все то, что открыто другими, по его мнению, не истинно, или, в лучшем случае, не имеет значения.

Тов. А. Деборин пишет: «Каждый философ строил себе такую систему, будучи глубоко убежден в том, что именно ему удалось «схватить» безусловное, абсолютное и адэкватно выразить его в окончательной форме в понятиях и истинах, имеющих якобы вечную значимость» (Сб. «Воинствующий Материалист», кн. V, 1925 г., «Материалистическая диалектика и естествознание», стр. 10).

Каждый метафизик глубоко уверен, что, если бы он имел счастье родиться лет тысячу тому назад, он и тогда уже открыл бы ту же систему абсолютных истин и избавил исстрадавшееся человечество от тысячи лет лишних страданий. Если бы, к примеру, берлинский профессор Карл Людвиг Шлейх родился не в Берлине, а в Мадриде, и не в конце девятнадцатого столетия, а, примерно, в тринадцатом или четырнадцатом, он тогда уже открыл бы и сразу же сообщил главному инквизитору свою абсолютную истину о недопустимости сжигания живьем на кострах и спас бы не одного еретика. А если, паче чаяния, инквизиция его не послушалась бы, он не остановился бы перед тем, чтобы возвестить миру открытую им тогда же вторую абсолютную правду. И трудно представить себе, что случилось бы тогда! Когда костры разгорелись бы настолько, что еретические «ступни не могли бы больше прикасаться к ним, то у них явилась бы возможность образования крыльев». Еретики превратились бы в крылатых, а то, может быть, даже в аэропланы и спокойно улетели бы от казни.

Диалектика не мирится с абсолютными истинами. Диалектика их совершенно отрицает. Ф. Энгельс, резко высказываясь против вечных истин, декретируемых метафизиком Дюрингом, пишет:

«Если бы человечество пришло когда-нибудь к тому, чтобы оперировать одними только вечными истинами, с результатами мышления, имеющими суверенное значение и абсолютное притязание на истинность, то оно бы дошло до того пункта, где бесконечность интеллектуального мира оказалась бы реально и потенциально исчерпанной» (Ф. Энгельс, «Анти-Дюринг», перевод М. Е. Ландау, III изд., «Московский Рабочий», 1924 г., стр. 101).

Метафизическая система, пытаясь заменить собою все отрасли науки и дать универсальную концепцию мира, исходит из одного только определения, принимаемого за аксиому. Из этого одного определения выводится вся система логическим путем. Опыт при этом никакой роли не играет. Если какой-нибудь факт подтверждает выводы философа, он милостиво принимается или, если факты говорят против системы, тем хуже для фактов. При этом, конечно, формальная логика и аналогия играют исключительную роль. Все, что выходит за рамки формальной логики и аналогии, отбрасывается, как несоответствующее действительности. Насколько далеко может завести игнорирование фактов и злоупотребление аналогией показывает натурфилософия Окена. Стоит только привести трактовку половой «биологии» этого натурфилософа.

«В самом истинном смысле слова,—пишет он,—женский элемент устроен подобно пищеварительной, а мужской подобно дыхательной системе. С органической точки зрения женщина—живот, а мужчина—грудь».

«Здравый смысл» давал им возможность нередко решать «логически» самые трудные проблемы эволюции. Вот рассуждения того же Окена о происхождении человека и животных:

«Все животные произошли в воде; а именно, у берегов, не в средине моря и не в средине суши. Прилив выбросил первых людей. Они жили на берегах и питались, без сомнения, мясом, как и теперь еще питаются дикари. Да и откуда они могли бы получить плоды, капусту и репу?»

Диалектика с первых шагов своего возникновения повела смертельную борьбу против старых метафизических систем.

Тов. А. Деборин пишет: «Развитие диалектического метода в новейшей философии, начиная с первых элементов его в построениях Канта, знаменовало собою преодоление старых метафизических систем, метафизического метода и формальной логики. У величайшего диалектика Гегеля метод получает преобладание над системой. Диалектика не мирится с метафизическим пониманием действительности, в том числе и с абсолютным характером законов формальной логики. Диалектика «отменяет» метафизические системы» (Указанная работа, стр. 10).

Но сам Гегель не порвал с метафизикой. Свою диалектику он связывал со своей ультраидеалистической и метафизической системой, в которой исключительную роль играет а б с о л ю т н а я и д е я.

Марксизм совершил операцию и над Гегелем, которая оказалась смертельной для его идеалистической и метафизической системы, но спасительной для диалектики. Ибо «диалектика столь же мало мирится с идеализмом, сколь и с метафизикой в смысле учения об абсолютных истинах» (А. Деборин). Ошибка Гегеля состояла в том, что законы диалектики не выведены им из природы и общества, а навязаны последним, как законы мышления.

«Отсюда,—говорит Ф. Энгельс,—вытекает вся вымученная и часто ужасная конструкция: мир—хочет ли он того или нет—должен согласоваться с логической системой, которая сама является лишь продуктом определенной ступени развития человеческого мышления. Если мы перевернем это отношение, то все принимает очень простой вид, и диалектические законы, кажущиеся в идеалистической философии крайне таинственными, немедленно становятся простыми и ясными» (Архив, кн. II, стр. 221).

Диалектический материализм покоится на несокрушимой основе об'ективного мира, был выведен из него, а не привнесен извне, из головы. Выведенный из конкретной действительности, он, будучи применен к дальнейшему изучению природы и общества, не остается пассивным зрителем наших экспериментов, но активно вмешивается в опыт, озаряет его новым светом, тем облегчает его изучение. Т о ч к а з р е н и я, м и р о в о з з р е н и е играет колоссальную роль не только в социальных науках, но и в экспериментальных.

III.

Предмет метафизики. Метафизика и критицизм.

В предисловии к энгельсовскому «Людвигу Фейербаху» Плеханов следующим образом определяет метафизику:

«Что такое метафизика? Каков ее предмет?

Ее предметом служит так называемое безусловное (абсолютное). А какова главная отличительная черта безусловного? Неизменность. Оно и неудивительно: безусловное не зависит от обстоятельств (условий) времени и места, видоизменяющих доступные нам конечные предметы, поэтому оно и не изменяется. А какая главная отличительная черта тех понятий, с которыми оперировали и оперируют люди, называемые на языке диалектики метафизиками? Отличительная черта этих понятий тоже заключается в неизменности, как это мы видим на примере Линнеева учения о виде. Эти понятия по-своему тоже безусловны. Значит, их природа тождественна с природой понятия о безусловном, составляющем предмет метафизики. Поэтому Гегель и назвал метафизическими все те понятия, которые вырабатываются (по его терминологии) рассудком, т.-е. которые принимаются за неизменные и отделенные одно от другого непереходною пропастью» (стр. 25 и 26).

Точно так же понимают метафизику Энгельс, Маркс, Ленин. Вот что пишет Энгельс в «Анти-Дюринге» по интересующему нас вопросу:

«Для метафизика вещи и отражения их в уме, понятия, представляют собою обособленные твердые, неизменные, раз навсегда данные об'екты исследования, подлежащие рассмотрению один вслед за другим и один без другого. Его мышление вращается исключительно в непосредственных противоположностях: его слова: да—да, нет—нет, а что сверх этого, то от лукавого. Для него всякая вещь либо существует, либо не существует: точно так же вещь не может быть сама собой и в то же время иной. Положительное и отрицательное абсолютно исключают друг друга, точно также между причиной и следствием существует постоянная противоположность» («Анти-Дюринг», стр. 30).

Метафизик никогда не сомневается, что сущность предмета может быть изучена, может быть познаваема человеком. Для него «субстанция с ее акциденциями»—не суб'ективные формы мысли, перенесенные из головы на изучаемый предмет, а настоящие, об'ективно существующие формы самого предмета. Метафизики не поднимали кантовского вопроса «вещи в себе». Они были уверены, что все предметы в мире являются предметами для нас. Иначе и не могло быть. Рационалистическая метафизика выросла на почве нарождающегося капитализма, беспощадно рвавшего свои старые узы с феодализмом, папством и реакцией средневековья. Она является прямой наследницей великих открытий и смелых дерзаний начала нового времени. Окрыленная успехами техники, подстегиваемая молодым и бурно стремительным капитализмом, она не ставит пределов своим собственным стремлениям. Ей совершенно чужда мысль, что перед человеческим сознанием могут когда-нибудь оказаться какие-то

непостижимые вещи. В этом пункте метафизика имеет несомненное преимущество перед более поздним критицизмом, поставившим искусственный предел нашему практическому знанию («вещь в себе»), хотя в остальных вопросах далеко уступает ему.

В «Диалектике природы» Энгельс по этому поводу пишет: «Утверждение, что мы неспособны познать вещь в себе (Heg., Enz. § 44), во-первых, переходит из науки в область фантазии, во-вторых, ровно ничего не прибавляет к нашему научному познанию, ибо, если мы не способны заниматься вещами, то они не существуют для нас, и, в-третьих, это—голая, никогда не применявшаяся, фраза. Абстрактно говоря, оно звучит вполне вразумительно. Но пусть попробуют применить его. Что думать о зоологе, который сказал бы: собака имеет, кажется, четыре ноги, но мы не знаем, не имеет ли она в действительности четырех миллионов ног, или вовсе не имеет ног? О математике, который сперва определяет треугольник, как фигуру с тремя сторонами, а затем заявляет, что не знает, не обладает ли он 25 сторонами? 2×2=, кажется, 4. Но естествоиспытатели остерегаются применять фразу о вещи в себе в естествознании, позволяя ее себе только тогда, когда заглядывают в область философии. Это лучшее доказательство того, как несерьезно они к ней относятся, и какое ничтожное значение она имеет сама по себе. Если бы они относились к ней серьезно, то à quoi вообще изучать что-нибудь? С исторической точки зрения проблема эта может иметь известный смысл: мы можем познавать только при данных нашей эпохой условиях и настолько, насколько эти условия позволяют» (11 стр.).

В том же духе высказывается и Гегель. Отрицая метафизику, как метод, бессильный прибавить что-нибудь положительное к нашим знаниям, кроме нескольких ничего не говорящих тождеств, он в разрешении вопросов о познаваемости мира все-таки ставит ее выше критицизма. В «Малой Логике» Гегель пишет: «В обыденной жизни... мы размышляем в полной уверенности, что наша мысль согласуется с предметом, и эта уверенность имеет большую важность... Критическая философия, напротив того, пришла к неутешительному результату, что наше знание имеет одно суб'ективное значение, и что над суб'ективным мнением не возвышается ничего положительного... Все предметы внешнего и внутреннего мира, вообще все об'екты, постигаются мыслью так, как они суть в самих себе; другими словами, что мысль есть истина всех предметов. Это безотчетное убеждение философия должна сделать сознательным убеждением» (§ 29).

Таким образом, мир для метафизика дан от века; предметы, наполняющие его, вполне познаваемы, но неизменны в своей сущности, постоянны в своих формах. Такое представление о мире есть удел не только старой философии,—от этого недуга до настоящего времени не может все еще излечиться и естествознание. В средине прошлого столетия Дарвину и его последователям стремительным ударом удалось опрокинуть линнеевское метафизическое представление о виде, но за последнее время, с попытками воскресения витализма, появились некоторые попытки гальванизировать и метафизику. Взять хотя бы «учение»

некоторых генетиков об абсолютной неизменяемости половых зачатков или, так называемых, генов. Уже одна только подобная постановка вопроса показывает, насколько метафизика еще дает себя сильно чувствовать в биологии. В этом отношении очень характерна теория «развития» голландского ботаника Лотси. Незадолго до империалистической войны он опубликовал работу, в которой опровергает дарвинизм, выставляя вместо него свое собственное «открытие».

«По моему мнению,—пишет Лотси,—раз образовавшиеся виды постоянны, и мы не знаем в настоящее время ни одного вида, который мог бы образовать в себе новые зачатки. Новые виды возникают лишь путем скрещивания, так как при этом образуются новые комбинации уже имеющихся у родительских форм зачатков» (И. Лотси, «Опыты с видовыми гибридами»,—«Новые идеи в биологии», сб. IV, 1914 г., стр. 123).

По Лотси выходит, что вместе с возникновением организмов на земле сразу возникли абсолютно все наследственные зачатки, которые продолжают жить в разных комбинациях неизменными и по сей день. Все населяющие землю формы сложились постепенно путем одних лишь комбинаций генов. А так как первая новая комбинация зачатков могла возникнуть только после соединения двух групп генов, т.-е. после первородного греха, то ясно, почему Лотси так «убедительно» уверяет, что прогрессивная эволюция организмов могла начаться только с того момента, когда появилось половое размножение. Утверждая, что развитие видов происходит исключительно благодаря различным комбинациям зародышевых единиц и отрицая всякую возможность появления новых признаков путем изменения, Лотси по существу отрицает и всякую эволюцию: все дано при первом акте творения. Возникновение нового качества есть только выявление того, что уже существовало.

IV.

Метафизический и диалектический метод изучения природы. Метафизика и конкретность.

Эпоха, родившая великие метафизические системы, определила не только их положительную сторону,—эта эпоха питала также и крупнейшие, хотя и исторически неизбежные, ошибки и недостатки этих систем.

Открытие морского пути вокруг Африки и в Индию, открытие Америки, первые кругосветные путешествия обогатили человечество таким огромным новым научным материалом, что понадобилось значительное количество лет, чтоб в нем разобраться. Необходимо было весь этот материал разбить на группы, рассортировать, отделить существенное от несущественного, выделить определенные классы, тщательно исследовать в отдельности каждую вещь, каждую мелочь. Без этой предварительной, кропотливой работы, без этого анализа немыслим был бы гигантский культурный прогресс последующих веков. Но эта работа оставила надолго привычку рассматривать предметы и процессы в их обособленности, вне их великой и сложной связи с остальным миром, не в жизни, а в смерти.

Такой взгляд на мир привел к специфической ограниченности. Понадобился такой отрезвляющий подзатыльник, как Великая Французская Революция, чтобы расшевелить застоявшиеся мозги, расширить кругозор и научить смотреть на мир не с точки зрения традиционного, так называемого, здравого смысла, а так, как он есть на самом деле. Идеи эволюции и диалектики стихийно, большей частью независимо и даже против воли самих, так называемых, двигателей прогресса, проникают во все области знания. Нет ни одного более или менее крупного открытия и изобретения, в котором не обнаружился бы с достаточной ясностью этот естественный закон.

«Природа,—пишет Энгельс,—служит пробным камнем для диалектики, и мы должны быть благодарны современному естествознанию за то, что оно доставило для этого испытания обильный и с каждым днем все разрастающийся материал и тем самым доказало, что в природе все совершается в конечном счете диалектически, а не метафизически. К сожалению, до сих пор можно по пальцам пересчитать естествоиспытателей, научившихся мыслить диалектически; этим противоречием между найденными результатами и традиционным методом мышления объясняется безграничная путаница, господствующая в настоящее время в теоретическом естествознании и приводящая в отчаяние как учителей, так и учеников, как писателей, так и читателей» («Анти-Дюринг», стр. 22).

Бессилие метафизики заключается в ее пассивности, в неумении охватить изучаемый предмет во всех его связях с остальным миром, в стремлении об'ять бесконечный мир ограниченными мерками здравого смысла, в совершенном игнорировании и непонимании законов развития. Всякое истинное познание имеет две фазы развития—аналитическую и синтетическую. Разложение предмета на его составные части, отвлечение отдельных его свойств, подробное изучение каждой части и каждого свойства решительно ничего не прибавят к нашему цельному пониманию изучаемого предмета, если мы эти отдельные части и свойства не свяжем воедино, не изучим во всей их конкретности, в практике. Анализ и синтез не только не исключают друг друга, но тесно, неразрывно связаны между собою, как две стороны одной и той же медали.

Наши современные достижения во всех областях науки, напр., наше убеждение в сохранении материи, энергии, наше об'яснение жизненных процессов из всеобщих законов материи, совершенно невозможны были бы без применения этих двух сторон единого метода исследования природы.

Борьба Гегеля против метафизики есть фактически борьба за метод.

Метафизическое мыслетворчество происходит приблизительно следующим образом: от созерцания предмета составляется определенное представление о нем, затем отыскивается в голове какое-нибудь готовое сказуемое, которое и переносится на созерцаемый предмет. Метафизик убежден, что он таким путем достиг высшего знания, знания абсолютного. Он не замечает, что ни

на шаг не продвинулся вперед, что таким методом совершенно невозможно исчерпать изучаемый предмет. Всякое определение по существу своему может иметь только ограничительное значение, оно зависит от ограниченной цели, поставленной нами при исследовании предмета, и потому не может исчерпывающе его об'яснить. У. В. И. Ленина мы находим чрезвычайно важное место по интересующему нас вопросу. В дискуссии о профсоюзах, давая некоторым своим оппонентам наглядный урок диалектики, он говорил:

«Стакан есть, бесспорно, и стеклянный цилиндр, и инструмент для питья. Но стакан имеет не только эти два свойства, или качества, или стороны, а бесконечное количество других свойств, сторон, взаимоотношений и «опосредствований» со всем остальным миром. Стакан есть тяжелый предмет, который может быть инструментом для бросания. Стакан может служить, как пресс-папье, как помещенье для пойманной бабочки, стакан может иметь ценность, как предмет с художественной резьбой или рисунком, совершенно независимо от того, годен ли он для питья, сделан ли он из стекла, является ли форма его цилиндрической или не совсем и так далее и тому подобное.

Далее. Если мне нужен стакан сейчас, как инструмент для питья, то мне совершенно не важно знать, вполне ли цилиндрическая его форма и действительно ли он сделан из стекла, но зато важно, чтобы в дне не было трещины, чтобы нельзя было поранить губы, употребляя этот стакан и т. д. Если же мне нужен стакан не для питья, а для такого употребления, для которого годен всякий стеклянный цилиндр, тогда для меня годится и стакан с трещиной в дне или даже вовсе без дна и т. д.» («Речь о профсоюзах», том XVIII, ч. 1, стр. 59 и 60).

Этим примером тов. Ленин показывает, что каждый предмет входит в бесконечное число отношений с внешним миром, что эти отношения неисчерпаемы. Для практики, для действия мы ограничиваем связи предмета и выдвигаем только определенные «опосредственности», соответствующие поставленной нами цели, а на остальное бесконечное число связей мы никакого внимания не обращаем.

Метафизик же хочет простым определением исчерпать бесчисленные отношения, хочет об'ять необ'ятное. Гегель пишет: «Содержание сказуемых ограничено и очевидно уже, что оно несоразмерно богатству наших представлений о предметах, которые оно должно выражать» (Энциклопедия, § 29). В этом он видит первый недостаток метафизики и прибавляет: «Восточные народы хотели избежать первого недостатка, давая богу много имен, но число этих имен долженствовало быть бесконечно». Ум не удовлетворялся ни одним из этих конечных определений. Желая проникнуть в сущность души и ставя себе вопрос: есть ли душа простое или сложное существо, метафизика занималась явно безнадежным делом, ибо такая постановка вопроса заранее отделяет непроходимой пропастью простое от сложного, предполагает, что простое существо исключает из себя сложность и существует независимо, раздельно от нее. Метафизика строит свои понятия на здравом смысле, на рассудке. Рассудок же принимает отдельные отвлеченные части целого за самостоятельные

определения, а если и связывает их, то чисто внешним образом, механически, ставя одно рядом с другим, но не совмещая их в конкретном единстве. Получается в лучшем случае искусственная, механическая связка, но не конкретная целость, не живое, активное единство. Ни механическое сложение костей, хрящей, мышц, тканей и т. д., ни химическое сложение элементов не составляет еще животного.

Для того, чтобы придать своей вещи, как совокупности замкнутых монад, не имеющих окон вовне, хоть видимость конкретной вещи, Лейбниц вынужден был совершить чудо. А так как обыкновенным смертным такие занятия не рекомендуются, вследствие их безнадежной невозможности, то Лейбниц вынужден был пригласить себе на помощь единственное существо, способное совершать чудеса—бога. Лейбниц посадил его на место капельмейстера, вручил ему дирижерскую палочку и заставил торжественно произнести сакраментальное «да будет» гармония! И хотя после этого бог немедленно удалился, все же отсутствующая гармония настала между монадами, т.-е. вещами, по лейбницевской же теории, совершенно не гармонирующими. Великий метафизик прекрасно понимал, что механическая связь не есть живое, активное единство, обязательное для каждой вещи. Нужно было отказаться от системы замкнутых монад или допустить чудо. От сущности своего учения Лейбниц отказаться не мог, и он изобрел гипотезу предустановленной гармонии.

Линней, много потрудившийся для установления близкого сродства между организмами, застыл на полпути. Он искусно разоблачил связь между живыми существами, но не мог открыть причины этой связи, ибо на свои группы он смотрел глазами метафизика и не видел в них живой, активно действующей жизни.

Не только биология, но и все естествознание прошло через эту стадию метафизического понимания природы. Химия, принимавшая абсолютную устойчивость и неделимость атома, принципиально ничем не отличалась от старой биологии, которая утверждала устойчивость видов.

«Еще лет десять назад,—говорит в 1905 году Дж. Дарвин в своей речи на с'езде британской ассоциации в Кэптауне и Иоганнесбурге,—разнородность существа химических элементов принималась химиками как окончательный факт, да и самое название «атом», т.-е. неделимое, давалось предполагаемой конечной неделимой доле материи. Таким образом, химик шел здесь в значительной степени тем же путем, что биолог, который, изучая эволюцию, принимает виды в качестве некоторых своих рабочих единиц. Поэтому до недавнего времени химик имел дело с рабочими моделями материи атомистического строения, и обширное здание современной химии было выстроено из атомных кирпичей» (Цитир. из сборника «Философия науки», часть II, стр. 91, ГИЗ, 1923 г.).

Есть и в наше время любители метафизики, искатели камня мудрецов не только в философии, но и в естествознании. Возьмем хотя бы вопрос об упомянутых нами наследственных зачатках, так называемых, генах или факторах. Представители самого крайнего менделистического направления пытаются уверить, что

эти наследственные единицы в живом организме ничем не связаны, самодовлеющи, неизменны, не восприимчивы ни к каким изменениям среды и ведут свое застывшее начало чуть ли не с яичника нашей прабабушки Евы. И такая метафизика поддерживается и защищается в двадцатом веке после опытов Резефорда, наглядно показавшего разложимость атомов! Что же говорить о чрезвычайно сложном белковом веществе, самая важная сущность которого заключается в непрерывном распаде и восстановления на счет поступающего извне материала?! Старая уверенность метафизиков в обособленности и неизменяемости видов заменяется новой метафизической верой в обособленность и неизменяемость наследственных зачатков.

Насколько важно изучать явления в их общей динамической связи, а не изолированно, показывает учение о взаимодействии рефлексов. Еще в семидесятых годах прошлого столетия Фрейберг доказал, что два одновременных раздражения, действующих на один центр, взаимно усиливают друг друга, одновременные раздражения на разные центры угнетают друг друга. Исследование каждого из данных рефлексов в отдельности дало бы неверные результаты.

Еще более интересны с точки зрения разбираемого вопроса выводы Мерцбахера из опытов одновременного раздражения кожи и сетчатки глаза на движение ноги. Выводы эти следующие: 1) одновременное действие зрительного и осязательного раздражения вызывает бо́льший эффект, чем действие одного из этих раздражений в отдельности, при чем эффект одновременного действия двух раздражений превышает даже сумму рефлекторных эффектов, наблюдаемых при действии каждого раздражения в отдельности, 2) когда сила обоих раздражителей незначительна, так что в отдельности ни тот, ни другой не дают никакого результата, то при одновременном действии тех же раздражителей можно получить рефлекс, 3) при усилении одного из раздражителей чувствительность к другим раздражениям повышается (И. Арямов, «Общие основы рефлексологии»).

Бессилие метафизического метода при изучении подобных явлений очевидно. Этих явлений никак не понять, если их изучать изолированно, одно независимо от другого.

V.

Догматизм.

Метафизическое изучение изолированных вещей в природе неизбежно должно привести к догматизму, не допускающему противоположных утверждений. Закон противоречия старой аристотелевской логики лежит в основе метафизического догматизма, как абсолютная истина, и решительно восстает против мысли, что вещь одновременно является сама собой и чем-то другим.

Гегель пишет:

«Догматизм всегда допускает только одно из двух противоположных определений, напр., что мир или конечен или бесконечен, но необходимо то и другое. Истинная, спекулятивная

мысль не имеет только одностороннего определения и не исчерпывается им; она есть цельность и совмещает те определения, которые догматизм признает законченными и истинными, в их раздельности.—В этом состоит различие догматической философии от спекулятивной»... «Рассудочная метафизика есть догматизм, потому что она держится неполных определений мысли и берет их в их раздельности. Спекулятивная философия есть идеализм, потому что она признает за правило, что всякая мысль должна быть цельною и совмещать односторонние и отвлеченные определения рассудка. Так, напр., спекулятивная философия признает, что душа не есть не только конечное, не только бесконечное существо, но что она необходимо и конечна и бесконечна; другими словами, что эти определения несостоятельны в их раздельности и получают свое истинное значение, только как моменты целого. Мы допускаем это уже в обычном сознании. Так, мы говорим, что чувственные вещи изменчивы, т.-е. что они совмещают определения бытия и небытия.

Нам труднее допускать то же самое относительно определений рассудка. Нам кажется, что эти определения мысли несовместимы, что они разделены бесконечною бездною и не могут сойтись. Разум должен примирить эти противоположные определения, которые рассудок признает несоединенными» («Энциклопедия», § 82, стр. 58, 59).

Отвергая несовместимые утверждения, метафизика считает, что ум может об'единить противоречия только случайно, вследствие ошибочных выводов и рассуждений. Кант доказывал, что односторонним выводам метафизиков можно противопоставить с таким же правом и такой же необходимостью столь же доказанные, но совершенно противоположные выводы, что мысль по необходимости впадает в противоречия—антиномии, как только пытается проникнуть в тайны безусловного, абсолютного. Кантовские антиномии отбросили односторонний метафизический догматизм, но сам Кант остановился на полпути. Во-первых, потому, что ограничил число антиномий четырьмя, во-вторых, потому, что считал, что противоречие не может быть свойственно предмету, не может касаться субстанциональной сущности мира, а есть принадлежность только разума.

Гегель считает такое разрешение вопроса поверхностным: «Существует не четыре только антиномии, заимствованные из мира, они находятся во всех предметах, какого бы рода они ни были, во всех представлениях, понятиях и идеях. Признать это начало и узнать это свойство в вещах—составляет существенный предмет философского исследования; это самое свойство образует диалектический момент логической мысли» («Энциклопедия», стр. 90).

Второе положение Канта, о том, что противоречие свойственно не предмету, а разуму, также отвергается Гегелем. Он пишет:

«Ощущали какую-то нежность к миру, думали, что противоречие было бы для него пятном, и что его следует приписать разуму, сущности духа. Не трудно согласиться, что дух находит противоречия в мире явлений, т.-е. в мире, как он представляется суб'ективной мысли, ощущению и рассудку. Но если сопоставить сущность мира и сущность духа, нельзя удивиться

тому добродушию, с которым смиренно утверждают, что не сущность мира, а сущность мысли, разум, содержит противоречие («Энциклопедия», § 48, стр. 89).

Из кантовских антиномий Гегель делает следующий вывод: «Истинный и положительный результат, вытекающий из антиномий, есть тот, что все существующее содержит в себе противоположные определения, и потому понять предмет, значит—узнать противоположные определения, содержащиеся в единстве предмета» (там же, стр. 91, § 48).

В «Науке логики» ту же мысль Гегель высказывает следующим образом: «Противоречие есть корень всякого движения и жизненности, оно движется, обладает побуждением и деятельностью» (Вторая книга, 1 часть).

Метафизик считает, что вещь не может быть одновременно сама собой и чем-то другим, между тем естествознание доказало, особенно за последние десятилетия, что в природе нет ни одного конкретного тождества, не содержащего в себе различие, перемену. Открытия в области строения вещества, эволюция атомов, этих «абсолютных» единиц материи, показывают, что нет ни одного тела, которое не было бы постоянно подвержено механическим, физическим или химическим воздействиям, производящим в нем непрерывные изменения, модифицирующим его тождество.

Особенно явно восстает против формальной логики и, так называемого, здравого смысла биология. Человек, как и все остальное в мире, живет в определенной среде, не может выскочить из нее. Бесчисленное множество раздражений, падающих на него извне, из этой среды, не проходят бесследно через него, как через проходной двор, а оставляют неизгладимые следы, беспрерывно меняя, перестраивая весь его организм. Человеческий опыт не есть абстрактное, метафизическое уменье приспособляться к внешнему миру, к социальной среде, которому человек научается с годами, а более или менее глубокие изменения, непрерывно происходящие в нервной системе, а вместе с нею во всем организме, под влиянием постоянно действующих физических и социальных раздражителей. Воздействуя на природу, человек изменяет не только природу, но и самого себя (Маркс). Живой организм есть непрерывно действующий и реагирующий организм, а действовать и реагировать значит изменять самого себя. После каждого нашего вздоха, малейшего движения, глотка воды, каждого произнесенного слова—мы уже буквально не те, которыми были до того. Многочисленные опыты убедительно доказывают это. Всем известно, что частота пульса уменьшается во время покоя, сна, увеличивается после приема пищи, после физической работы, при переходе от горизонтального положения к вертикальному. Об'ем наших органов непрерывно меняется. Он увеличивается, когда в артерии поступает добавочное количество крови, уменьшается, когда этот избыток вытесняется через капилляры в венозную систему. Постоянная ассимиляция и диссимиляция, т.-е. восстановление и распад, есть обязательный процесс, без которого нельзя мыслить ни одно живое существо. Длительная работа меняет состав крови, изменяет стенки сосудов. Действия температурных условий всем известны. Можно смело сказать—и это не будет парадокс,—что организм только тогда живет, когда он одновременно живет и умирает. В живом организме жизнь и смерть тесно связаны между собой.

Но в практической нашей деятельности мы привыкли иметь дело с предметами, удовлетворяющими как будто бы требованиям формальной логики. Если бы у нас не было уверенности, что завтра мы встретимся с т е м и же предметами, которые оставили сегодня, никакая разумная действительность не была бы возможна. Мы бы действовали от случая к случаю, совершенно не обогащая нашего опыта. В ежедневной д о м а ш н е й нашей работе некоторую роль действительно играет рассудок. Вот, что по этому поводу пишет в «Диалектике природы» Ф. Энгельс:

«Как и все метафизические категории, абстрактное тождество годится лишь для д о м а ш н е г о употребления, где рассматриваются незначительные отношения или короткие промежутки времени; границы, в рамках которых оно пригодно, различны почти в каждом случае и обслуживаются природой того об'екта, к которому его применяют,—в планетной системе, где для обыкновенных астрономических выкладок можно без чувствительной погрешности принимать эллипсис за основную форму, эти границы значительно шире, чем в случае какого-нибудь насекомого, проделывающего свои превращения в течение нескольких недель... Но для синтетического естествознания абстрактное тождество совершенно недостаточно даже в любой отдельной области, и хотя в целом идея о таком тождестве практически теперь отвергнута, но теоретически она все еще властвует над умами, и большинство естествоиспытателей все еще воображает, что тождество и различие являются непримиримыми противоположностями, а не односторонними полюсами, имеющими значение только в своем взаимодействии, во включении различия в тождество» («Архив», кн. II, стр. 37).

VI.

Метафизика и движение. Движение, как основа явлений. Эволюция.

Отрицание абсолютности метафизического закона тождества есть фактическое утверждение эволюционного принципа. Там, где нет противоречий,—нет движения, где нет движения,—нет и развития. Движущаяся материя составляет основу всех явлений природы. Только благодаря движению мы в состоянии познавать об'ективный мир. Не будь движения, не было бы и явлений. Но движение, как известно, есть очевидное противоречие, бытие и небытие в одно и то же время. Это очевидное противоречие и лежит в основе эволюции. На движение, как на противоречие, еще в глубокой древности было указано элейцами. В аристотелевской физике мы встречаем следующие возражения элейца Зенона против движения:

«Относительно движения,—пишет Аристотель,—у Зенона есть четыре логоса, решение которых представляет трудности. Первый о том, что нет движения, ибо движущееся тело прежде, чем достигнуть цели, должно пройти полпути. Второй аргумент называется Ахиллом. Он состоит в том, что самый медленный никогда не будет настигнут в своем движении самым быстрым, ибо нужно,

чтобы преследующий достиг сначала точки отправления преследуемого, так что медленный остается всегда несколько впереди. Третий состоит в том, что движущаяся стрела покоится. Это происходит от того, что он принимает время за сумму моментов. Если не согласиться с этой предпосылкой, то не получается заключения. Четвертый о массах, движущихся по ристалищу в виде равных и параллельных нитей в противоположные стороны, с равною скоростью. Одни от края ристалища, другие с середины. Он думает, что можно заключить о равенстве между двойным промежутком времени и его половиной. Паралогизм заключается в его предположении, что равные величины, движущиеся с равною скоростью, проходят в одно и то же время вдоль одной и той же величины, находится ли она в покое или в движении» («Физика» VI, 9. Цитировано по Таннери, «Первые шаги древне-греческой науки», стр. 245, 246).

Зенон не мог мириться с этим противоречием, лежащим в основе всех явлений природы. Не может же, по его мнению, этот «мудроустроенный» мир содержать в себе такую нелепость, как движение. И старик вынужден был допустить, что причина этого противоречия лежит в наших несовершенных органах чувств. Никакого движения на белом свете нет и невозможно, а то движение, что мы видим, есть просто галлюцинация, обман чувств...

Насколько разуму метафизиков противоречит идея развития, показывает следующее утверждение Декарта:

«Разуму,—пишет он,—одинаково противоречит как то, что более совершенная вещь является следствием менее совершенной, так и то, что нечто происходит из ничего» (Ренэ Декарт, «Рассуждение о методе», Изд. «Новая Москва», 1925 г., стр. 67).

Если нельзя допустить, что «более совершенные» вещи происходят от «менее совершенных», то ясное дело, что ни о каком развитии не может быть и речи, и приходится допустить, что все вещи со всеми их качествами и свойствами даны от века. Основной метафизический принцип природы есть ее статика, но не динамика. Современное же естествознание, наоборот, считает движение основным принципом материи и всех явлений природы. Движение есть твердый фундамент, на котором зиждется вся современная наука. Выбросьте этот фундамент, и все наши величайшие научные достижения превратятся в ничто.

Что осталось бы от наших знаний строения вещества, астрономических знаний, учения о свете, жизненных процессах, всевозможных физических и химических реакциях и т. п., если бы мы отбросили принцип движения?! Еще Аристотель заметил, что отрицание движения делает невозможным изучение природы. В настоящее время наши знания настолько пропитаны эволюционным духом, что трудно себе представить, как могли еще совсем не так давно серьезные исследователи не замечать этого основного принципа всего сущего.

«Эта новая идея эволюции,—говорит в вышеназванной речи Дж. Дарвин,—несла в себе столько света, что когда с ее помощью была подвергнута постепенному новому обследованию вся природа в целом, то выплыли тысячи новых фактов, нашедших свое надлежащее место в ожерелье знания... Я с полным правом

могу утверждать, что общий принцип эволюции прочно сохранил свое место, как одно из навсегда незыблемых приобретений человеческой мысли... В этом отношении между двумя царствами природы существует сходство не только воображаемое» (Сборник «Философия науки», стр. 89).

Эволюцию не нужно понимать, как развитие исключительно по восходящим степеням, от менее совершенного к более совершенному, от простого к сложному. Естествознание дает нам примеры и регрессивной эволюции. Мы предполагаем эволюцию миров от исполинских туманностей, рассеянных на громадном протяжении вселенной, через ослепительные светила и цветущие миры до исходного положения. Мы знаем путь развития индивидуума от одной оплодотворенной клетки через полный силы зрелый организм к дряхлой старости и смерти. Мы знаем эволюцию элементов, их понятное развитие, их распад, их вырождение.

Эти факты следует особенно подчеркнуть в виду того, что среди естествоиспытателей, в особенности среди биологов, имеется не малое количество лиц, стоящих на телеологической точке зрения, утверждающих исключительность прогрессивного развития. Обратное развитие исключает целевую установку природы, и они его отрицают, как отрицал Зенон движение, против которого протестовал его «здравый смысл».

В первую очередь к этим биологам относится довольно солидная группа виталистов (Келликер, Негели, Дриш, Берг и др.), утверждающих вслед за Ламарком и Бэром, что эволюция есть а в т о г е н е з, т.-е. исключительно прогресивное развитие, благодаря свойственному всякому живому веществу стремлению к самосовершенствованию, что эволюция, следовательно, совершенно не зависит от внешних причин, а составляет исключительно органическое свойство живой материи. Также настаивает на прямом прогрессивном развитии и о р т о г е н е з, точка зрения, высказанная впервые Эймером в 1889 и 1895 г.г. В отличие от Дриша, Берга и др. Эймер ищет причины эволюции во внешних воздействиях.

Обе приведенные точки зрения не только не выдержаны с методологической стороны, но противоречат фактам.

Профессор Шимкевич пишет, что исключительно прогрессивное изменение организмов «не совсем вяжется с весьма распространенными в животном царстве явлениями регресса в зависимости от сидячего образа жизни, паразитизма и т. п. Мы можем утверждать, что организму свойственна изменяемость, но направлена она может быть в зависимости от условий как в сторону прогресса, так и регресса» (В. Шимкевич, «Биологич. основы зоологии», т. II, стр. 581, 582).

Виталистам нужна автономность живого вещества, нужно чудо, об'яснить которое можно было бы только «душой» или «жизненной силой», и они изобретают автогенез. Действительность же в чуде не нуждается, и она отвергает его. И совершенно прав тов. Козо-Полянский, утверждающий: «Вовсе не обязательно, чтобы вновь возникшая форма оказалась лучше устроенной, чем первоначальные или родительские. Впрочем, если бы было иначе, если бы всегда возникало только более совершенное, то это было бы таким чудом, которого не удалось бы об'яснить

без «души» или «жизненной силы» («Дарвинизм или естественный отбор», изд. «Северн. Печатник», 1925 г., стр. 45).

Лейбниц также считал, что развитие, порождаемое внутренней целедействующей силой, всегда прогрессивно. Для цельности своей системы он даже утверждал, что индивидуальная смерть есть только этап в прогрессивном развитии особи. Человек, например, после смерти, по Лейбницу, должен превратиться в высшее существо, стать гением, как гусеница превращается в бабочку. Лейбниц даже предполагает по ту сторону человеческой жизни высшие индивидуумы, стоящие по своему развитию между божеством и человеком (см. его письмо к Вагнеру).

Отрицание возможности возникновения в индивидууме изменений, вредных организму в его борьбе за существование, мы находим и в концепциях современных биологов-виталистов. Модный Берг, например, утверждая, что эволюция предопределена извека, что она есть развертывание существующих испокон веков зачатков, фактически утверждает исключительность прогрессивного развития. Он пишет:

«Принимаемый нами постулат изначальной целесообразности живого позволяет излагать учение об эволюции без всякого привлечения каких бы то ни было метафизических предположений виталистических или материалистических» («Номогенез», стр. 14).

«Эволюция в значительной степени предопределена, она есть в значительной степени развертывание или проявление уже существующих зачатков» (там же, стр. 278).

Берг хочет стать над материализмом и витализмом и, как всегда это бывает, погрязает по уши в виталистическом болоте.

Эти две только коротенькие выписки показывают, между прочим, какой традиционный поповско-телеологический дух несется со страниц «Номогенеза».

«Для мутации Берга,—пишет Б. Козо-Полянский,—характерно определенное направление: огромное число особей уклоняется в сторону большей целесообразности, изменяется прогрессивно. А для мутаций де-Фриза и современных генетиков характерно именно отсутствие всякого направления: все свойства варьируют в самых разнообразных и часто—в противоположных направлениях» («Последнее слово антидарвинизма», изд. «Буревестник», 1923 г., стр. 65).

Старую, давно забытую телеологию пытается воскресить не только один Берг. Он находится в довольно теплой компании виталистов и психоламаркистов, среди которых имеется не одно одиозное имя. Стоит упомянуть Эдуарда ф.-Гартмана, Дриша, Негели, Паули, Франса, Рейнке и др.

Последний в 1905 г., когда русский пролетариат совершал свою первую революцию, когда от канонады на Пресне дрожали окна не только в Москве, но и в дворцах буржуазных кварталов кое-каких других столиц,—в это самое время он выпускает свою «Философию ботаники», в которой в туманной «научной» форме пытается доказать существование творца вселенной, без которого, по мнению Рейнке, немыслима целесообразность органических процессов. Ту же мысль проводит он и в своей «Критике эволюционного учения», вышедшей в 1920 г.

«Философия» Рейнке характерна почти для всех идеалистических учений нашего времени, когда, по приведенному уже выражению П. Каммерера, «смесь фразы, невежества и лжи может быть принята всерьез и найти себе издателей и читателей». «Философия» Рейнке чрезвычайно проста и механистична. Животный организм есть машина. Не только процессы этой, так сказать, естественной машины, но и процессы искусственных машин также целесообразны. А так как последние немыслимы без воли и разума инженера-изобретателя и организатора машины, то, стало быть, и жизненные явления немыслимы без космического разума. Вульгарные аналогии и пустые фразы о механистической машинообразности животного организма приводят Рейнке, как и следовало ожидать, к признанию космического разума, или, проще, бога, как организующего и руководящего начала жизни.

По существу, правда, Рейнке здесь никакой Америки не открывает, она была открыта лет за двадцать до него Эдуардом ф.-Гартманом, утверждавшим, что жизненные явления немыслимы без присущего будто бы органическому веществу «организующего принципа жизни».

VII.

Количество и качество. Своеобразие жизненных явлений.

Одним из важнейших законов эволюции является закон перехода количественных изменений в качественные различия. Количественные накопления, переходя определенный предел, дают качественный эффект, который отнюдь не есть простая арифметическая сумма накопленных признаков, а нечто новое, совершенно отличное от старого. В основе вульгарной «теории эволюции» лежит представление о том, что развитие есть не возникновение чего-то нового, а обнаружение того, что существовало уже раньше, но бывшего незаметным вследствие ли малых размеров или по каким-либо другим причинам.

Таково было учение Лейбница о монадах, преформистов о включении в яйце в микроскопических размерах всего организма в его мельчайших подробностях. Таково «учение» Берга, считающего, что эволюция есть «развертывание уже ранее существовавших зачатков». Такое понимание развития есть по существу отрицание всякой эволюции, ибо оно утверждает, что все существующее живет извека, а развитие есть только количественный рост, но не качественное изменение. Животное находится в яйце своей матери в готовом виде даже до оплодотворения этого яйца. Оплодотворение дает только импульс к росту этого микроскопического гомункулюса до естественных человеческих размеров.

Диалектическое развитие есть образование новых качеств на основе количественных накоплений. «Если мы возьмем любое неорганическое тело и мысленно будем делить его на все меньшие частицы, то сперва мы не заметим никакой качественной перемены. Но так процесс может итти только до известного предела: если нам удастся, как в случае испарения, высвободить отдельные молекулы, то хотя мы и можем в большинстве случаев про-

должать и дальше делить эти последние, но при этом происходит полное изменение качества. Молекула распадается на свои отдельные атомы, у которых совершенно иные свойства, чем у нее. У молекул, которые состоят из различных химических элементов, место составной молекулы занимают атомы или молекула этих элементов; у элементарных молекул появляются свободные атомы, обнаруживающие совершенно отличные по качеству действия: свободные атомы кислорода in statu nascendi играючи производят то, чего никогда не сделают связанные в молекулу атомы атмосферного кислорода. Но и молекула уже отлична качественно от той массы, к которой она принадлежит. Она может совершать независимо от последней движения, в то время, как эта масса кажется находящейся в покое; молекула может, например, совершать тепловые колебания; она может, благодаря изменению положения или связи с соседними молекулами, перевести тело в другое аллотропическое или аггрегатное состояние и т. д.» («Архив», кн. II, стр. 223).

Особенно богаты примерами диалектического развития сочинения В. И. Ленина. Возьмем хотя бы процесс превращения банков из простых посредников в могущественные аппараты, держащие в своих руках почти все хозяйство. Вот как В. И. Ленин описывает этот процесс:

«Что касается до тесной связи между банками и промышленностью, то именно в этой области едва ли не нагляднее всего сказывается новая роль банков. Если банк учитывает векселя данного предпринимателя, открывает для него текущий счет и т. п., то эти операции, взятые в отдельности, ни на йоту не уменьшают самостоятельности этого предпринимателя, и банк не выходит из скромной роли посредника. Но если эти операции учащаются и упрочиваются, если банк «собирает» в свои руки громадных размеров капиталы, если ведение текущих счетов данного предприятия позволяет банку,—а это так и бывает—все детальнее и полнее узнавать экономическое положение его клиента, то в результате получается все более полная зависимость промышленного капиталиста от банка» («Империализм как новейший этап капитализма», XIII, ГИЗ, 1924 г., стр. 266).

В своем развитии банки приобретают новое качество, которое ставит их в исключительное положение в капиталистическом хозяйстве.

В «Анти-Дюринге» и «Диалектике природы» Энгельс приводит много примеров перехода количества в качество. Особенно много он останавливается на химии, которую определяет, как науку о качественных изменениях тел, происходящих под влиянием изменения количественного состава. Особенно поучительным в этом отношении Энгельс считает получение длинного ряда разнообразнейших качественно отличных друг от друга парафинов путем прибавления группы CH_2 к каждому члену этого ряда, начиная с простейшего, с метана—CH_4.

Не только молекула качественно отличается от составляющих ее атомов, но и вещество отличается от отдельных составляющих ее молекул. Так называемый здравый смысл будет протестовать против такого утверждения, ибо молекула есть то же вещество, имеет тождественный химический

состав, формально абсолютно ничем не отличается от него, а на практике все-таки есть громадная разница...

Вот что пишет по этому поводу покойный Шимкевич:

«Есть косвенные соображения, говорящие в пользу того, что для живого организма должен существовать известный минимальный предел. Теоретически, конечно, можно допустить существование организмов с диаметром 0,01 μ и такой организм содержал бы весьма небольшое число молекул белка. Но надо думать, что сложные физиологические процессы, характеризующие живой организм, требуют для своего осуществления известного количества молекул, за пределами которого самые процессы становятся немыслимыми» (Шимкевич, «Биологические основы зоологии», т. I, стр. 10, ГИЗ, 1923 г.).

Одно и то же вещество, в разных количествах, не тождественно самому себе. Молекула живого вещества еще не живое вещество, никакие жизненные функции в ней невозможны. Она может функционировать только в определенной количественной связи с такими же мертвыми в изоляции молекулами. Один и тот же качественный состав вещества, взятый в одной и той же пропорции, но в разных количествах, дает резкое различие. Отнимем одну молекулу от предельного количества молекул живого вещества и мы убиваем это живое вещество. Признание простого повторения или механического сложения в живом веществе процессов неорганического мира есть фактическое отрицание эволюции материи, утверждение вульгарного тождества между живым и мертвым.

Исходя из своеобразия жизненных процессов, виталисты впадают в другую крайность. Они утверждают их исключительную автономность и приписывает жизненным явлениям особое, независимое существование по специфическим законам, свойственным исключительно живой материи. Они рассуждают приблизительно так. Механическая закономерность достаточна лишь для неорганической природы. Живые организмы обладают качествами, которых мертвые предметы лишены. Откуда берется это своеобразие? И отвечают: из метафизического принципа, присущего исключительно жизни. Этот принцип у различных виталистов носит различные названия (энтелехия, жизненный порыв, организующий принцип, жизненная сила), но по существу они все говорят об одном и том же, а именно об автономности жизненных процессов.

Эдуард ф.-Гартман в своей критике дарвинизма пишет следующее: «В органической природе на-ряду с механической неорганическою закономерностью требуется содействие еще других органических законов развития и формирования, носителя которых надо видеть в метафизическом принципе, исключающем материальные атомистические силы» (Э. Гартман, «Истина и заблуждение в дарвинизме», изд. «Труд», 1906 г., стр. 181).

Застрельщик и крупнейший авторитет современного витализма, проф. Ганс Дриш, докатившийся в последнее время до признания оккультических фокусов различных шарлатанов и магов «научно» вполне обоснованными, конечно, также стоит на точке зрения автономности жизненных процессов. Задачу витализма он видит в том, чтобы «исследовать, находятся ли среди

процессов, наблюдаемых в живых организмах, такие, которые не могут быть сведены на явления, известные нам и из неорганического мира, или на их комбинации и должны поэтому считаться «автономными», т.-е. подчиненными собственным законам» (Проф. Ганс Дриш, «Витализм, его история и теория», изд. «Наука», 1915 г., стр. 195).

Исследования приводят его к автономности жизненных процессов, которыми управляет исключительно жизненный принцип—энтелехия.

В обоих примерах в тумане «ученых» слов делается попытка провести в естествознание совсем неестественную бестелесную сущность, которой поручается совершать чудеса, творить жизнь и не тратить ни грана энергии.

Отсюда и дуализм Гартмана, Дриша и им подобных. Не понимая диалектического развития материи, они превращают своеобразие жизненных процессов в абсолютную автономность, чем вырывают непроходимую пропасть между жизнью и остальным миром. Не абсолютная автономия законов жизни, а относительное своеобразие процессов, зависящее от движения материи в пространстве и времени, только в новых условиях, новых комбинациях и соотношениях. Диалектика развития состоит в том, что на определенной высоте эволюции простой физико-химический материал перерастает себя и превращается в биологический. В основе живого вещества лежит не энтелехия или жизненный порыв (Бергсон), а движущаяся материя, приобретшая в своем развитии новые свойства, отличающие ее от предметов остального мира и характеризующие ее, именно, как живое вещество.

Ту же ошибку делают и психо-ламаркисты. В своих толкованиях эволюции «психической способностью» организма они также исходят из того, что в сложных органических процессах нельзя обнаружить той простой связи между причиной и следствием, какая обнаруживается в неорганической природе.

Вот, что пишет виднейший психоламаркист Р. Франсэ в своей «Философии естествознания»:

«Занимаясь жгучим вопросом об удовлетворительном объяснении жизненной целесообразности, молодой мюнхенский ученый П. Н. Коссман пришел к выводу, что несомненная всеобщность закона причинности ни в коем случае не обусловливает его единственности; а потому это ничуть не противоречит науке, если, на-ряду с чисто физико-химическими процессами, признавать также другую связь между причиной и следствием, чем та простая связь, которая известна «неорганической» науке. Он полагает: если В так следует за А, что от этого может возникнуть С, то этим всегда дается еще доступное научному исследованию причинное соотношение, хотя бы даже такие трехчленные цепи причин и следствий не встречались вне жизни. Коссману оставалось сделать всего один шаг, чтобы найти, что такие «трехчленные причинные соотношения» представляют собою исключительно лишь свойство процессов, возбужденных психикой, так как в переменном втором члене (В) должна действовать просто сила суждения, или, вернее говоря, нечто «способное к суждению»... Деятельность организма совершается по телеологическим принципам» (Указанное сочинение, русский перевод, изд. «Вестник Знания, 1908 г., стр. 46).

Франсэ, бессильно стараясь свести жизненные процессы непосредственно к простым механическим, натолкнулся в своих исканиях на диалектику природы, совершенно не понял ее и, оставшись, по его словам, «неудовлетворенным теорией отбора и плоским материализмом конца прошлого века», он нашел свое пристанище в витализме и психоламаркизме. Непонимание законов развития привело Франсэ к тому, что истинные причины качественных изменений материи он стал видеть исключительно в «способности к суждению», в психическом принципе, в целедействующей одушевленности.

В биологии условия работы значительно сложнее, чем в физике и химии. В физике и химии мы имеем в большинстве случаев дело со сравнительно устойчивыми свойствами об'ектов, и опыт зависит, главным образом, от чистоты препаратов и методики измерения. Например, когда мы определяем отношение водорода и кислорода при образовании воды, то в опыте мы обладаем элементами, свойства которых остаются неизменными, во всяком случае, практически. Это позволяет нам повторять опыт неопределенное число раз и получать каждый раз одинаковые числовые результаты. Не то мы получаем, когда имеем дело с живым организмом. Точность опыта будет зависеть не только от методики, но и от изменчивости самого организма. Применяя одну и ту же методику над индивидуумами одного и того же вида, мы все же можем получить неодинаковые результаты, так как индивиды никогда не бывают тождественны. Совершенно правы врачи, когда они утверждают, что число болезней равно числу больных, что они не знают болезней, но изучают больных. Причина этого лежит в крайней сложности процессов жизни. При этом никогда нельзя забывать, что каждый организм есть не только продукт окружающих условий, но и является продуктом филогенетического развития, т.-е. потомком миллионов поколений, проходивших свой собственный жизненный путь в условиях непрерывных изменений и воздействий природы и социальной среды.

Установление причины, как непосредственно действующего и определяющего начала, представляет чрезвычайную трудность, а нередко и невозможное при современном состоянии наших знаний дело. Отношение между причиной и следствием в биологическом материале чрезвычайно запутано, и мы часто не только не можем установить между ними количественной пропорциональности, но и само следствие изменяется без изменения установленной нами причины.

«Так, например, известно, что у растения, под влиянием силы тяжести, корень растет к центру, а стебель—по направлению от центра земли. Мало того, у многих растений на разных стадиях развития стебель, под влиянием силы тяжести, растет то по направлению к центру, то от центра земли. Анализируя эти явления, мы считаем, что во всех этих случаях причина разного направления роста одна и та же, а именно сила тяжести, несмотря на то, что эффект ее действия весьма изменчив; сила тяжести является в данном случае освобождающей

причиной; различие же в эффекте ее действия нам остается приписать различию в состояниях живого организма, которое может ускользнуть от нашего анализа» (Любименко, «Курс. общей ботаники», ГИЗ, Берлин, 1923 г., стр. 16—1).

Сложность биологических процессов не допускает простого их механизирования. Отношение организма к внешним воздействиям не укладывается в рамках неподвижных чисел, какими мы, например, выражаем количественное отношение водорода и кислорода при образовании воды.

Можно ли разложить жизнедеятельность организма на более простые процессы?

Конечно, можно. И если мы в этой работе стоим еще перед многими загадками, то это происходит не потому, что жизненные явления не сводимы, а благодаря нашему невежеству. И не только анализ или сведение жизнедеятельности к более простым процессам, но и синтез неорганической природы в живую—вопрос только времени.

Но при этом, несомненно и то, что, например, психика, как суб'ективное переживание организма своих материальных физиологических процессов, не может быть сведена непосредственно к физике и химии, да уже просто потому, что это качество или свойство неизбежно выпадает при попытке физико-химического анализа нервно-мозговых процессов. Вообще нужно сказать, что о непосредственном сведении жизни к физике и химии не может быть и речи. Вот, что пишет по этому вопросу Л. Л. Васильев в девятом сборнике «Новых идей в биологии»:

«Жизнедеятельность хотя бы элементарнейшего организма представляется современному наблюдателю явлением настолько сложным, что не может быть и речи о непосредственном разложении этого явления на физико-химические процессы. Физико-химическому анализу должен предшествовать анализ биологический (или физиологический), т.-е. разложение жизнедеятельности организма на элементарные жизненные явления и свойства» (Указанный сборник, Л. Л. Васильев—«О физико-химич. анализе и синтезе жизненных явлений», стр. 8).

Но физико-химическое исследование каждого отдельного свойства жизни не есть еще сведение жизни к физике и химии. Одно какое-нибудь свойство жизнедеятельности не есть еще жизнь во всей ее совокупности. Если бы даже нам удалось окончательно установить, что, например, непрерывное возбуждение или торможение есть химическое разложение неустойчивых ионпротеидов с выделением одновалентных возбуждающих ионов натра и калия или двувалентных угнетающих ионов кальция, то этими процессами мы далеко еще не исчерпаем всей нашей психики, которая является не только простой химической игрой ионов, но результатом длиннейшего филогенетического развития и приспособления к непрерывным воздействиям не только природы, но и общества.

С точки зрения физико-химической передвижение ионов в нервной ткани собаки ничем почти не отличается от передвижения ионов в нервных тканях человека, но какая огромная дистанция между психикой собаки и человека! Или другой пример. Возьмем передние лапы человекообразной обезьяны и руки человека.

Расположение и число мышц, связок, костей, сосудов, нервов одинаковое, но какая разница в движениях! Рука есть не только арифметическая сумма перечисленных составных частей ее. Она есть не только орган труда, но также и продуктего (Энгельс).

«Только благодаря труду, благодаря приспособлению к все новым операциям, благодаря передаче по наследству достигнутого таким путем особенного развития мускулов, связок и за более долгие промежутки времени также и костей, также как благодаря все новому применению этих передаваемых по наследству усовершенствований к новым, все более сложным операциям,—только благодаря всему этому, человеческая рука достигла той высокой ступени совершенства, на которой она смогла, как бы силой волшебства, вызвать к жизни картины Рафаэля, статуи Торвальдсена, музыку Паганини. Но рука не была чем-то самодовлеющим. Она была только одним из членов целого, необычайно сложного организма. И то, что шло на пользу руке, шло также на пользу всему телу, которому она служила...» («Архив», кн. II, стр. 91).

Нельзя об'яснить все это громадное своеобразие и сложность развития одними физико-химическими процессами. Этим, конечно, мы не хотим сказать, что качественные различия возникают каким-то чудодейственным образом, что законы, предположим, биологии выходят из рамок общих законов природы. Нужно только помнить, что каждой стадии развития вещества соответствуют, помимо законов, общих для всех стадий, еще и ее специфические законы. Эволюция вещества происходит по законам, соответствующим данной стадии развития. Но это вещество на определенной ступени под влиянием законов, свойственных именно этой ступени развития, приобретает новые качества, которые уже не могут быть исчерпаны старыми законами.

Неорганические вещества подчиняются законам физики и химии. На определенной высоте своего развития эти неорганические вещества под влиянием физико-химических законов превращаются в живое вещество, которое уже не исчерпывается одной физикой и химией. То же самое можно сказать и о биологическом материале. До известной стадии развития живые существа подчиняются биологическим законам. Но как только в процессе своей эволюции живое существо достигает ступени сознательного общественного животного (Homo sapieas), биологические законы, под воздействием которых органическое существо дошло до этой стадии, не могут уже охватить всей сложной совокупности новых явлений; и хотя они продолжают еще действовать и в новых условиях, но главным рычагом развития являются уже новые законы,—законы социологии.

Механическая же точка зрения последовательно приводит к сведению не только биологии, но и социологии к простым законам механики.

Этими примерами мы хотели бы подчеркнуть опасность вульгаризации диалектического метода, превращения его из гибкого орудия научных исследований в тощую метафизическую схемку, измеряющую всю колоссальную разнообразность, все разнообразнейшие взаимоотношения и усложнения двумя—тремя формулами из механики. Формулами механики можно об'яснить только ме-

ханические движения, но они недостаточны для об'яснения физико-химических изменений, не говоря уже о жизненных явлениях, а тем более социологических.

Механисты, ищущие об'яснения биологических явлений в механике, делают ту же ошибку, что и биологи, пытающиеся найти разгадку социологии в биологии. А что из этого получается, можно показать на паре примеров. Вот как крупнейший современный авторитет в биологии, академик И. П. Павлов, сводит социологию к биологии.

«Пусть ум празднует победу за победой над окружающей природой, пусть он завоевывает для человеческой жизни и деятельности не только всю твердую поверхность земли, но и водяные пучины ее, как и окружающее земной шар воздушное пространство; пусть он с легкостью переносит для своих многообразных целей грандиозную энергию с одного пункта земли на другой, пусть он уничтожает пространство для передачи его мысли, слова и т. д. и т. д.—и, однако же, тот же человек с этим же его умом, направляемый какими-то темными силами действующими в нем самом, причиняет сам себе неисчислимые материальные потери и невыразимые страдания войнами и революциями с их ужасами, воспроизводящими межживотные отношения. Только последняя наука, точная наука о самом человеке,—а вернейший подход к ней со стороны всемогущего естествознания—выведет его из теперешнего мрака и очистит его от теперешнего позора в сфере межлюдских отношений» (Академик И. П. Павлов, «Двадцатилетний опыт», ГИЗ, 1923 г., Введение, стр. 10).

Ту же мысль проводил и покойный Ж. Леб. Он писал:

«Мы проявили нашу активность потому, что нас механически побуждают к этому внутренние процессы, происходящие в нашей нервной системе, и если люди не являются рабами экономических условий, то направление их деятельности определяется инстинктом «успешного усилия» или плодотворной работы... Мы любим общество людей потому, что нас побуждают к этому наследственные условия. Мы боремся за правду и справедливость и готовы отдать за них жизнь, потому что инстинктивно желаем видеть счастливыми подобных нам людей. Нашей моралью мы обязаны только нашим инстинктам, которые, совсем как форма нашего тела, определяются внутри нас законами физики и химии» (Ж. Леб., «Жизнь», в «Новых идеях в биологии», сборн. I, 1913 г., стр. 120).

Величайшие авторитеты в своих областях становятся пигмеями, когда начинают переносить опыт своих собак или яиц морских звезд на человеческое общество. Для одного ужасы империалистической бойни тождественны с «ужасами» революции и классовой борьбы. Для спасения человечества от обывательских «ужасов» классовой борьбы он приглашает изучать... биологические законы собаки и человека. Другой сводит социологические законы морали исключительно к физике и химии. Ее, конечно, при более смелом воображении можно было бы «свести» и дальше, хотя бы к движению электронов. Но продвинуло ли бы нас такое сведение хотя бы на одну ногу вперед?!

VIII.

Прерывистость развития. Скачки в биологии.

Опасность вульгаризации диалектического метода лежит и во взгляде на него, как на теорию развития вообще. Плеханов пишет:

«Диалектику многие смешивают с учением о развитии, и она, в самом деле, есть такое учение. Но диалектика существенно отличается от вульгарной «теории эволюции», которая целиком построена на том принципе, что ни природа, ни история не делают скачков, и что все изменения совершаются в мире лишь постепенно. Еще Гегель показал, что понятое таким образом учение о развитии смешно и несостоятельно» («Основные вопросы марксизма», Петроград, стр. 38, 1917).

Гегель в «Науке о логике» пишет: «В основе учения о постепенности лежит представление о том, что возникающее уже существует в действительности и остается незаметным только вследствие своих малых размеров. Точно так же, говоря о постепенном уничтожении, воображают, будто небытие данного явления, или то новое явление, которое должно занять его место, уже находится налицо, хотя пока еще незаметно... Но таким образом устраняется всякое понятие о возникновении и уничтожении. Об'яснять возникновение или уничтожение постепенностью изменения значит сводить все дело к скучной тавтологии и представлять себе возникающее или уничтожающееся в уже готовом виде» (Цитировано по «Осн. вопросам марксизма», стр. 39).

Все процессы природы происходят скачками. Вспомним хотя бы образование воды из водорода и кислорода. Мы не знаем таких «средних» веществ, которые могли бы получиться во время этого синтеза и которые представляли бы постепенные переходы от водорода и кислорода к воде. Скачкообразное получение длинного ряда парафинов превосходно иллюстрировано Энгельсом в «Анти-Дюринге» и «Диалектике природы»; но не только парафины,—все химические процессы протекают скачками. Любая реакция соединения или разложения есть прерывистый переход от одного качества в другое. Разложение атома азота Резефордом есть скачкообразный процесс. Физика и механика также не знают постепенных переходов одного качества в другое. Вопрос может состоять только в том, насколько резок тот или иной скачок, но не в принципиальном отрицании его.

Характерно с этой точки зрения следующее место в цитированной уже речи Дж. Дарвина, которого отнюдь нельзя заподозрить в пристрастии к марксистской революционной «фразеологии». Он говорит:

«Физик, подобно биологу и историку, прослеживает результаты медленно меняющихся внешних условий; он видит, что стойкость или устойчивость постепенно понижается, пока не исчезает совершенно, когда наступает то, что в политике называется революцией» (стр. 91).

Оказывается, по мнению маститого профессора, без революции невозможно не только общественное развитие, но и вообще никакое развитие в природе.

Но не только физика и химия, биология также не знает постепенных переходов. Слабость дарвиновской теории развития заключается именно в туманной формулировке проблемы скачков. Заслуги Коржинского и де-Фриза не в их понимании, явно виталистическом, эволюции, а в подчеркивании скачкообразного развития видов. В настоящее время ни один биолог не отрицает скачкообразности эволюции, спор идет только о том, за кем считать приоритет в этом вопросе—за Дарвином или де-Фризом. Дарвинисты утверждают, что Дарвин понимал вариации в смысле де-фризовских мутаций и что ему напрасно приписывают такую мысль, как развитие исключительно при помощи постепенных переходов.

Выше было уже указано, что жизнь не нарастает постепенно от простых веществ к сложным, что ее, по всей вероятности, нет даже в изолированной сложнейшей молекуле так называемого живого вещества. Она возникает внезапно, как только количественное накопление «живых» молекул переходит определенный предел. Это есть скачок, буквально, из смерти в жизнь. Остановимся еще на нескольких примерах скачкообразной изменчивости в биологии.

Прежде всего укажем на вариацию органов, встречающихся у одного и того же вида животных не в одинаковом числе, хотя бы, например, на шестипалость человека по сравнению с нормальной пятипалостью. Такая изменчивость, очевидно, не связана никакими постепенными переходами с отправным пунктом и является прерывистой.

Наиболее известны случаи внезапных уклонений среди культурных форм растений и животных. Одним из наиболее известных примеров является образование анконских овец. В начале прошлого столетия в Северной Америке в небольшом стаде, состоящем из одного барана и дюжины овец, совершенно нормальных во всех отношениях, появился ягненок мужского пола с длинной спиной и кривыми ногами, напоминающий таксу. В виду того, что обыкновенные овцы легко перескакивали через изгороди, фермер Сет-Райт попытался с помощью нового барана вывести новую расу, предполагая, что кривоногие бараны не будут в состоянии так легко преодолевать заборы, как это делают обыкновенные овцы. И, действительно, Сет-Райту удалось путем соответствующего спаривания вывести новую породу овец, получившую название анконских. Еще более известным является порода мошамских овец. У овцевода Гро в имении Мошам родился в 1828 г. в стаде мериносов молодой баран, отличавшийся от остальных овец длинной, волнистой с шелковистым блеском шерстью. При скрещивании нового барана с обыкновенными овцами эта особенность унаследовалась. Так была выведена новая порода мошамских овец.

Опыты Тоуэра и др. над куколками бабочек, дающими при изменении температуры потомство с резко измененными признаками, всем известны. Дрозофилы (опыты Моргана) дают резко прерывистую изменчивость без всяких ступеней от исходного материала до новой мутации.

Эти факты достаточно убедительно подтверждают гегелевский закон скачкообразного развития. Количество этих примеров

можно было бы увеличить до бесконечности, но для наших целей число указанных фактов вполне достаточно, тем более, что законы природы не могут иметь никаких исключений, ибо природа не знает курьезов. Обнаруживаемый, хотя бы единичный факт представляет единичное проявление широко-действующего в данных условиях закона.

Ошибка метафизиков состоит именно в том, что, если они даже и допускают эволюцию, то только непрерывную. Возьмем хотя бы точку зрения Лейбница на восприятие. По Лейбницу, перцепцией или восприятием обладают абсолютно все монады. Резкого скачка между восприятием смежных монад не может быть, различие только количественное. Проводить знак тождества между восприятием хотя бы спящего человека и «восприятием», если можно так выразиться, камня или другого неорганического тела мы бы не решились. «Воспринимать» раздражения может только вещество, стоящее на определенной ступени развития, т.-е. живое существо, а сознанием обладают еще более высокие существа, у которых имеется кора головного мозга. Только на определенном уровне развития материя приобретает новое качество—восприятие, а еще на более высоком—сознание. Всякие разговоры о том, что и неорганические вещества обладают восприятием или сознанием, совершенно ненаучны.

Пошлой вульгаризацией отдает от тех «научных исследований», которые отождествляют явления неорганического мира с явлениями жизни, совершенно упуская из виду, их качественные различия. Энгельс зло смеялся над этими «материалистами», не понимающими диалектического процесса. Сознание и восприятие есть продукт филогенетического развития.

Точка зрения непрерывности процессов неизбежно должна привести к концепции панпсихизма. И мы, действительно, встречаем ее у Лейбница. Лейбниц не может себе представить, чтоб только на определенном уровне его длинной цепи монад вдруг появилась психика, как новое качество, совершенно не встречающееся хотя бы в зародыше в предшествующих монадах, ибо, по его глубокому убеждению, natura non facit saltus. Панпсихизм Лейбница вытекает из всей его метафизической системы. Но нам совершенно непонятны корни плехановского панпсихизма. Гладиатай диалектического материализма, неустанный борец против всякого опошления и вульгаризации марксизма, Плеханов сам стоит на точке зрения всеобщей одушевленности. В своей известной полемике с Бернштейном о материализме, Плеханов, разбирая взгляды Штерна на французских материалистов, пишет:

«Г. Штерн, без сомнения, возразит на основании этого, что для Ламеттри мышление есть свойство лишь организованной материи и что именно в этом заключается Ахиллесова пята всякого материализма. «Совершенно необ'яснимо,—говорит он в приведенной статье,—каким образом в животной клеточке ощущение (основной элемент психической жизни) является вдруг, подобно револьверному выстрелу; необходимо заключить, что и неорганическим телам свойственна, конечно, только минимальная и простая психика, которая растет и усложняется по мере того, как мы подымаемся по лестнице живых существ». Это так. Но Ламеттри и не утверждал ничего проти-

воположного» (Плеханов, «Очерки по истории материализма, изд. «Московский Рабочий», 1922 г., статья «Бернштейн и материализм», стр. 154).

Штерн никак не может понять, каким образом в животной клетке внезапно может возникнуть ощущение, и он вынужден допустить присутствие ощущения в составных частях животной клетки—в неорганических предметах. Но совершенно непонятно, почему Плеханов соглашается с ним и допускает, что неорганическим телам свойственна психика («это так»).

Рассуждая таким образом, Плеханов одним росчерком пера вычеркивает все свои превосходнейшие страницы о качественных взрывах. Ведь, в точно такие же метафизические рассуждения можно пуститься и по поводу возникновения воды, любой кислоты, мутации и т. д., и т. п. Признавая эту явно научную антидиалектическую точку зрения, мы вынуждены будем принять, что все свойства, например, воды, существуют уже в водороде и кислороде еще до образования воды, ибо они не могут-де явиться внезапно, «как револьверный выстрел». Эта ненаучная точка зрения есть тоже своеобразный скачок—salto mortale—из области науки в область «смешного и несостоятельного учения о развитии» (Плеханов), научная несостоятельность которой так умело и талантливо была доказана самим Плехановым.

Де-Лион и его деятельность.

Я. Виленкин.

1.

В июле прошлого года исполнилось 20 лет с тех пор, как был организован союз «Индустриальных Рабочих Мира» («Industrial Woskers of the World»), наделавший много шуму в свое время и ставший во главе многих стачек неорганизованных рабочих. Теоретическим основоположником этого союза является Даниэль Де-Лион, один из наиболее выдающихся деятелей рабочего движения Соединенных Штатов.

Де-Лион родился в Венецуэле (в Южной Америке), на маленьком острове Куракоа, 14 декабря 1852 года. Еще в детстве его отец, богатый врач, отослал своего сына в Гейдельберг, в Германию, учиться. По окончании курса в Гейдельберге Де-Лион вступил в знаменитый голландский университет, находящийся в городе Лейдене. В 1872 году он кончил курс в упомянутом университете, изучая историю, философию и математику. Де-Лион свободно владел немецким, испанским, голландским, латинским, французским, английским и древне-греческим языками. Он также свободно читал по-итальянски, по-португальски и на современном греческом языке. Вскоре по окончании курса Лейденского университета Де-Лион отправился в Соединенные Штаты, где стал заместителем редактора испанской газеты, боровшейся за освобождение острова Кубы от испанского владычества. Впоследствии он получил место учителя математики, латинского и греческого языков в известной школе в Вестчестере, вблизи города Нью-Йорка.

Одновременно с этим Де-Лион вступил в Нью-Йоркский Колумбийский университет и изучал там юриспруденцию. Он выдержал дважды экзамен на звание лектора (приват-доцента) международного права в этом же самом Колумбийском университете. Читал лекции он в продолжение 6 лет, после чего предполагалось его выдвинуть на пост профессора, ибо его охотно посещали студенты, а университетская администрация была вполне удовлетворена его лекциями, обнаружившими богатство знаний и замечательную эрудицию Де-Лиона.

Но в этот период произошел перелом в жизни Де-Лиона: он заинтересовался революционным рабочим движением, что побудило его покинуть навсегда свою кафедру профессора международного права.

II.

Это случилось как раз в ту эпоху, когда в Америке вскоре после гражданской войны наступил хозяйственный кризис 1873 г., вызвавший сильное брожение в рабочем движении. Главным лозунгом того времени являлся восьмичасовой рабочий день. Этот лозунг пробудил рабочие массы, видившие в нем панацею, которая должна изжить безработицу.

Восьмичасовое движение приняло политический характер, охватив все рабочее движение и толкнув в это движение не только социалистов, но и анархистов того времени.

Революционная борьба за сокращение рабочего дня дошла до своего апогея в 1886 г., когда, по решению с'езда «Американской Федерации Труда», осенью 1884 г. было решено начать первого мая 1886 года усиленную борьбу за достижение восьмичасового рабочего дня.

К сожалению, мы должны здесь отметить, что эта революционная борьба не дала должных плодов, благодаря тому, что во главе этого движения стояли разнородные, принципиально не соглашавшиеся друг с другом, элементы.

На экономическом поприще существовали в тот период две организации—«Рыцари Труда» и «Американская Федерация Труда», конкурировавшие друг с другом; на политическом же поприще происходил страшный хаос,—тут вы наталкивались на немецких иммигрантов, ставших во главе движения и отражавших все течения тогдашнего германского политического движения—лассальянцев, эйзенахцев и анархистов.

Все это вносило хаос в движение, которое не было направлено в определенное русло и завершилось поражением, благодаря преждевременному призыву к вооруженному восстанию, не использовав должным образом происходившее в это время сильное брожение в рабочей среде для организации рабочих в сильную политическую партию, которая могла бы руководить массами.

В Чикаго это движение кончилось тем, что во время рабочей демонстрации 4 мая кто-то бросил бомбу в ряды полиции, действовавшей провокационно по отношению к манифестантам, собравшимся на площади, известной по имени «Геймаркет». Вся эта история кончилась кровавой баней: около 17 полисменов были сильно ранены; некоторые из них умерли, но рабочих погибло еще больше, ибо полицейские, в отместку за убийство своих коллег, начали стрелять в толпу, убив массу народа.

Это столкновение между чикагским пролетариатом и полицией закончилось очень печально: 8 рабочих вождей было арестовано, из них трое были брошены в тюрьму, а пятеро были приговорены к смертной казни (один из этих пятерых лишился жизни до казни).

Не было ни малейших доказательств, что эти вожди косвенно или непосредственно были причастны к совершенным убийствам. Задача американского правосудия состояла в том, чтобы подавить в зародыше начавшее развиваться рабочее движение.

Американский пролетариат не мог в ту эпоху рабочего движения дать должный отпор правительству, ибо, как мы уже упоминали, рабочие были плохо организованы как на экономическом, так и на политическом поприще.

Самой сильной организацией в то время был союз Рыцарей Труда. Вождь этой организации Паудерли относился очень отрицательно к требованию восьмичасового рабочего дня.

Таким образом не было ни одной рабочей организации, которая могла бы вести революционно настроенных рабочих на борьбу против американской буржуазии и в защиту подвергнутых аресту бордов за пролетарское дело.

Но оживление рабочего движения в 1886 году не ограничилось одним Чикаго. В Нью-Йорке классовая борьба сильно обострилась, в особенности в рядах железнодорожных рабочих, служащих городских железных дорог. Не менее сильным являлось движение среди союзов музыкантов и официантов; последние две организации подняли борьбу против содержателя одного кафе и об'явили ему бойкот, который отразился на доходах предпринимателя. После долгой борьбы вожди упомянутых организаций были брошены в тюрьму по настоянию владельцев кафе.

Но этими двумя городами пролетарское движение не ограничилось, наоборот, оно охватило всю страну.

События в Чикаго и в Нью-Йорке несомненно не могли не отразиться на всем рабочем движении, но больше всего они отразились на пролетарском движении Нью-Йорка, где забастовочная волна приняла политический характер.

III.

В этом городе, под влиянием сильного под'ема рабочего движения, образовалась рабочая партия. Кандидатом этой партии явился Генри Джордж, прославившийся своей теорией о едином налоге, т.-е. экспроприации поземельной собственности и обращении поземельной ренты на покрытие государственных расходов.

Мы не думаем здесь останавливаться на критике этой теории. Маркс в своем письме к Зорге довольно подробно критикует учение Генри Джорджа, указывая на то, что подобные панацеи в капиталистическом строе играют лишь на руку капиталистам в их борьбе с землевладельцами. Пролетариат может подобный пункт вставить в свою программу лишь в период диктатуры пролетариата («Neue Zeit», X Jahrgang, II Band, 1891—1892. «Die Arbeiterbewegung in den Vereinigten Staaten» 1887—1885 von I. A. Sorge).

Поэтому неудивительно, что кандидатура Генри Джорджа привлекла не только широкие пролетарские массы, но и многих буржуазных идеологов. Среди последних находился молодой профессор Даниэль Де-Лион, на которого произвело сильное впечатление тогдашнее рабочее движение. Во время этой выборной кампании Де-Лион пришел в близкие сношения с социалистами того времени: с Шевичем (русским эмигрантом), Фогтом, Саниэлем, Ионасом и другими. Последние на него сильно повлияли и побудили его изучать социализм.

Генри Джордж получил 68.000 голосов в 1886 году, когда его кандидатура поддерживалась «Об'единенной Рабочей Партией», в которую вошли почти все профсоюзы Нью-Йорка и «Социалистическая Рабочая Партия». Впервые в истории Америки

рабочий кандидат получил такое огромное количество голосов в Нью-Йорке.

Этот мелко-буржуазный философ думал, что эти голоса он получил лишь потому, что он привлек широкие массы рабочих своими теориями, не считаясь с тем, что члены «Социалистической Рабочей Партии» имели тогда большое влияние среди немецких рабочих, которые в тот период в Нью-Йорке и в других промышленных городах играли крупную роль.

В виду того, что буржуазная пресса стала выступать после выборов против Джорджа, обвиняя его в том, что он вошел в тесные сношения с социалистами и анархистами, он начал бороться против социалистов в «Об'единенной Рабочей Партии», настаивая на том, что социалисты не могут принадлежать к этой партии, ибо они являются членами другой партии.

После долгой борьбы социалисты были исключены из упомянутой партии, организовав с некоторыми профсоюзами «Прогрессивную Рабочую Партию». С этого момента Де-Лион расстался с Генри Джорджем, но не прекратил своих тесных сношений с социалистами.

Хозяйственный кризис 1873 г. вызвал к жизни также многие фермерские союзы, которые пытались об'единиться с рабочими организациями, существовавшими в восьмидесятых годах прошлого столетия.

Де-Лион сильно заинтересовался всеми этими реформистскими движениями, но больше всего его интересовало профсоюзное движение. А потому в 1888 г. он вступил в союз «Рыцари Труда». Политическая программа этого союза его больше всего заинтересовала.

В этом же году началось новое движение, приверженцы которого назывались «националистами». Это—особого рода мелко-буржуазное реформистское движение. Основателем этого движения был Эдуард Беллами, автор широко распространенного и много читавшегося в то время романа «Looking Backward», что по-русски значит «Оглядка на прошлое» (Роман этот переведен на русский язык под именем «2.000 лет спустя»).

Роман этот рисует нам картину будущего государства, в котором отдельные конкурирующие между собой предприятия прекращают существовать и заменяются коллективною собственностью на все средства производства и распределения.

Принципы, изложенные в этом романе, ничем почти не отличаются от учений старых утопистов за исключением того, что требования Беллами отражают современный централизованный и концентрированный капитализм со всеми его атрибутами, тогда как старые утописты отражали мелко-буржуазный строй своего времени. Упомянутый роман напоминает нам во многих отношениях сочинение нашего гениального народника Чернышевского «Что делать?».

Приверженцы идей Беллами создавали по всей стране общества, которые об'единились в партию «Националистов». Членами этой партии являлись по большей части различные чиновники и интеллигенция. Приверженцы этой партии «признают и осуждают вред, который наносит существующий общественный строй, они также ясно видят, что капитализм оказывает пагубное влияние на рабочих». Но партия «Националистов» отрицала существование классовой борьбы и стремилась к осуществлению нового строя, т.-е. всеобщего коллективного строя, путем введения общественного производства постепенно, сначала переняв в руки государства «подходящие» отрасли промышленности, как водяные, газовые и электрические учреждения, потом железные дороги и тому подобные средства производства и распределения.

Партия «Националистов» считала необходимым называть себя так потому, что она требовала национализации всех средств производства и распределения. Кроме того, «националисты» называли себя так еще и потому, что они хотели отличать себя от «Социалистической Рабочей Партии», настаивавшей на классовой борьбе. Партия «Националистов» привлекла к себе очень мало рабочих. Рабочему же движению эта партия нанесла вред тем, что она поддерживала в тот период Паудерли, вожака профсоюза «Рыцари Труда», ставшего изменником рабочего класса в интересах американского капитала. В то же время нужно признать, что эта партия поддерживала борьбу пролетариата против буржуазии и в общем придерживалась демократических взглядов.

В 1889 году Де-Лион вступил в партию «Националистов», не порвав в то же время своих связей с тогдашними вождями Социалистической Рабочей Партии»—Шевичем, Фогтом, Саниэлем и Ионасом. Во время празднования столетнего юбилея (14 июля 1889 года) низвержения Бастилии в Париже, т.-е. низвержения феодального строя во Франции и установления буржуазного, Де-Лион говорил на собрании, созванном по этому случаю Социалистической Рабочей Партией Америки, вместе с Шевичем и Саниэлем.

IV.

В это время Де-Лион стал изучать «Капитал» Маркса и постепенно удалялся от утопического учения Беллами. В 1890 г. он уже вступает в «Социалистическую Рабочую Партию».

Таким образом, Де-Лион происходил из мелко-буржуазной среды. Но, вступивши в рабочее движение, он целиком втянулся в него, отказавшись от всех мелко-буржуазных предрассудков. Даже по внешности: вступив в движение, он переменил свой костюм, одеваясь по большей части хуже большинства американских рабочих. Словом, Де-Лион старался всеми силами приблизиться к пролетариату и вникнуть в его дух. С момента вступления в «Социалистическую Рабочую Партию» Де-Лион вплоть до своей смерти, 11 мая 1914 года, оставался верным пролетарскому движению, несмотря на все совершенные им ошибки.

V.

В момент вступления Де-Лиона в «Социалистическую Рабочую Партию» в рабочем движении происходили, как мы уже выше указали, разногласия как в экономической, так и в политической области. В профсоюзном движении борьба происходила между союзом «Рыцари Труда» («Knights of Labor») и «Американской Федерацией Труда». Первая организация во главе с ее тогдашним вождем Паудерли совершенно игнорировала и саботировала восьмичасовое движение, поддерживаемое «Американской Феде-

рацией Труда». Это движение, несомненно, сильно страдало и не могло иметь успеха без поддержки «Knights of Labor». Разногласия по этому вопросу еще больше усилились благодаря тому, что рядовые члены «Knights of Labor» настаивали на поддержке «Американской Федерации Труда» в их попытках к проведению в жизнь восьмичасового рабочего дня и очень часто содействовали федерации наперекор всяким предупреждениям своих вождей. Это не могло не отразиться на политическом движении того времени, в особенности в Нью-Йорке, где «Об'единенная Рабочая Партия» поддерживалась «Центральным Рабочим Союзом» города Нью-Йорка, являвшимся частью «Knights of Labor». После раскола упомянутой партии и образования «Прогрессивной Рабочей Партии», поддерживаемой «Социалистической Рабочей Партией», разногласия по поводу поддержки последней партии были перенесены и в Центральный Рабочий Союз города Нью-Йорка, там также произошел раскол по поводу исключения «Социалистической Рабочей Партии» из рядов «Об'единенной Рабочей Партии», который привел в начале 1889 года к организации нового нью-йоркского городского союза «Central Labor Federation» («Центральная Рабочая Федерация»), присоединившегося к «Американской Федерации Труда».

Этот выход из союза «Central Labor Union» вызвал сильное недовольство среди многих членов профсоюзов, примкнувших к «Central Labor Federation». В декабре 1889 года удалось добиться перемирия между этими двумя союзами и все профсоюзы вернулись обратно в «Central Labor Union». Но через короткое время в начале 1890 г. опять произошел раскол в «Central Labor Union», откуда выступили все организации, находившиеся в «Central Labor Federation» и об'единились в городскую организацию под старым именем «Central Labor Federation». Последняя организация потребовала от «Американской Федерации Труда», чтобы она приняла ее обратно в свой состав, но последняя отказалась на том основании, что в рядах «Central Labor Federation» находилась Американская Секция «Социалистической Рабочей Партии», т.-е. секция политической партии. «Central Labor Federation» послала делегата на с'езд «А. Ф. Т.» 1890 года с требованием принятия «Central Labor Federation» обратно в федерацию, избрав в качестве представителя известного в то время социалиста Саниэла. Некоторые делегаты этого с'езда настаивали на допущении Саниэла на с'езд, но огромное большинство отвергло это предложение. После этого «Социалистическая Рабочая Партия» отозвала своего представителя из «Central Labor Federation», дабы дать возможность этой организации опять присоединиться к «А. Ф. Т.», но последняя отказалась допустить в свои ряды социалистическую организацию, так что «Central Labor Federation» осталась вне «А. Ф. Т.». В городе Нью-Йорке в этот период существовали три городские организации: «Central Labor Union» (которая впоследствии была принята в «Американскую Федерацию Труда»), «Central Labor Federation» и «District 49 Knights of Labor» (организация, принадлежавшая к «Рыцарям Труда», известная как районная организация № 49).

В «Социалистической Рабочей Партии» в тот период также существовали серьезные разногласия, которые были вызваны главным образом тем, что партия состояла в своем огромном большинстве из немецких эмигрантов, которые приехали в Соединенные Штаты еще до об'единенного с'езда в Галле в 1875 году, где об'единились лассальянцы и эйзенахцы. В партию при ее основании вошло значительное количество лассальянцев, которые привезли с собой старые предрассудки лассальянцев против всякого участия в профсоюзах и настаивали на немедленном участии в парламентарной борьбе, выставив старое лассальянское требование субсидирования рабочих ассоциаций государством. С другой стороны, в «Социалистической Рабочей Партии» находились приверженцы и эйзенахского движения и других оттенков тогдашнего германского социалистического движения, которые ударились в другую крайность, настаивая на участии членов партии в профсоюзах, но отказываясь вместе с тем от ведения парламентской борьбы от имени «Социалистической Рабочей Партии», как таковой, вступая в эту борьбу лишь сообща с другими рабочими организациями, как они сделали это во время выборов 1886 года, присоединившись к «Об'единенной Рабочей Партии».

Таким образом обе стороны ударились в крайность. Лассальянцы, во главе которых стоял Розенберг и которых поддерживали обамериканившиеся элементы, вне всякого сомнения были правы в том, что настаивали на необходимости выставления собственных кандидатов от имени «Социалистической Рабочей Партии» именно в этот период. Ибо все попытки выставлять кандидатов от имени «Об'единенной Рабочей Партии» не увенчивались успехом после 1886 г. В этом году вхождение «Социалистической Рабочей Партии» в упомянутую «Рабочую Партию» имело известное значение: оно было связано с усиленным под'емом рабочего движения, с требованием восьмичасового рабочего движения. Кроме того, рабочие были наэлектризованы под влиянием событий в Чикаго, т.-е. под влиянием взрыва бомбы в этом городе во время первой майской демонстрации. В такой момент удалиться в свою скорлупу и не выставить своих кандидатов было бы непростительной ошибкой, ибо это вызвало бы ничем не оправдываемое враждебное отношение со стороны пролетариата. Силы «Социалистической Рабочей Партии» были слишком слабы, чтобы выставить своего кандидата. Участие социалистов в тогдашней «Об'единенной Рабочей Партии» дало им возможность войти в контакт со многими американскими элементами, которые потом перешли в ряды «Социалистической Рабочей Партии».

Но, к сожалению, вожди той фракции, которая боролась против участия в парламентской борьбе непосредственно от имени «Социалистической Рабочей Партии» (Ионас и Шевич, первый немецкий, а второй русский эмигрант), очень неумело использовали свое участие в муниципальной борьбе вместе с «Об'единенной Рабочей Партией». Они не выступали с критикой той мелко-буржуазной программы, которая была принята этой партией, в особенности против теории единого налога Генри Джорджа, которая, по справедливому замечанию Маркса, играла на руку капиталистическому классу. Мало того. Шевич и Ионас так далеко зашли, что готовы были превратить «Социалистическую Рабочую Партию» в пропагандистское общество, когда Генри Джордж настаивал на их исключении из «Об'единенной Рабочей Партии». После исключения они создали искусственную «Про-

грессивную Рабочую Партию», за которой массы в 1887 году не шли. Несмотря на все это, фракция Шевича и Ионаса продолжала настаивать на необходимости искусственного создания рабочих партий и боролась против того, чтобы «Социалистическая Рабочая Партия», как таковая, в этот период выставляла своих кандидатов во время выборов. Словом, Шевич и Ионас через меру увлеклись этим движением, боясь его критиковать, как мы уже указали. С критикой против теории единого налога они выступили лишь тогда, когда их исключили из «Об'единенной Рабочей Партии».

Фракция Розенберга была несомненно права в том, что она настаивала на своевременности участия «Социалистической Рабочей Партии» в выборах. Но она совершила непростительную ошибку тем, что отнеслась очень двусмысленно к событиям в Чикаго в 1886 году во время взрыва бомбы на «Геймаркете».

Розенберг, будучи в то время редактором центрального органа партии «Социалист» (на немецком языке), отказался принять статью известного марксиста Иосифа Дицгена, который резко выступил против правительства в защиту отданных под суд анархистов и социалистов. Розенберг был того мнения, что социалисты должны стараться отмежевать себя от анархистов даже и тогда, когда они правильно защищают интересы рабочих. Розенберг, правда, неумышленно, играл тем самым на руку буржуазного правительства. Дицген тогда жил в Чикаго и был хорошо знаком с положением вещей. Он сам был ярым врагом анархистского движения. Тем не менее он нашел нужным выступить в защиту не анархистской теории, а в защиту тех мужественных борцов за общие интересы американского рабочего класса, которые положили свою голову на плаху. Тогда необходимо было встать в их защиту и выступить против гнусных нападок американской буржуазии, стремившейся сокрушить все рабочее движение. Этого не поняла фракция Розенберга, а потому она так равнодушно отнеслась к событиям 1886 года под влиянием своих лассальянских предрассудков по отношению к профсоюзному движению. Фракция Розенберга, несомненно, была права, настаивая в 1888 г. на необходимости принятия участия в президентских выборах от имени «Социалистической Рабочей Партии», а не от имени «Рабочей Партии», несмотря на то, что партия получила всего 2.580 голосов в городе Нью-Йорке.

Но бестактность Розенберга состояла в том, что он продолжал опять отрицательно относиться к профсоюзному движению, когда оно вновь пробудилось к жизни и выставило требование восьмичасового рабочего дня. Во многих крупных городах социалисты выступали против тактики фракции Розенберга, стоявшей во главе исполкома партии.

Противники Розенберга воспользовались поражением, которое потерпела партия во время президентских выборов и его половинчатым отношением к восьмичасовому рабочему движению, чтобы сбросить фракцию Розенберга и в Центральный Комитет избрать фракцию Шевича и Ионаса.

Фракция Ионаса и Шевича выиграла лишь потому, что Розенберг, как указано, относился отрицательно к профсоюзному движению, но большинство партии не соглашалось с тактикой первой фракции по отношению к политическому движению: огромное большинство партии пришло к заключению, что уже пора социалистам принимать самостоятельное участие в выборной кампании, ибо они приобрели достаточное количество приверженцев. А потому на с'езде 1889 г. в Чикаго было решено продолжать выставлять кандидатов во время выборов от имени «Социалистической Рабочей Партии», несмотря на то, что в 1888 г. получено было так мало голосов. Все эти события сопровождались в партии расколами и исключениями. Часть секций партии и много активных членов покинуло партию, ведя самостоятельное существование вплоть до 1897 г., когда образовалась «Социал-Демократическая Партия» Америки.

Таким образом тактика фракции Розенберга была оправдана в вопросе о необходимости принятия участия в выборах от имени «Социалистической Рабочей Партии». Большинство партии не могло ему простить лишь его лассальянское отношение к профсоюзам. Партия окончательно распростилась с лассальянизмом на упомянутом с'езде 1889 года, выкинув из своей программы требование субсидии рабочих ассоциаций государством.

VI.

После таких перипетий в партии Де-Лион вступил в нее в 1890 году, как мы уже указали. Некоторые указывают на то, что будто бы Де-Лион, вступив в партию, начал вводить дрязги и расколы. Де-Лион не являлся инициатором разногласий и расколов в партии, ибо уже при его вступлении в партию в ней боролись указанные нами два течения.

Де-Лион в тот период фактически примирил обе стороны. Нужно правду сказать, что в социалистическом и рабочем движении Америки Де-Лион являлся самой выдающейся личностью и по своей оригинальности мышления и преданности рабочему движению может сравниться в интернациональном пролетарском движении лишь с Лениным. К сожалению, об'ективные условия в Америке сложились так, что они не содействовали Де-Лиону, который хотел как можно скорее повести рабочий класс на борьбу за захват власти пролетариатом. До сих пор на политическом горизонте американского пролетарского движения подобной гениальной личности не появлялось, несмотря на его крупные недостатки. Его любовь к американскому пролетариату, его уверенность в том, что в Америке совершится социальная революция раньше, чем в других странах, что американский пролетариат об'ективно больше всех подготовлен к перенятию государственной власти, доводили его до крайностей, за которые он поплатился, как мы увидим ниже, очень дорого.

Блестящий талант, гениальные мысли, высокая культурность и выдающиеся ораторские способности Де-Лиона—все это выдвинуло его в передние ряды «Социалистической Рабочей Партии», и он стал ее вождем вскоре по вступлении.

Де-Лион занял непримиримую позицию против остатков лассальянизма—против противников профсоюзного движения. Не менее воинствующую позицию он занял и против той фракции, которая хотела низвести «Социалистическую Рабочую Партию» на степень клуба пропаганды, доказывая, что партия не может хотеть вечно на чужих помочах и должна вести свою независимую

от кого бы то ни было политику. Эта твердая точка зрения сосредоточила вокруг Де-Лиона революционные элементы партии и убедила многих, что в Соединенных Штатах в этот период можно было создать революционную политическую партию.

VII.

В 1890 году партия приняла самое деятельное участие в выборной кампании, которую Де-Лион поддерживал со всей своей энергией.

В тот период довольно значительное количество членов «Социалистической Рабочей Партии» играло выдающуюся роль в «Американской Федерации Труда». Кандидат «Социалистической Рабочей Партии» на пост мэра города Нью-Йорка, Делабар, был членом «Американской Федерации Труда». Накануне празднования 1 мая в 1890 году, т.-е. в первый год этого международного пролетарского праздника, Делабар вместе с другим членом «Социалистической Рабочей Партии», Гроткау, разъезжали от имени «Американской Федерации Труда» и агитировали за необходимость установления восьмичасового рабочего дня. Гомперс сам настаивал на приглашении этих двух членов в качестве агитаторов «А.Ф.Т.», несмотря на то, что он знал, что Делабар и Гроткау были видающимися членами партии, из которых первый агитировал на английском языке, а второй—на немецком. Таким образом в описываемый нами период отношения между «Американской Федерацией Труда» и «Социалистической Рабочей Партией» не успели еще обостриться, благодаря тому, что партия не являлась еще политическим фактором в стране. Деятельное участие многих членов «Социалистической Рабочей Партии» в «Американской Федерации Труда» дало им возможность прийти в соприкосновение с организованными рабочими и привлечь их на свою сторону. Это обстоятельство, несомненно, имело влияние на выборы, ибо голоса «Социалистической Рабочей Партии» повысились. Правда, выборы не дали блестящих результатов, чего нельзя было ожидать в виду того, что большинство членов партии и ее приверженцев были иммигрантами и еще не успели стать гражданами, так как проживали в стране меньше пяти лет. Но выборы этого года, как и последующих, имели большое значение в том смысле, что они усилили партию, привлекли к себе многие новые элементы как в среде иностранцев, так и в среде коренных американцев. Последние, вне всякого сомнения, были привлечены Де-Лионом, который, несмотря на свое иностранное происхождение, усвоил их дух и обычай, и умел подойти к ним. Его красноречивость напоминает нам речи Лассаля в пятидесятых и шестидесятых годах прошлого столетия, пробудившие даже католических рабочих рейнско-вестфальских провинций. Де-Лион также вначале являлся магнитом, который привлекал к себе многих честных и довольно влиятельных деятелей «Американской Федерации Труда».

Кампания 1890 года доказала, что назрели те условия, которые давали возможность партии выйти из периода пропаганды и перейти к политической борьбе против капитала. Де-Лион был одним из тех, которые настаивали на этой перемене политики партии.

После того, как партия перестала быть клубом пропаганды и пустила известные корни среди американских рабочих, был возбужден вопрос о создании органов печати на английском языке. До этого момента официальным языком партии на общих собраниях и даже с'ездах являлся немецкий, а потому главное внимание отдавали поддержке немецких газет. Потом, когда еврейское движение стало развиваться, очень большое внимание отдавалось и еврейской печати. Печать же партии на английском языке влачила жалкое существование. Де-Лион первым делом повел борьбу за то, чтобы официальным языком партии стал английский. Кроме того, он начал настаивать на создании органа печати на английском языке, который был бы доступен рабочим говорившим на английском языке. Бывший английский орган партии «Workmen's Adwocate», распространявшийся лишь среди членов партии, был переименован в «The People», существующий и до сих пор. «The People»—это первый социалистический орган, который проник в значительной степени в ряды американского пролетариата, говорящего лишь по-английски.

Первым редактором этой газеты был Люсьен Саниэл, французский выходец. С 1891 года редакторство «The People» перешло в руки Де-Лиона, который оставался на этом посту вплоть до своей смерти. Под его руководством газета перестала быть чисто теоретическим органом и претворилась в боевой орган американского пролетариата.

«The People» с этого момента стала влиятельным органом: она проникла в ряды рабочего класса Соединенных Штатов, ее читателями являлись не только приверженцы социализма, но и его злейшие враги. Гомперс и другие реформистские вожди профсоюзов читали внимательно «The People». Это видно из тех цитат, которые появлялись в печати враждебного лагеря, и из выпадов против газеты. Буржуазная печать в течение долгих лет не находила молчанием статьи, помещаемые в органе «Социалистической Рабочей Партии».

«The People» пользовалась популярностью не только среди американского пролетариата, говорящего по-английски, но и во всех англо-саксонских странах. Первым долгом «The People» проникла в Великобританию, где она имела сильное влияние. Воздействие это закончилось расколом социал-демократической федерации Англии, следствием которого было создание «Социалистической Рабочей Партии» Шотландии. Вскоре после этого появились организации «Социалистической Рабочей Партии» в Австралии и Южной Африке, не говоря уже о Канаде, где «Социалистическая Рабочая Партия» была органически тесно связана с СРП Америки.

Многие из выдающихся членов «Коммунистической Партии» Англии были раньше под сильным влиянием учений Де-Лиона, как, напр., т.т. Мак Манус, Поль и другие, и являлись членами СРП в Шотландии.

Через год после вступления в партию, в 1891 г., Де-Лион был послан читать доклады. Он об'ехал почти всю страну от Атлантического до Тихого океана, и от Канады до Мексики. Результатом этой поездки явилось укрепление партии и присоединение к ней американских рабочих, говорящих по-английски и имевших довольно сильное влияние на профсоюзное движение,

как, например, Малон Барнес, игравший довольно крупную роль среди цигарных рабочих города Филадельфии, Лонг—литограф, Бен Ганфорд—наборщик, и многие другие. Все они присоединились к движению под влиянием агитации Де-Лиона.

Де-Лион, несомненно, явился одним из первых социалистов Америки, говорящих на английском языке. Он вначале сосредоточил вокруг себя все революционные элементы американского рабочего движения. Заслуга Де-Лиона состоит именно в том, что в начале своей революционной деятельности он сумел привлечь на свою сторону не только немецкие, еврейские, ирландские и американские пролетарские массы, но и довольно значительное число руководящих элементов профсоюзного движения.

Все силы были направлены на то, чтобы «Социалистическая Рабочая Партия» Америки стала политическим фактором во всей стране и чтобы она явилась истинной руководительницей всего рабочего класса во всех его выступлениях на политическом, равно как и на экономическом поприще.

Поэтому по настоянию Де-Лиона партия в 1892 году впервые приняла участие в президентских выборах в национальном масштабе. Понятно, при этом не обошлось без конфликта внутри партии, ибо в партии осталось еще довольно много приверженцев хвостистской политики, которой придерживалась «Социалистическая Рабочая Партия» до недавнего времени. На этот раз спор произошел из-за вопроса о поддержке так называемой «Народной Партии» («Peoples Party»), чисто фермерской партии, которая поддерживалась незначительной частью рабочих. «Peoples Party» являлась реакционной партией, духовными вождями которой были фермеры-кулаки. Де-Лион поэтому был вполне прав, когда он выступил против об'единения с этой мелко-буржуазной партией. После долгой и резкой борьбы внутри СРП мнение Де-Лиона взяло верх: партия созвала конференцию, выставив своих собственных кандидатов.

Выборы, несомненно, доказали, что точка зрения Де-Лиона была правильна: голоса партии повысились до 21.000. Это—значительное повышение для того времени, ибо партия впервые, как выше указано, принимала участие в национальном масштабе. Кроме того, многие из ее приверженцев были иностранными рабочими, не успевшими еще стать гражданами страны, а ненависть и предрассудки по отношению к социализму среди американских рабочих не знали предела.

Принятие участия в выборной кампании 1892 года укрепило партию: количество секций увеличивалось с каждым днем, а в старых секциях увеличивалась армия новых членов. Это усилило престиж Де-Лиона в глазах рабочих всех национальностей Америки: немецкие рабочие были в восторге от Де-Лиона, который перед ними очень часто говорил на их языке. Все рабочие, говорящие по-английски, шли по его стопам, потому что они видели в нем единственного социалиста, который хорошо понимает положение вещей в Америке. Это многие ценили очень дорого, ибо, к несчастью, среди иммигрантов было очень мало товарищей, которые так же хорошо понимали бы американский дух, американские условия жизни, как Де-Лион. В особенности Де-Лион пользовался большой популярностью среди широких еврейских пролетарских масс, каковых в Соединенных Штатах больше, чем

где бы то ни было в мире. Влияние партии после выборов 1892 года стало расти по всей стране. «The People» увеличился в тираже по всей стране, ибо Де-Лион привлекал рабочих тем, что он затрагивал в органе партии вопросы, касающиеся будничной борьбы американского пролетариата, заставляя рабочих писать в газете, создав, таким образом, целый кадр рабкоров. Де-Лион оказал большую услугу американскому пролетариату тем, что он превратил «Социалистическую Рабочую Партию» в боевую пролетарскую организацию, строго централизованную, использовавшую парламентскую борьбу лишь в революционном смысле—для агитационных и организационных целей. Он также совершенно верно понимал роль политической партии, как руководителя всего рабочего движения. Де-Лион был первым социалистом в Америке, который понял важное значение профсоюзного движения не только в капиталистическом строе, но и после революции, как мы это увидим ниже. Поэтому он обращал особое внимание на профсоюзное движение и выступал против всякой нейтральности в этом вопросе. Несмотря на это ясное понимание рабочего движения и роли партии в нем, Де-Лион, к сожалению, сделал много промахов, которые привели к весьма печальным результатам.

Он недостаточно оценил события, связанные с рабочим движением 1892, 1893 и 1894 г.г.

VIII.

В конце восьмидесятых и в начале девяностых годов произошел крупный переворот в хозяйственной жизни страны: гигантские тресты стали развиваться под влиянием усовершенствования техники производства, которая вызвала крупное производство и начала вытеснять квалифицированных ремесленников, заменяя их квалифицированными фабричными рабочими. Гигантские концерны предприняли поход против организованного труда. На этой почве началась борьба в 1892 г. в городе Гомстед (в штате Пенсильвании) между организованными рабочими и крупной стальной фирмой Карнеги, которая целиком вошла в «Стальной Трест Соединенных Штатов». Фирма эта использовала частную полицию агентства Пинкертона для сокрушения «Об'единенного союза по производству стали, железа и жести». Рабочие с оружием в руках преодолели наемную частную полицию и прогнали ее из города. К ним пришли также на помощь рабочие других стальных фабрик, находящихся в соседних городах и сосредоточенных в Питсбургском районе. Но рабочие не смогли долго бороться против крупных магнатов в стальном производстве, ибо на помощь последним пришла милиция штата Пенсильвании, которая сорвала забастовку одного из сильнейших профсоюзов того времени. Потеря этой стычки впервые наглядно показала рабочим, что даже квалифицированные ремесленники не могут бороться против новых гигантских предприятий старыми методами и что им придется изменить способы борьбы. Словом, эта стачка оставила глубокое впечатление на американский пролетариат.

В том же году произошла стачка рудокопов в серебряных приисках Кур Д'Ален (в штате Айдаго), принадлежащих круп-

ным магнатам Нью-Иорка и других крупных городов. Акционеры этих приисков настаивали на понижении заработной платы в виду того, что серебро подешевело в цене. Рабочие отказывались работать по пониженному тарифу, а потому компания приняла штрейкбрехеров. Организованные рабочие были хорошо вооружены и силою оружия прогнали штрейкбрехеров. Борьба была очень ожесточенная. Губернатор штата оказался бессильным в борьбе против вооруженной силы рабочих, а потому он обратился к президенту Соединенных Штатов Кливланду за помощью, который немедленно поспешил послать федеральное войско и покорил забастовщиков.

Другие две стачки произошли: в городе Буффало—стрелочники выступили на забастовку и проиграли; в штате Теннеси—углекопы с оружием в руках подняли борьбу против использования труда людей, заключенных в тюрьму. Борьба эта кончилась полным поражением шахтеров. Все эти стачки убедили рабочих в силе крупных магнатов, концентрированных в трестах. Американский пролетариат попытался бороться старыми методами против нового нарастающего этапа капитализма—империализма; но был побежден, был поражен.

Часть рабочих поэтому пришла к убеждению, что старая цеховая форма организации отжила свой век, не соответствуя теперешнему периоду развития капитализма, не соответствуя сильной концентрации капитала, об'единяющей несколько цехов в одну отрасль промышленности. Новый лозунг был брошен: организация рабочего класса в соответствии с развитием промышленности, т.-е. организация по производствам. Первая производственная организация появилась в 1887 г., когда пивоваренный союз включил в свои ряды все цехи пивоваренной промышленности.

После того, как рудокопы в серебряных приисках в 1892 г. проиграли забастовку, несмотря на то, что они вели геройскую борьбу, они пришли к заключению, что они должны создать производственный союз, в который должны войти рудокопы всех цехов, все рабочие, занятые в рудниках. Поэтому в 1893 г. они создали «Западную Федерацию Рудокопов» («Western Federation of Miners») на производственных началах. Подобным же образом проигрыш стачки профсоюза стрелочников в Буффало в 1892 г. так разочаровал Евгения Дебса (который тогда был кочегаром), что он отказался от своего поста—секретаря-казначея в союзе локомотивных кочегаров. Дебс также пришел к заключению, что железнодорожники не могут выиграть, пока свыше 20 различных цеховых железнодорожных профсоюзов не организуются в единый производственный союз железнодорожников. Дебс поэтому организовал в июне 1893 года такой производственный союз железнодорожников под именем «Американский железнодорожный профсоюз» («American Railway Union»). В следующем году (1894) эта организация пользовалась такой популярностью, что она насчитывала 465 отделений на местах (организованных по производствам) с 150.000 членов в рядах этой производственной организации. Это событие вызвало страшную ярость со стороны железнодорожных братств, построенных по цеховой форме организации.

Все эти поражения рабочие потерпели в 1892 и 1893 г.г., накануне кризиса, наступившего летом 1893 года. Кризис этот

страшно отразился на рабочем движении. Рабочие восстания происходили во всех крупных промышленных центрах. Безработица неимоверно усилилась: около 6.000.000 безработных было в стране. Кризис 1893 г. произвел неимоверную революцию в головах американского пролетариата. Американский пролетариат, который до сих пор в общем и целом и слышать не хотел о необходимости создания независимой рабочей партии, стал прислушиваться к пропаганде в пользу создания такой партии.

IX.

Борьба за создание такой независимой партии опять оживилась, но не носила местного характера, как в средине восьмидесятых годов прошлого столетия, наоборот, она велась в национальном масштабе. Гомперс в это время отстаивал лозунг нейтральности профсоюзов в политике, т.-е. невмешательства тред-юнионов в политическую борьбу. Рабочие Северной Америки до сих пор еще политически не организованы и поддерживают одну из капиталистических партий—республиканскую или демократическую. Поэтому защищать принцип нейтральности профсоюзов мог лишь такой ренегат, как Гомперс. Тогдашняя революционная «Социалистическая Рабочая Партия» подняла борьбу против этого лозунга нейтральности. Партии удалось сгруппировать вокруг себя все революционные элементы «Американской Федерации Труда» и создать против Гомперса довольно сильную оппозицию. Несмотря на малочисленность социалистов в Федерации, влияние их было настолько велико, что в 1893 г. Томас Морган, член «Социалистической Рабочей Партии», на очередном с'езде Федерации выдвинул целый ряд важнейших требований и, между прочим, такое чисто-социалистическое требование, как «переход всех средств производства и распределения в коллективную собственность народа».

Это предложение Моргана вызвало горячие прения. Убедившись, что выставленные социалистами требования имеют много сторонников на с'езде, Гомперс не решился выступить против них открыто. После продолжительной дискуссии с'езд принял резолюцию о передаче предложенной социалистической программы на обсуждение рабочих организаций с тем, чтобы они имели возможность дать директивы своим делегатам для ближайшего конгресса «Американской Федерации Труда» по этому вопросу. Однако после с'езда Гомперс начал кампанию против создания самостоятельной рабочей партии, стремясь в самом зародыше убить эту попытку, ибо, как он справедливо полагал, она должна была вывести рабочее движение на путь классовой борьбы, которую Гомперс и его единомышленники старались предотвратить во что бы то ни стало. И, действительно, когда, согласно постановлению предшествующего с'езда, на с'езде 1894 г. снова был поставлен вопрос о социализме и создании «лаборитской» партии, а большинство делегатов, в силу полученной инструкции, должно было голосовать за вышеупомянутую резолюцию о «переходе всех орудий производства и распределения в коллективную собственность народа», вождям Федерации, типа Гомперса, все-таки удалось—при помощи всяких бесчестных махинаций—провалить это предложение и предотвратить основание массовой рабочей

партии. Интересно отметить, что Гомперс, в качестве делегата, сам получил директиву голосовать за этот пункт, но, подобно многим другим делегатам, самым грубым образом нарушил полученную им инструкцию, ссылаясь на то, что будто бы члены его союза не знали, за что они голосовали.

Мы видим, что развитие крупного капитализма, зачатки империализма толкали американских рабочих на революционный путь, убеждали их в необходимости изменения методов борьбы с капиталистическим классом не только на экономическом поприще, но и на политическом.

Эту новую тенденцию в рабочем движении Де-Лион, как и все социалисты того времени, ясно видел, но он, к сожалению, очень узко смотрел на новые знамения времени. Де-Лион был уверен, что все эти события будут непосредственно содействовать усплению «Социалистической Рабочей Партии». Между тем, широкие рабочие массы не были еще готовы поддерживать открыто социалистическое движение и рабочую партию, именующую себя социалистической. Но эти пролетарские массы были готовы поддерживать независимую от старых капиталистических партий «лаборитскую» партию. Тактика Де-Лиона была правильна в 1890 году, когда широкие пролетарские массы после провала об'единенной рабочей партии в 1886 г., выше упомянутого нами, разочаровались в ней и оставляли ее ряды. Тогда действительно настал момент использования парламентской борьбы для кристаллизации партии, для сосредоточения пролетарского авангарда в чисто-пролетарской социалистической партии. Когда же пролетарские массы, под влиянием концентрации капитала, под влиянием хозяйственного кризиса, стали революционизироваться и инстинктивно шли на путь независимой политической борьбы, но еще не были готовы к вступлению в чисто социалистическую рабочую партию, то упомянутая тактика Де-Лиона не могла быть применима: массы не шли за «Социалистической Рабочей Партией».

Тактика социалиста Томаса Моргана имела полное оправдание. Его маневры на с'ездах «А. Ф. Т.» в 1893 и 1894 г.г. имели большой успех, ибо он привлекал широкие массы на сторону социалистов для организации пока «лаборитской» партии. Томас Морган совершенно правильно рассуждал, что социалисты должны использовать недовольство масс, вызванное провалом целого ряда крупных стачек—в Гомстеде, Кур д'Алене, Буффало, вызванное наступлением капитала против квалифицированного ремесленного труда и замену его квалифицированными фабричными рабочими. Кроме того, следовало также использовать недовольство широких пролетарских масс старой узко-цеховой тактикой реакционных вождей «Американской Федерации Труда», выразившееся в стихийном создании новых производственных союзов.

Морган выбрал самый удобный момент, чтобы об'единить все революционные силы внутри «Американской Федерации Труда» для нанесения сильного удара реакционной политике гомперсизма, начинавшего к этому периоду усиливаться, и не дать возможности укрепиться начавшемуся распылению профсоюзного движения, что видно на примере образования производственных союзов рудокопов и железнодорожников.

К сожалению, Центральный Комитет единственной в то время существующей в Америке рабочей партии—«Социалистической Рабочей Партии»—крайне отрицательно отнесся к тактике группы Моргана, считая эту тактику вредной для социалистического движения. Вожди «Социалистической Рабочей Партии» с Де-Лионом во главе в это время держались той точки зрения, что «Американскую Федерацию Труда» нельзя превратить в социалистическую организацию, но что необходимо открыто бороться против нее, как против реакционной организации, являющейся оплотом капитализма.

Это узко-сектантское отношение Де-Лиона к событиям 1892, 1893 и 1894 г.г. привело к временному поражению американского революционного движения. Если бы Де-Лион поддержал тактику Моргана и поднял сильную агитацию в пользу создания «лаборитской» партии внутри «А. Ф. Т.», то он ослабил бы позицию Гомперса. Выступление Де-Лиона в центральном органе партии против тактики Моргана сильно укрепило позицию Гомперса. Де-Лион, таким образом, играл на руку Гомперсу, не сознавая, понятно, этого.

Приходится тут оговориться, что группа Моргана так же бестактно поступила, обнаружив оппортунистический уклон, ибо эта группа во главе с Шлитером и Ионосом настаивала на том, чтобы при создании «лаборитской» партии превратить социалистическую рабочую партию в группу пропаганды. Де-Лион же вместо того, чтобы резко выступить против этой попытки и настаивать на сохранении партии при вступлении в лаборитскую партию, с удержанием за собой права критики вновь создавшейся партии,—совершенно отказался от принятия участия в этом пролетарском движении, вызванном, как мы видели, об'ективными условиями. С этого момента началась изоляция этого блестящего и гениального деятеля социалистического движения от широких рабочих масс, несмотря на то, что во многих отношениях он стоял на верной точке зрения и вначале сильно приближался к широким массам. Де-Лион был первым, который ввел систему рабкоров в Америке, когда о ней и помину не было в Европе. Уже в начале девяностых годов прошлого столетия Де-Лион установил связи со всеми частями Америки и заставил рабочих писать подробные корреспонденции. В центральном органе Социалистической Рабочей Партии»—«The People» постоянно помещались корреспонденции рабочих. И не только в этом отношении, но и в вопросе о парламентаризме, о роли партии и в других вопросах взгляды Де-Лиона сходились во многом со взглядами современных большевиков.

Но все эти верные взгляды на движение пошли на смарку, благодаря его сектантскому взгляду на движение, благодаря недостатку эластичности в методах применения тактики и умения во-время изменить эту тактику, когда старая тактика угрожает ненужной и вредной изоляцией от широких пролетарских масс.

Де-Лион думал, что социалистическое движение лишь выиграет, если оно сможет сокрушить реакционные союзы, указывая на то, что массы все равно оставляют реакционную «Американскую Федерацию Труда» и организовывают параллельные профсоюзы. Организация революционного союза рудокопов и железнодорожников на него произвела сильное впечатление и, опираясь на эти

два примера, Де-Лион начал делать слишком поспешно общие выводы, несмотря на то, что, как известно, стачка «American Railway Union», происходившая в июне 1894 г. и руководимая Дебсом, потерпела полное поражение. Дебс, создавший производственный союз железнодорожников, совершенно верно рассуждал, что железнодорожные рабочие, организованные по независимым друг от друга цеховым профсоюзам, не могли выиграть. Но Дебс смог организовать из 1.000.000 железнодорожников в Америке лишь 150.000. А потому, когда забастовка была об'явлена, несмотря на то, что она блестяще велась и обратила на себя внимание всего американского пролетарского движения, она была обречена на поражение, которому содействовал также свирепствовавший хозяйственный кризис. Дебс совершил крупную ошибку тем, что он выступил из профсоюза кочегаров. Он пользовался там большим влиянием и мог бы через этот союз воздействовать на другие цеховые профсоюзы железнодорожников и убедить их в необходимости создания единого союза железнодорожников. Удалившись же из союза, он постепенно себя изолировал не только от кочегаров, но и от всех других железнодорожных рабочих, оставив их под непосредственным влиянием реакционных вождей, которые теперь могли свободно проводить в жизнь свою соглашательскую тактику, не встречая никакого сопротивления.

Этот неправильно избранный путь борьбы против реакционных вождей профсоюзов, применяемый некоторыми социалистами, Де-Лион пытался обобщить и создать целую теорию, на основании которой он действовал вплоть до своей смерти.

Верный своей тактике сокрушения реакционных профсоюзов, Де-Лион, как член организации «Рыцари Труда» («Knights of Labor»), поднял там борьбу против реакционных вождей в том же 1894 году. С этой целью он убедил организацию «Об'единенных еврейских союзов» вступить в «Knights of Labor» для захвата этой отживающей свой век организации. При помощи такой махинации социалистам во главе с Де-Лионом удалось захватить целую областную организацию «Knights of Labor». На следующем с'езде профсоюза Де-Лиону удалось вытеснить из профсоюза «Knights of Labor» самого реакционного вождя Паудерли. Место последнего занял не многим менее реакционный вожак по имени Соверен, против которого социалистам пришлось так же бороться, как и против Паудерли.

X.

На с'езде 1895 г. в организации «Рыцарей Труда» произошел раскол. Социалисты выступили из нее, ускорив таким образом приближавшуюся смерть упомянутого союза.

Де-Лион и его приверженцы после этого (в конце 1895 г.) решили провести в жизнь свою заветную мечту, т.-е. создать свой особый социалистический союз («Socialist Trade and Labor Alliance»), полагая этим путем революционизировать рабочие массы и усилить политическое движение среди них.

Вначале этот новый социалистический профсоюз задался очень скромной целью организовать неорганизованных рабочих и получить поддержку в партии со стороны, главным образом, американских товарищей, игравших довольно видную роль в «Американской Федерации Труда». Следует отметить, что к этому времени в ряды «Социалистической Рабочей Партии» вошли многие видные члены «Американской Федерации»: Малон Барнес, секретарь Филадельфийского союза сигарных мастеров, Макс Гейс и Роберт Бендлоу играли крупную роль в союзе наборщиков, Бен Ганфорд являлся также наборщиком и играл в союзе не менее важную роль, чем другие. Джон Тобин, теперь явный предатель рабочего движения и председатель реакционного союза сапожников, также был членом «Социалистической Рабочей Партии». Многие другие выдающиеся члены «А. Ф. Т.» принадлежали к «С. Р. П.». Словом, под влиянием агитации Де-Лиона многие деятели и рядовые члены профсоюзов присоединились к «С. Р. П.».

Все эти элементы, как мы указали, сильно поддерживали идею создания «Socialist Trade and Labor Alliance». А потому на ближайшем с'езде партии в 1896 г., после долгих прений, было одобрено огромным большинством основание «Socialist Trade and Labor Alliance».

После с'езда началась борьба против этого нового социалистического профсоюза, как вне партии, так и внутри ее.

Вне партии реакционные вожди профсоюзов подняли борьбу не на жизнь, а на смерть против социалистов как внутри профсоюзной организации, так и вне ее. Многие из социалистов, которые занимали важные посты в профсоюзах, несомненно, были приведены в замешательство, несмотря на то, что они вначале поддерживали идею создания социалистических союзов. Агитация партии в пользу основания таких союзов била их по карманам, и они были первыми, которые подняли борьбу против новой тактики партии.

Но кроме вождей профсоюзов начали выступать против вождей социалистических союзов также и широкие пролетарские массы, организованные в профсоюзах. Это было вызвано не только агитацией реакционных вожаков профсоюзов, но и поведением социалистических профсоюзов, которые во время забастовок вели себя очень бестактно, выступая с разоблачениями против вождей, очень часто необоснованными на фактах, а потому не убедительными для широких масс. Последние, поэтому, смотрели на агитацию Де-Лиона и его приверженцев, как на враждебную по отношению к профсоюзу, и считали Де-Лиона слепым орудием в руках капиталистов. Неоднократно на открытых собраниях рядовые рабочие выступали с подобными обвинениями против Де-Лиона.

Удручающее впечатление производило, когда рядовые рабочие бросали обвинения против Де-Лиона на массовых собраниях. Они открыто заявляли ему, что капиталисты подкупают его с тем, чтобы сокрушить забастовки рабочих, которые они ведут за улучшение своего материального положения. Это брошенное Де-Лиону обвинение не выдерживало ни малейшей критики, ибо этот преданный борец за пролетарское дело пожертвовал своими личными интересами ради освобождения рабочего класса от капиталистического гнета. В 1896 году союз «Socialist Trade and Labor Alliance» организовал сигарных мастеров города Нью-Йорка, вырабатывавших сигары посредством машин, а не ручным способом, на том основании, что сигарный профсоюз «Американской Федерации Труда» отказывался их организовывать. Это вызвало страш-

ную бурю, и Де-Лион пришел в столкновение не только с беспартийными сигарными рабочими, но и с членами «Социалистической Рабочей Партии» и как раз с теми членами, которые поддерживали его при создании «Socialist Trade and Labor Alliance». Все эти члены партии думали, что новый профсоюз будет организовывать в тех отраслях промышленности, где не существует рабочих организаций, но таких не оказалось, ибо почти что в каждой отрасли промышленности существовала слабая или сильная организация. Все уверения Де-Лиона и его приверженцев, что «А. Ф. Т.» отказывается организовывать сигарных мастеров, производящих сигары посредством машин, не привели ни к чему. Старые члены партии настаивали на том, что нужно вести борьбу за организацию этих рабочих внутри «А. Ф. Т.», а не организовывать параллельные профсоюзы. Словом, эксперимент с основанием социалистических профсоюзов привел партию в столкновение с организованными пролетарскими массами. Кроме того, это вызвало неимоверные разногласия внутри самой партии. Оппозиция против новой тактики все больше и больше усиливалась, в особенности в Нью-Йорке, где вопрос о создании параллельных организаций возбуждался все чаще и чаще. К тому же нужно еще прибавить, что хозяйственный кризис к концу 1896 г. приближался к концу и наступал период капиталистического процветания. Положение рабочего постепенно улучшалось даже через посредство реакционных профсоюзов. В такой момент создание параллельных профсоюзов немыслимо, ибо рабочие не видят никакой необходимости, считая, что старые союзы удовлетворяют до известной степени их требования. Рабочие в таких случаях предпочитают иметь одну синицу в руках, чем две в небесах. Новые социалистические и производственные союзы пока им ничего не дали. Притом социалистическое движение очень медленно росло и не могло похвастаться большими успехами на политическом поприще: рабочие массы присоединялись в начале девяностых годов прошлого столетия к «Социалистической Рабочей Партии» в гомеопатических дозах. Число голосов, правда, увеличивалось, и в 1898 году партия получила свыше 82.000 голосов. Но за то влияние партии и вообще революционного элемента в «А. Ф. Т.» значительно уменьшилось.

Крупная железнодорожная стачка, которой руководил Дебс и за которую он поплатился годичным заключением в тюрьму, также оттолкнула многих рабочих от революционного, производственного союза, созданного Дебсом. Но, тем не менее, эта грандиозная железнодорожная забастовка оставила глубокое впечатление на широкие пролетарские массы. «Socialist Trade and Labor Alliance» за все время своего существования не привлекла даже $^1/_4$ того количества рабочих, которое было привлечено Дебсом в «American Railway Union».

Дебс был довольно близок к «Социалистической Рабочей Партии». Последняя поддерживала его во время железнодорожной забастовки 1894 года. Многим казалось в то время, что Дебс по своей собственной вине не вступил в «С. Р. П.». Пишущему эти строки кажется теперь, что сектантская тактика Де-Лиона оттолкнула от него его самых лучших приверженцев не только внутри самой партии, но и вне ее.

Де-Лион старался привлечь Дебса на свою сторону, но ему это не удалось. Дебс ожидал слишком многого от экономической борьбы, слишком много полагался на производственную форму организации в своей борьбе против капитализма. Поражение железнодорожной стачки, руководимой им, толкнуло его на путь политической борьбы. Вначале Дебс, проведший долгое время в реакционных профсоюзах, не мог понять значения и необходимости организации чисто классовой пролетарской партии. Его не привлекала «Социалистическая Рабочая Партия», резко тогда выступавшая против реакционных вождей профсоюзов. Тем более «С. Р. П.» его не привлекала еще и потому, что Де-Лион свои выпады против вождей очень часто не обосновывал на неопровержимых фактах. Несомненно, этот факт оттолкнул Дебса от «С. Р. П.» и толкнул неопытного, недостаточно теоретически подготовленного пролетария на ложный путь. Дебс во время выборов 1896 г. поддерживал известного мелко-буржуазного реформиста Брайна, который своими фразами увлек многих рабочих в том году. Но Дебс вскоре после выборов сознался в своей ошибке и пришел к заключению, что необходимо создать независимую пролетарскую партию. Как мы уже указали, «С. Р. П.» не привлекала его и раньше, а к этому времени эта партия стала еще менее привлекательной, благодаря разногласиям внутри партии и благодаря тактике раскола старых профсоюзных организаций, которой придерживалась «С. Р. П.». Дебс эту тактику применял в более широком масштабе, чем «С.Р.П.», и убедился на горьком опыте в несостоятельности ее. По нашему мнению, это явилось самой главной причиной, которая оттолкнула Дебса от «С. Р. П.», ибо он не хотел повторить в кустарном виде той ошибки, которую он совершил в огромном масштабе, организовав 150.000 рабочих в одной лишь железнодорожной промышленности, а между тем союз «Socialist Trade and Labor Alliance» в самое лучшее время вряд ли имел больше 30.000 членов, охватывая в кустарном виде все почти производства, но не имея под своим влиянием рабочих хотя бы одной отрасли промышленности.

Дебс, поэтому, начал организовывать пролетарские партии на свой лад, сделав, несомненно, массу непростительных промахов.

XI.

Члены союза «American Railway Union» после поражения 1894 г. постепенно покидали организацию. Тогда Дебс, поняв свою ошибку, собрал в 1897 году остатки этого профсоюза для организации так называемой «социал-демократии» Америки. Последняя, по плану Дебса, не предполагала быть политической партией, а утопической организацией, имевшей своей целью введение социализма посредством колонизации каждого штата в отдельности, начиная с штата Вашингтона. Для осуществления своей затеи Дебс обратился за помощью к Рокфеллеру, ожидая, что этот «великий» филантроп пойдет ему навстречу. Дебс очень скоро понял свою ошибку, всю утопичность своего предприятия и через год в 1898 г. реорганизовал эту организацию в «Социал-Демократическую Партию» Америки.

«Социалистическая Рабочая Партия» во главе с Де-Лионом совершенно верно отнеслась ко всем этим блужданиям Дебса,

критически выступая против утопии Дебса. Но одновременно с этим Де-Лион совершил непростительную глупость тем, что обвинял Дебса в получении свободных билетов от железнодорожных компаний для раз'езда по железным дорогам, полагаясь на непроверенные слухи. Это вызвало страшное возмущение внутри и вне партии. Многие члены партии требовали неопровержимых доказательств этого факта. Рабочие же, не принадлежавшие к партии, еще больше возмущались этим недоказанным обвинением, ибо никто не сомневался в честности Дебса. Де-Лион свое утверждение никогда не мог доказать. Он лишь мог отговориться десять лет спустя тем, что его обманул редактор немецкой партийной газеты Шлитер. Эта выходка, несомненно, еще больше оттолкнула Дебса от «С. Р. П.».

Де-Лион вне всякого сомнения оттолкнул Дебса, за которым шли широкие пролетарские массы, а между тем его стоило привлечь, ибо, несмотря на всю сентиментальность, Дебс обладал многими хорошими чертами: он умел привлекать массы на свою сторону и вдохновлять их идеями социализма. Этот факт Де-Лион сам признал впоследствии, но уже было слишком поздно, ибо Дебс тогда подпал под влияние Бергеров и Хилквитов, несмотря на то, что он с ними во многом не соглашался.

Таким образом Де-Лион все больше и больше изолировал себя не только от широких организованных в «А. Ф. Т.» пролетарских масс, но и от революционных рабочих масс.

В 1893 и 1894 г.г. он, правда, неумышленно играл на руку Гомперсу тем, что боролся против создания «лаборитской» партии на основе социалистической программы внутри «Американской Федерации Труда». После того, как Гомперсу удалось провалить создание такой партии при помощи гнусных махинаций, Де-Лион направил все свое искусство полемики не столько против Гомперса, сколько против члена партии Моргана. Этим поступком Де-Лион вызвал недоброжелательство к себе революционно-настроенных рабочих. Создание союза «Socialist Trade and Labor Alliance» вызвало разногласия внутри партии, изолировало партию от организованных рабочих масс, удалив значительную часть революционных элементов из «А. Ф. Т.», предоставив массы в распоряжение Гомперса и усилив его позицию. Неправильное отношение к заблуждениям Дебса со стороны «С. Р. П.», во главе с Де-Лионом, оттолкнуло Дебса от партии и бросило его в об'ятия оппортунистов в тот момент, когда неопытный в социалистическом движении Дебс не соглашался вполне с оппортунистами. Все это привело в 1899 году к расколу в «С. Р. П.», который еще больше изолировал партию от широких пролетарских масс.

Отколовшаяся часть «С. Р. П.», во главе которой стояли Шлитер, Ионас и Хилквит, являлась оппортунистическим крылом партии. Шлитер и Ионас имели влияние среди немецких рабочих. Хилквит имел влияние среди части еврейских рабочих, но главным образом его поддерживали мелко-буржуазные элементы партии.

Сами по себе все эти разношерстные элементы, не пустившие глубоких корней среди широких рабочих масс, не имели большого значения, но, благодаря их умению лавировать, они притянули на свою сторону Дебса, очень популярного среди американских рабочих.

В 1900 году, после долгих переговоров и споров, отколовшаяся часть «С. Р. П.» и «Социал-Демократическая Партия», руководимая Дебсом, созвали об'единительный с'езд. Дебс и Бергер не имели большого желания об'единяться с отколовшейся частью «С. Р. П.». Бергер никогда дружелюбно не относился к Шлитеру, и в особенности к Хилквиту, потому что, по его мнению, эта часть «С. Р. П.» не понимала американского рабочего движения. К Де-Лиону же Бергер относился с большим уважением, несмотря на то, что не соглашался во многом с ним. Дебс же отрицательно относился к отколовшейся части «С. Р. П.» потому, что считал ее оппортунистической. Дебс настаивал, чтобы на об'единительный с'езд де-лионовская фракция «С. Р. П.» также была приглашена. Бергер от имени С.-Д. А. послал письмо Де-Лиону и Исполкому «С. Р. П.», в котором приглашал Де-Лиона и партию послать делегацию на об'единительный с'езд, чтобы сокрушить там и ликвидировать постепенно фракцию Хилквита, и тем самым об'единить социалистическое движение под руководством Де-Лиона и Дебса. Тут представлялся самый подходящий момент для об'единения Де-Лиона, обладавшего теоретическими знаниями, с Дебсом, пользовавшимся популярностью среди широких пролетарских масс, с тем, чтобы создать массовое политическое движение. Кроме того, тут представлялся самый удобный случай привлечь Дебса на сторону «С. Р. П.» и иметь возможность воздействовать на него, тем более, что он стоял своими взглядами ближе к Де-Лиону, чем к Хилквиту, Шлитеру и Ионасу.

Но Де-Лион из чисто сектантских соображений отверг предложение. Де-Лион опять доказал свою неумелость использовать такой удобный случай, чтобы через посредство Дебса проникнуть в массы и ликвидировать все оппортунистические тенденции в социалистическом движении.

XII.

После раскола «С. Р. П.» в 1899 г. сектантские тенденции Де-Лиона еще больше усилились, ибо никто теперь уже не сопротивлялся, никто не ставил никаких препятствий выступлениям Де-Лиона. До раскола в «С. Р. П.» два течения боролись друг против друга с почти одинаковой силой в вопросе об отношении к профсоюзному движению: фракция Де-Лиона и Фогта настаивала на необходимости борьбы против реакционных вождей профсоюзов типа «А. Ф. Труда» вне старых рабочих организаций, т.-е. на необходимости создания параллельных профсоюзов; фракция же Шлитера и Ионаса, а также и малоизвестного тогда Хилквита, настаивали на необходимости бороться против гомперсизма лишь внутри старых, реакционных союзов.

Пока эти фракции принадлежали к одной партии, обе они довольно успешно боролись против Гомперса и ему подобных внутри «А. Ф. Т.» и других реакционных союзов, ибо даже приверженцы Де-Лиона продолжали оставаться в этих рабочих организациях и вели там довольно успешную борьбу против реакционных вождей и вынуждали приверженцев другой фракции поддерживать эту борьбу против апологетов гомперсизма. Это, несомненно, заставило обе стороны бороться против общего врага

и, благодаря существованию такого, так сказать, единого фронта, партия хотя медленно, но все-таки росла.

После раскола обе фракции, не препятствуемые никакими сопротивлениями, обнаружили свои истинные тенденции. Фракция Шлитера, Ионаса и Хилквита очень скоро открыла свои карты, и перестала бороться против гомперсизма в профсоюзном движении, продолжая в замаскированной форме выступать против профсоюзных вождей, поддерживая их косвенно и прямо в их предательстве делу американского пролетариата. Эта фракция принимала участие в профсоюзном движении не для его революционизирования, а для увеличения голосов своих кандидатов во время выборной кампании. Шлитерам, Ионасам и в особенности Хилквиту совершенно не важно было, в чьих руках и под чьим влиянием остаются широкие пролетарские массы в профсоюзах—под влиянием ли гомперсистов или социалистов. Этой фракции важно было лишь одно, чтобы рабочие поддерживали их во время парламентской борьбы и дали бы им возможность пробраться в различные законодательные собрания. Хилквиты в своей борьбе за освобождение рабочего класса от ига капитализма полагались лишь на парламентарскую борьбу. А потому это течение в социалистическом движении как бы заключило неписаный договор с гомперсистами, по которому приверженцы Хилквита во вновь создавшейся тогда «Социалистической Партии» Америки предоставили экономическое (профсоюзное) движение в руки реакционных вождей, об'явив свою нейтральность по отношению к тред-юнионистскому движению с тем, чтобы во время выборной кампании хотя бы некоторые профсоюзы поддерживали кандидатов «Социалистической Партии». Гомперс, понятно, гладил по головке вождей «С. П.», ибо лозунг нейтральности политической партии пролетариата в профсоюзном движении сходится с его лозунгом нейтральности профсоюзного движения в политической борьбе, что означает предоставление каждому члену действовать по своему усмотрению, но в конечном результате означает поддержку капиталистических партий продажными вожаками рабочих организаций. Таким образом фракция Шлитера, Ионаса и Хилквита играла открыто на руку Гомперсу и его опричникам.

Фракция же Де-Лиона, оставшаяся у руля правления «Социалистической Рабочей Партии» и действовавшая теперь беспрепятственно, обнаружила свои сектантские тенденции полностью.

Вскоре после того, как «Социалистическая Рабочая Партия» Америки очистилась от оппортунистических элементов, она окончательно прекратила свою борьбу внутри реакционных профсоюзов. На первом с'езде (после раскола) «Социалистической Рабочей Партии» в 1900 году была принята следующая резолюция: «No officer of a pure and simple trade and labor organisation shall be a member of a section» (Ни одно должностное лицо «чистой» профсоюзной и рабочей организации не может быть членом секции партии). Эту резолюцию Де-Лион защищал со всей силой, и она была принята всеми голосами делегатов с'езда за исключением лишь одного—тогдашнего секретаря партии, Куна, который во всем соглашался с Де-Лионом, но в этом вопросе разошелся с ним.

Что эта резолюция означала?

Этой резолюцией «Социалистическая Рабочая Партия» запретила своим членам принимать участие в рабочем движении. Масса членов партии занимала различные посты—платные и бесплатные—в рабочих организациях и, благодаря этому, приходила в контакт с организованными рабочими, воздействуя на них в революционном смысле и помогая им в борьбе не только против капиталистического класса, но и против продажных вождей профсоюзов. «Социалистическая Рабочая Партия» не могла оказать большей услуги своим решением гомперсизму. Продажные вожди профсоюзов избавились от своих злейших врагов в профсоюзном движении. Де-Лион своим поступком предоставил широкие рабочие массы в полное распоряжение предательских вождей, он оставил американский пролетариат под непосредственным влиянием реформистских лидеров и отказался от какого бы то ни было воздействия на организованных рабочих, изолировав себя навсегда от американского пролетариата. Кроме того, партия поставила членов перед дилеммой оставить партию или же остаться в профсоюзном движении. Ибо во время стачек социалисты играли всегда выдающуюся роль, будучи более сознательным элементом в профсоюзном движении. Рядовые члены всегда избирали их в забастовочные комитеты, в комиссии по ведению переговоров с предпринимателями, полагаясь на их рассудительность, честность и интеллигентность. На основании этого решения, члены «С. Р. П.» не имели права принимать на себя такие обязанности. Многие члены партии, будучи преданными членами партии, сначала стали отказываться от участия во всех упомянутых комиссиях. Рядовые рабочие союзов смотрели на них очень подозрительно, считая их предателями общего дела. Очень часто им бросали обвинение, что они подкуплены предпринимателями и действуют в интересах господствующего класса.

«С.Р.П.» с Де-Лионом во главе не только дискредитировала отдельных членов партии в глазах рядовых членов профсоюзов, но и всю партию. Ибо рабочие считали ту партию, которая запрещает своим членам быть деятельными в борьбе против буржуазии, враждебной им. Таким образом «С. Р. П.» без всякой нужды, без давления извне отказалась от широкого поля действия, где ей предоставлялась возможность войти в контакт с пролетарскими массами и вести там агитацию и пропаганду.

Кроме того, «С. Р. П.» поставила членов партии перед дилеммой отказаться от участия в борьбе за свои будничные интересы и предоставить свою судьбу в распоряжение продажных вожаков, которые их могли всегда предать. Ибо члены партии на основании принятой резолюции не могли принимать участия в комиссиях, которые ведут переговоры с предпринимателями. Этим путем были открыты двери для предательства рабочего класса, так как самые сознательные элементы сами устранили себя от участия.

Все это привело к тому, что непосредственные интересы членов «С. Р. П.» и их моральная обязанность перед своими собратьями по производству вынуждала нарушать постановления партии: они не хотели оказаться изменниками в глазах своего класса. Тогда начались поголовные исключения из партии. Это вызвало опять неурядицы в партии, которые привели к новому расколу, хотя не в таком масштабе, как в 1899 году.

«С. Р. П.» с Де-Лионом во главе окончательно изолировала себя от пролетарского движения. Президентские выборы 1900 г. показали, что партия теряет почву под собой, ибо в 1896 г. партия получила 36.564 голоса, в 1897 г.—55.000, в 1898—82.000, а в 1900 году—лишь свыше 34.000, т.-е. меньше, чем в 1896 г.

Но не только количество голосов, что еще не так важно, но и количество членов уменьшалось. Упомянутая резолюция, запрещавшая членам партии быть деятельными в профсоюзах, вызвала возмущения в рядах членов, которые стали покидать ее, не дожидаясь исключения. Партия, таким образом, была постепенно низведена на степень секты, не только благодаря своей тактике, но и благодаря уменьшению членов партии.

На с'езде «С. Р. П.» того же 1900 года было принято еще одно решение, под руководством Де-Лиона, которое содействовало еще больше тому, чтобы низвести партию на степень секты. С'езд постановил исключить из программы все частичные требования—программу-минимум. Де-Лион пришел к заключению, что все эти требования вызывают иллюзии в умах рабочих, которые откладывают в долгий ящик борьбу за низвержение капиталистического государства и привлекают в партию различные реформистские элементы.

Этим решением партия с Де-Лионом во главе восстановила старое учение утопистов, которые отказывались принимать участие в ежедневной будничной борьбе пролетариата. Де-Лион пошел по наклонной плоскости утопизма и стал постепенно все больше и больше отрекаться от марксизма, хотя и несознательно.

Члену «Социалистической Рабочей Партии» не оставалось ничего другого делать, как вести абстрактную агитацию за конечную цель партии.

На вопрос, заданный Де-Лиону пишущим эти строки, какую позицию займет избранный в парламент представитель партии в случае, если там будет выставлено требование о введении законодательным путем восьмичасового рабочего дня, он ответил через центральный орган в 1903 году приблизительно следующее: «Наш представитель в конгрессе заявит, что восьмичасовой рабочий день не может улучшить положение рабочего класса, ибо с его введением предприниматели немедленно начнут вводить новые усовершенствованные машины, что снова приведет к усилению безработицы и понижению заработной платы. В капиталистическом строе сокращение числа часов не может принести никакой пользы рабочему классу. Поддержка агитации за восьмичасовой рабочий день играет на руку реформистам, а потому мы должны отрицательно относиться к таким требованиям рабочих вождей».

Аргументация Де-Лиона напоминает нам полемику анархистов в восьмидесятых годах прошлого столетия против установления вообще восьмичасового рабочего дня каким бы то ни было путем. Де-Лион отличался от анархистов лишь тем, что он не выступал против борьбы за восьмичасовой рабочий день на экономическом поприще.

Устранение частичных требований из программы партии оттолкнуло еще большее количество рабочих от партии. Отрицательное отношение к частичным требованиям рабочих не давало

возможности членам «С. Р. П.» подойти к рабочим и на основании конкретных требований пояснять необходимость конечной цели.

Этой тактикой «С. Р. П.» под руководством Де-Лиона изолировала себя окончательно от рабочих масс. Партия, имевшая когда-то сильное влияние в профсоюзах и в других сильных рабочих организациях, как, например, во вспомогательных союзах, потеряла какое бы то ни было значение в рабочем движении, ибо все активные деятели профсоюзов и других организаций ополчились против «С. Р. П.».

Много когда-то обещавшая партия восстановила против себя рабочие массы, в интересах которых Де-Лион фактически боролся.

Это обстоятельство сильно отразилось на партии, которая обратилась в истинную церковную секту, не допускавшую малейшей критики тактики партии: малейшая попытка в этом направлении завершалась немедленно остракизмом из партии. И действительно, партия снизошла до степени секты не только в качественном отношении, но и в количественном: фабричные рабочие оставляли партию, и в то же время в ней оставались больше всего мелко-буржуазные элементы, которые по своему происхождению являются рабочими, но которые потом перешли в мелко-буржуазную среду, становясь мелкими фабрикантами, подрядчиками, агентами различного рода. Все эти элементы не заинтересованы в будничной борьбе пролетариата.

Таким образом Де-Лион совершенно незаметно для него самого оттолкнул от себя большинство истинно-пролетарских элементов и окружил себя буржуазными полупролетарскими элементами и в незначительной степени чисто пролетарскими элементами. Чтобы не быть голословными, мы приведем несколько примеров. В Национальном Исполнительном Комитете партии одним из выдающихся деятелей является некий Де-Ли, имеющий крупное мясное дело в городе Трой, в штате Нью-Йорке. Но Национальный Исполнительный Комитет собирается лишь два раза в году. Ведение всех дел партии фактически находится в руках другого комитета, избранного упомянутым Национальным Комитетом. Этот комитет в своем огромном большинстве состоит из мелкой буржуазии: Москович—букинист, Таль—содержатель гаража, Смелянский—агент страхового общества, Циммерман—старший бухгалтер, никогда не принадлежавший ни к какому профсоюзу, Ким — содержатель небольшого литографского дела. Единственный выдающийся член этого комитета—Гильхаус—является пролетарием, но он давным давно покинул свой профсоюз и не связан с рабочим движением.

Де-Лион под конец своей жизни изолировал себя от пролетарского движения, благодаря своей тактике. Он оказался в мелко-буржуазном окружении. Даже два самых способных и интеллигентных его соумышленников—Фогт и Кун,—боровшиеся с ним рука об руку, стали мелкими филистерами, из которых первый окончательно покинул партию и стал адвокатом, а второй, пробывши 15 лет секретарем партии, покинул свой пост, не выступив, правда, из партии; стал продавцом всяких вздутых акций, не стоющих выеденного яйца; а впоследствии был разносчиком по домам различных продуктов, которые старался сплавить среди членов партии, знающих его хорошо. Этот Кун,

когда-то истинный пролетарий, оторвался окончательно от рабочего движения. Теперь он пописывает в официальном органе партии. Статьи его вполне отражают состояние партии, т.-е. ее оторванность от рабочего движения.

Вот к чему привела антимарксистская тактика Де-Лиона.

Нам приходится отметить еще один факт, указывающий на светлые стороны этого талантливого борца за интересы пролетариата, несмотря на все его крупные недостатки.

В 1900 году, как известно, состоялся в Париже конгресс II Интернационала. На этом конгрессе разбирался вопрос о принятии министерского портфеля тогдашним социалистом и теперешним предателем рабочего класса Мильераном, в одном кабинете с мясником Парижской Коммуны Галлифе. Этот поступок Мильерана вызвал раскол во французской социалистической партии. Жорес настаивал тогда на неотложности принятия портфеля Мильераном, в виду попытки военной клики восстановить свое влияние во Франции, использовав при этом процесс Дрейфуса. Гед выступил против вступления социалиста в коалиционный кабинет. Каутский, тогда еще на высоте своего величия, вынес резолюцию (которую Плеханов справедливо назвал каучуковой) абстрактного характера, ничего определенного не говорящую по поводу этого случая. Де-Лион, хотя и не присутствовал на конгрессе, выступил в прессе против резолюции Каутского и тогда еще указывал на то, что Каутский вместе с германской социал-демократией идут по стопам реформистов и что в момент краха эта партия и вся европейская социал-демократия перейдет на сторону капитализма. Нужно отдать справедливость Де-Лиону, —во II Интернационале он явился первым, который подметил реформистские тенденции у Каутского, в частности, и в социалистическом движении, вообще.

В 1904 году Де-Лион явился на Амстердамский конгресс II Интернационала и там лично выступил против резолюции Каутского. На этом конгрессе резолюция Каутского была заменена другой резолюцией, которая также отличалась своей неясностью.

Возвратившись в Америку, Де-Лион написал статью под названием: «Flashlights of the Amsterdam Congress» («Освещение событий Амстердамского конгресса»). В этом труде он характеризовал различных вождей II Интернационала. Нужно отдать ему справедливость, что он предвидел и ясно указывал на то, что Каутский и другие вожди идут по пути реформизма.

Интересно в связи с этим указать на то мнение, которое Де-Лион имел о Плеханове: он с большим уважением относился к Плеханову, указывая на его блестящие способности и знания, но в то же время он усомнился в том, что Плеханов в момент взрыва российской революции будет играть выдающуюся роль. Ему казалось, что Плеханов оторвался от русской действительности. Де-Лион не давал никаких фактов, подтверждающих это утверждение. Когда пишущий эти строки просил его пояснить, почему он придерживается такого мнения, он ответил, что Плеханов больше мыслит и рассуждает как француз, чем как русский, указав также на некоторые исторические сравнения. Больших доказательств он не представил. Во всяком случае предсказания Де-Лиона оправдались.

В борьбе против реформистов Де-Лион обнаружил такую боязнь этого течения в рабочем движении, что он ударился в другую крайность—в сектантство, создав секту не только на политическом, но и на экономическом поприще.

Созданная им «Socialist Trade and Labor Alliance» была именно такой сектантской организацией в профсоюзном движении, из-за которой произошла борьба в «С. Р. П.», приведшая к расколу этой много обещавшей партии. Де-Лион, создавший этот социалистический союз, разрушил «С. Р. П.» и не достиг желанной цели—основания революционного союза.

«Socialist Trade and Labor Alliance» с самого начала своего существования имел не больше 30.000 членов. Довольно значительное количество для того периода, если принять во внимание, что «Американская Федерация Труда» в 1895 г. имела лишь свыше 400.000 членов.

Попытка Де-Лиона не увенчалась успехом, ибо она не только расколола партию, но и не дала возможности усилиться социалистическому профсоюзному движению. Приверженцы нового тред-юниона, увидев, что движение не растет, разочаровались в нем. Это обстоятельство вызвало разногласия в революционном профсоюзном движении. Вскоре после раскола в партии в «Socialist Trade and Labor Alliance» произошел также раскол. Самые значительные организации этого малого союза в городе Нью-Йорке выступили и перешли в ряды «А. Ф. Т.», а некоторые отдельные деятельные члены «S. T. and L. A.» совершенно удалились из движения. Постепенно этот социалистический профсоюз терял своих членов, пока он стал дубликатом «С. Р. П.». Одно время дошло до того, что в «S. T. and L. A.» оказалось меньше членов, чем в «С. Р. П.», ибо многие мелко-буржуазные элементы партии не могли принадлежать к профсоюзу.

Так влачила жалкое существование в продолжение нескольких лет «Социалистическая Рабочая Партия» и ее прицепка—«Socialist Trade and Labor Alliance» вплоть до 1905 года, когда в американском движении поднялась стачечная волна, благодаря новому наступлению капитала страны против пролетариата, ибо после долгого периода процветания в промышленности начал приближаться хозяйственный кризис.

XIII.

Наступление капитала вызвало снова борьбу враждебных течений американского рабочего движения внутри «Американской Федерации Труда». Спор возник по вопросу о принципах профсоюзной организации. Профессиональное движение в Америке началось в период, когда развитие капитализма в стране стояло на очень низкой ступени развития и там преобладало мелкое производство. Этому положению вполне соответствовала, как уже указано, организация рабочих по цехам. С развитием крупной промышленности цеховая форма организации уже не соответствовала требованиям борьбы. Необходимо было создать производственные союзы, чтобы с успехом противостоять концентрированным силам капитала. Но «Американская Федерация Труда» во главе с Гомпереом, играя на руку капиталистам, решительно противилась созданию производственных союзов. Ряд

поражений, понесенных рабочими при разрозненных выступлениях во время стачечной борьбы с организованным капиталом, давали противникам Гомперса великолепный материал для иллюстрации несостоятельности цеховщины, которую так горячо защищал Гомперс.

Вдобавок к этому некоторые важные факторы содействовали борьбе вожаков рабочего класса в Америке в этот период. Прекратилась даровая раздача земли в западной части Соединенных Штатов, так что рабочие не могли больше надеяться выйти из положения наемного раба. Империализм в стране развивался быстрыми шагами и вынужден был состязаться на всемирном рынке. Одновременно трестификация промышленности росла не по дням, а по часам. Рабочая аристократия, организованная в «Американской Федерации Труда», вошла в 1901 году в открытую коалицию с врагами рабочего класса, создав «Национальную Гражданскую Федерацию» («National Civil Federation»). Эта «Национальная Гражданская Федерация» была основана предательскими вождями «Американской Федерации Труда» с Гомперсом во главе, и некоторыми магнатами промышленности страны, с Марком Ганном во главе, тогдашним крупным угольным тузом. Цель этой организации состояла якобы лишь в том, чтобы провести в жизнь сотрудничество капитала с трудом. Во главе этой организации стояли не только упомянутый Марк Ганн, но и банкиры типа Бельмонта, американского агента мировой банкирской фирмы Ротшильда, Гери—председатель стального треста С.-А. С. Ш., и другие магнаты. Со стороны же рабочих в эту организацию вошли Гомперс в качестве ее вице-президента, а также Джон Миччель, тогда председатель профсоюза «Об'единенных Шахтеров». Действительная цель «Национальной Гражданской Федерации» состояла в том, чтобы предприниматели могли контролировать и руководить профсоюзами через посредство продажных вождей «Федерации». Эта организация преследовала и другую цель: она стремилась подготовлять новых вождей, новых агитаторов и редакторов для рабочих союзов и их органов печати, которые бы являлись слепыми орудиями в руках крупных магнатов.

XIV.

Все эти обстоятельства играли на-руку революционному отряду рабочего движения. И если бы революционные элементы, оставшиеся в «Американской Федерации Труда», и приверженцы «Социалистической Рабочей Партии» не повторили прежней ошибки и повели бы борьбу против Гомперса внутри «А. Ф. Т.», то они могли бы рассчитывать на успех. Но вместо этого под руководством Де-Лиона революционные элементы все больше и больше продолжали изолировать себя от широких организованных масс. Что Де-Лион вел в этом направлении свою пропаганду, можно видеть из следующих выдержек из его труда «The Burning Question of Trade Unionism»: «Если существует организация его цеха (т.-е. рабочего социалиста. *Я. В.*), которая не находится под руководством рабочих приказчиков капиталистического класса, то обязанность социалиста вступить туда и пытаться перетянуть ее в «Socialist Trade and Labor Alliance». Если же организация находится под полным руководством таких рабочих приказчиков капиталистического класса; если рядовые члены такого союза не могут расстаться с такими вождями, а последних нельзя оторвать от рядовых членов; если такая организация, находящаяся под влиянием капиталистического класса, настаивает на продолжении разделения рабочего класса тем, что ставятся барьеры и ведутся интриги против всех тех рабочих, которые пытаются вступить в профсоюзы; если вожди оказывают такое деморализующее влияние на большинство членов организации, что последние поддерживают своих руководителей в их попытке удержать за этим большинством их места в ущерб меньшинству внутри организации и огромному большинству неорганизованных,—в таких и подобных условиях такая организация не является составною частью рабочего движения, а лишь составной частью капиталистической системы, такая организация является цехом, который в извращенном виде стремится повернуть колесо истории обратно, к зачаточному периоду буржуазной или капиталистической системы. И несмотря на то, что эта организация фигурирует под маской «рабочего» союза, она все-таки является лишь пародией на пролетарскую организацию, ибо она есть не что иное, как репродукция старой цеховой системы»...

Эта цитата Де-Лиона совершенно верно характеризует современные союзы с их узко-цеховыми стремлениями. Но когда он дальше дает советы, как относиться к таким организациям, то он впадает в непростительную ошибку, ибо он советует против таких организаций бороться не изнутри профсоюзов, а извне, т.-е. применять все усилия для сокрушения этих союзов посредством создания новых революционных, социалистических союзов.

Подобная тактика привела к расколу профсоюзного движения. Все революционные элементы покинули «Американскую Федерацию Труда» и в 1905 году образовали новую революционную организацию «Индустриальные Рабочие Мира» («Industrial Workers of the World»), где преобладали синдикалистские элементы. Эта ошибочная тактика американских революционеров, во главе которых стоял Де-Лион, избавив Гомперса от последних остатков оппозиции, окончательно упрочила его господствующую роль в рабочем движении и сильно способствовала превращению «А. Ф. Т.» в крепчайший оплот реакции и капитала. После этого руки Гомперса были развязаны, и он стал заигрывать не только с капиталистами, но и с церковью. Эта самая церковь, в особенности католическая, почтила своим вниманием «Американскую Федерацию Труда», несмотря на то, что Гомперс, ее председатель, был еврей. Католические ксендзы выступали на с'ездах «Федерации» против социалистов, против классовой борьбы и во имя Христа проповедывали сотрудничество капитала с трудом. Под влиянием церкви, внутри «Федерации» образовалась даже новая организация, так называемая «Христова милиция» («Militia of Christ»), цель которой—борьба со всякими «нежелательными» уклонами в рядах пролетариата и установление тесной связи рабочего движения с церковью. И все это Гомперс и его приверженцы могли осуществлять лишь потому, что внутри «Федерации» не существовало никакой оппозиции, которая бы могла ставить препятствия усилению гомпер-

сизма внутри «А. Ф. Т.». Несомненно, Де-Лион являлся одним из главных виновников того, что революционные элементы покинули поле битвы рабочего движения и изолировали себя от широких организованных рабочих масс, а неорганизованных не могли достигнуть.

Одновременно основание союза «Индустриальные Рабочие Мира» привело еще и к тому, что американское революционное пролетарское движение было направлено по ложному, антимарксистскому пути, от которого оно еще и до сих пор не может вполне оправиться. Ибо эта организация на своем учредительном с'езде в 1905 году приняла антимарксистскую программу. И виновником создания такой программы явился Де-Лион: он явился теоретическим основоположником нового учения об индустриализме, этого нового учения, полного противоречий и идущего в разрез с основными теоретическими и тактическими положениями основоположников научного коммунизма—Маркса и Энгельса.

Де-Лион совершенно верно оценил и блестяще осветил развитие новых тенденций того времени в Соединенных Штатах. Он первый указал на сильный рост империализма в Америке после американско-испанской войны в 1898 году, на захватнические тенденции господствующего класса страны. Де-Лион обнаружил предательство рабочих вождей, переняв у известного угольного магната Марка Ганна характеристику этих вождей, как «рабочих лейтенантов капиталистического класса», но, понятно, придав этой характеристике совершенно обратный смысл, употребляя это выражение в презрительном, саркастическом смысле.

Никто так резко и по заслугам не выступал и не разоблачал предательских вождей профсоюзов. В борьбе против создания «Национальной Гражданской Федерации» и «Христовой милиции» Де-Лион играл самую выдающуюся роль, верно освещая капиталистический характер этих организаций, верно указывая на опасность, которая угрожает американскому пролетариату от создания этих организаций. Но, к сожалению, голос Де-Лиона был голосом вопиющего в пустыне, ибо он, изолировав себя от масс, не мог своей блестящей пропагандой проникнуть в гущу американских пролетарских масс. Никто так блестяще не мог доказать необходимость создания производственных союзов, как Де-Лион.

XV.

Великая заслуга Де-Лиона также состоит в том, что он явился первым в марксистской литературе, указавшим не только на громадное значение профсоюзов допролетарского переворота, но и на их крупную роль, которую они будут играть после низвержения буржуазного строя. Ни Маркс, ни Энгельс нигде не намекают на это. Маркс в своем труде «Гражданская война» указывает лишь на то, что все отрасли промышленности перейдут в руки «рабочих ассоциаций». Это было написано в 1872 году вскоре после поражения Парижской Коммуны. В тот период и намека не было на приближение концентрации капитала в форме трестов, синдикатов, картелей и других подобных концернов. И потому Маркс и не мог говорить о необходимости

создания производственных союзов, в руки которых постепенно перейдет промышленность, ибо это не соответствовало бы тогдашнему состоянию промышленности, вылившейся в частновладельческой форме концентрации, самое большее в виде акционерных обществ.

Де-Лион в социалистической литературе явился первым, который указал, что представительство в будущем строе будет обосновано не на географических началах, а на производственных. Еще в 1904 г. Де-Лион в своей брошюре «The Burning Question of Trade Unionism» («Жгучий вопрос тред-юнионизма») высказал следующее мнение:

«Парламент цивилизации в Америке не будет состоять из конгрессменов, выбранных от географических подразделений, а из представителей от профсоюзов страны. Их законодательная работа не явится такой сложной, каковой она бывает в социальном строе, состоящем из классов с противоположными интересами, как, например, в капиталистическом обществе. Наоборот, дело законодателей в таком строе явится легким и будет состоять в том, чтобы посредством статистических данных определять, сколько необходимых продуктов жизни нужно иметь, сколько возможно таковых произвести и сколько труда нужно вложить для производства этих продуктов. И группа рабочих представителей с средним развитием вполне способна провести все это в жизнь несравненно лучше, чем наши современные краснобаи (ораторы) в конгрессе»...

Немного ниже в той же брошюре Де-Лион заявляет:

«Профсоюзу предназначена великая миссия. Эта миссия состоит в том, чтобы организовать весь рабочий класс, об'единив его на производственных началах, иначе говоря, об'единить весь рабочий класс посредством создания производственных организаций. И организовать необходимо не только тех пролетариев, которые в данный период имеют занятие, но и безработных, т.-е. не только тех, которые в состоянии платить взносы. Такое об'единение или такая организация является существенной для того, чтобы не допустить до банкротства возможной окончательной победы, возможного захвата власти пролетариатом. Организация или об'единение на производственных началах также необходимо и для того, чтобы дать возможность рабочему классу перенять и продолжать вести производство в тот момент, когда вооруженная сила общественной (государственной) власти окажется в руках пролетариата, или, в случае необходимости, даже и раньше этого, если политические интриганы, защищающие интересы капитализма, позволят себе осквернить избирательную урну (Де-Лион здесь намекает на обычную в Америке подтасовку голосов во время выборов: избиратели выбирают одного кандидата, а счетчики ухитряются различными способами не допустить до этого, выкидывая очень часто записки на различных основаниях, словом, Де-Лион указывает на мошенничество во время выборов. Примеч. *Я. В.*). Еще в одном отношении миссия производственных организаций имеет большое значение: они показывают, из каких элементов будут состоять депутаты будущего парламента социалистической республики».

Эту мысль Де-Лион высказал 21 апреля 1904 года, еще до первой российской революции 1905 года. Несмотря на ясное

понимание роли производственных союзов после захвата власти пролетариатом, уже тогда замечался, хотя и неясно, уклон в смысле преувеличения значения производственных союзов и умаления значения и роли политической партии. Одновременно с этим Де-Лион уже в этот период избегал говорить о необходимости установления пролетарского государства или диктатуры пролетариата, указывая лишь на «тот момент, когда вооруженная сила общественной (государственной) власти окажется в руках пролетариата» и отнюдь не намекая даже на необходимость переходного периода, на который Маркс так ясно указывает в своем труде «Готская программа». Это является первым отступлением Де-Лиона от учения Маркса о необходимости переходного периода в форме диктатуры пролетариата. Через год после того, как Де-Лион написал свою брошюру «The Burning Question of Trade Unionism», он уже открыто выступил, как мы увидим ниже, против идеи диктатуры пролетариата. Но еще раньше этого намеки на это прорывались у Де-Лиона. Это видно из нижеследующего мнения, высказанного центральным органом профсоюзной организации «American Labor Union», независимой от «Американской Федерации Труда» и шедшей в тот период по стопам Де-Лиона: «Экономическая организация пролетариата является сердцем и душой социалистического движения, а политическая партия есть лишь открытое отражение взглядов этой экономической организации во время выборов. Цель индустриального юнионизма—организовать рабочий класс в различные департаментские производства и распределения, которые бы соответствовали приблизительно тому же подразделению, которое привьется в будущем коллективном (дословно: кооперативном) строе, так что если рабочие потеряют при выборах, в их распоряжении все же останется экономическая организация хорошо подготовленных интеллигентных рабочих, способных перенять и коллективно управлять орудиями производства и рессурсами богатства в своих собственных интересах». Это мнение было высказано центральным органом упомянутой организации «American Labor Union Journal». Де-Лион целиком перепечатал в существовавшем тогда центральном органе «Социалистической Рабочей Партии»—«Daily People» эту выдержку, вполне одобрив ее. Эта выдержка еще яснее высказывает народившуюся тогда мысль Де-Лиона о превосходстве экономической организации пролетариата над политической партией, которая, согласно этому толкованию, должна лишь отражать мнение профсоюзов во время выборов, а не быть руководителем рабочего движения. Если основоположники научного коммунизма в сороковых годах в «Коммунистическом Манифесте» не совсем ясно оттенили роль политической партии, то в семидесятых годах после падения Парижской Коммуны Маркс и Энгельс указывали, что одной из главных причин быстрого поражения Коммуны является отсутствие руководителя в форме партии с определенным направлением (в период Парижской Коммуны существовало несколько социалистических и анархистских течений, руководивших ею). Но никогда основоположники научного социализма не отдавали предпочтения экономической организации перед политической. Этот синдикалистский уклон Де-Лиона отразился на революционном движении Соединенных Штатов, бросив многих рабочих в об'ятия оппортунистов. Де-Лион был несомненно прав, когда он утверждал, что должностные лица старых цеховых союзов стали ставленниками буржуазии и его предсказания, что во время катастрофы оппортунисты всех оттенков будут играть на-руку капитализму, вполне оправдались, и больше, чем Де-Лион мог предвидеть. Оппортунисты и реформисты во время и после мировой войны поддерживали военную политику империалистических правительств, заключили «гражданский мир» (Burgfrieden) в промышленных предприятиях с работодателями, одобрили отмену всех прав, выигранных рабочими раньше в долгой борьбе, и подавляли всякие выступления рабочих в этот период.

Так же верна оценка американских цеховых союзов, что они не могут развить солидарность интересов, необходимую для успешной борьбы пролетариата с капиталом; наоборот, они развивают антагонизм в рядах рабочего класса, разделяя его на различные группы. Пролетариат может успешно преодолеть сильно сконцентрированный капитал лишь в том случае, если он сосредоточит все свои силы для организации не цеховых, а производственных союзов.

Несомненной истиной является и то мнение Де-Лиона, что цеховые союзы не могли и не могут успешно руководить рабочими массами в их классовой борьбе с современным капиталом.

Все эти недостатки тред-юнионов безусловно вызвали сильную стихийно-революционную оппозицию внутри и вне этих устарелых организаций, оппозицию, которая появилась, главным образом, в западной части Соединенных Штатов. Если бы тогдашние вожди обеих социалистических партий познали революционный характер всего этого движения, то они могли бы использовать все эти элементы для революционной деятельности внутри старых профсоюзов. Вместо этого революционно настроенные вожди обеих тогда существовавших социалистических партий с Де-Лионом во главе изолировали революционный пролетариат Америки от широких масс и повели его по ложному пути, создав новую производственную организацию (состоявшую из незначительной части пролетариата страны), на ложных анти-марксистских началах.

XVI.

Неопровержимость нашего утверждения может быть подтверждена цитатой, взятой из принципиальной декларации союза «I. R. M.», которая появилась в виде предисловия к уставу этой организации. Вот что второй параграф (самый важный для характеристики американского индустриального движения) гласит: «Между этими двумя классами (рабочим и капиталистическим. Прим. *Я. В.*) должна происходить борьба до тех пор, пока все трудящиеся об'единятся на политическом, равно как и индустриальном поприщах, и возьмут в свое владение и будут управлять всем тем, что они производят своим трудом, через посредство экономической организации рабочего класса, которая не связана с какой бы то ни было политической партией» (курсив наш. *Я. В.*).

Приходится отметить утопичность этой декларации принципов, которая настаивает на том, что захват всех средств производства и распределения пролетариатом произойдет лишь тогда, когда все трудящиеся организуются на политическом, равно как и на индустриальном поприщах. Подобного рода утопия совершенно противоречит учениям наших основоположников и всему революционному опыту рабочего движения. Если рабочий авангард будет ожидать, пока все трудящиеся об'единятся на политическом, равно как и экономическом поприщах, то он никогда не достигнет своей цели. Только утопист может ожидать, чтобы классовое сознание могло развиться во всем пролетариате при капиталистическом строе, который всей своей силой оказывает влияние на рабочий класс во всех отношениях как в политическом, так и духовном. Только часть пролетариата может освободиться от капиталистического влияния в буржуазном строе. Уже на основании одного этого можно было бы отвергнуть принципы союза «Индустриальные Рабочие Мира».

Но в этой декларации принципов «I. W. W.» вкралось новое антимарксистское учение, которое нам легче будет пояснить после толкования этого нового индустриального учения его теоретическим основоположником, Даниэль Де-Лионом.

В своей брошюре «The Preamble of the Industrial Workers of the World» («Принципиальная декларация Индустриальных Рабочих Мира») Де-Лион истолковывает цитированную нами выдержку следующим образом: «Это основное положение содержит в себе две идеи, которые нужно ясно понять, и которые хотя и выражены в двух различных фразах, об'единены в одно предложение. Эти две идеи отличаются друг от друга—идея абсолютной необходимости политического единства и'та—с виду противоположная идея, которая указывает на достаточность экономической организации в качестве средства для освобождения наемных рабов от капиталистического гнета; мы эти две идеи рассмотрим отдельно».

Из этой цитаты можно уже ясно видеть, что Де-Лион пришел к заключению, что политическая партия совершенно ненужна в момент перенятия производства пролетариатом, что лишь посредством экономической организации пролетариат совершит захват всех средств производства и будет управлять ими без всякого содействия политической партии. Уже теперь ясно, до чего Де-Лион докатился: до полного отрицания руководящей роли политической партии в момент после пролетарского переворота. Но в этом отрицании руководящей роли политической партии после революции содержится еще и другая мысль, которую мы более успешно обнаружим, когда мы более подробно изложим развиваемые Де-Лионом идеи.

В следующей цитате своего труда «The Preamble of the I. W. W.» Де-Лион заявляет: «Капиталистическое общество предполагает существование политического государства, а потому его основные экономические положения претворяются в политические формы. Социалистическое общество, наоборот, не нуждается в политическом государстве; в социалистическом обществе политическое государство есть дело давно минувших дней: оно атрофируется благодаря тому, что оно не использовывается, или же оно уничтожается посредством ампутации—в зависимости от того, как окружающие условия потребуют этого»...

Эта цитата явно противоречит учению основоположников марксизма: согласно понятию Де-Лиона, в социалистическом обществе государство моментально атрофируется или отмирает благодаря тому, что в нем нет никакой нужды или же ампутируется, т.-е. уничтожается. Маркс и Энгельс совершенно иначе смотрели: Маркс в своем труде «Готская программа», как мы уже это указали, настаивает на необходимости переходного периода от капитализма к коммунизму, который, по его мнению, выражается в форме диктатуры пролетариата. Этот переходный период необходим для преодоления сопротивления буржуазии и ее опричников. По мнению Де-Лиона, после захвата власти господствующий класс моментально сдаст свои позиции и не будет сопротивляться. Революционный опыт нам показал, что не только буржуазия, но и рабочая аристократия в лице ее вождей сопротивляется захвату власти пролетариатом. Поэтому Де-Лион ошибается, если он дальше заявляет, что после захвата власти пролетариатом моментально функции государства отмирают. В вопросе об уничтожении государства Де-Лион приближается к анархистам, которые настаивают на необходимости уничтожения государства, что противоречит марксистскому учению, утверждающему, что капиталистическое государство уничтожается, но государство, как таковое, остается, хотя и в измененной форме, приспособленное к нуждам нового социалистического общества, в форме Коммуны, Советов, имеющих в период диктатуры пролетариата две функции: политические и экономические. А потому парламентское правительство с его чисто политическими функциями в этот период никак не может быть применено.

Мы не хотим долго останавливаться на выяснении верности точки зрения Де-Лиона, когда он касается значения политической партии в дореволюционный период. В этом отношении Де-Лион стоит на вполне марксистской точке зрения, отдавая ей должную дань в качестве руководителя, авангарда рабочего движения. Но когда он дальше заявляет, что «историческая миссия политической партии делает ее неспособной для перенятия и управления механизмом производства», то он входит в противоречие с учением Маркса и с революционным опытом рабочего движения.

Еще больше Де-Лион противоречит учению основоположников, когда он утверждает, что «мастерские, фабрики и заводы, кратко говоря все учреждения, которые носят социальный характер и которые теперь находятся в руках капиталистического класса, должны быть переняты не с целью их разрушения, а с целью их улучшения и развития всего того хорошего, которое содержится в них, дегенерируется под влиянием капитализма; коротко говоря, все эти учреждения должны быть перенятыми управляемы человеческим обществом с тем, чтобы их удержать в интересах цивилизации. Как раз наоборот приходится поступить с «политической властью»: она лишь служит для той цели, чтобы ее перенять, т.-е. захватить и сейчас же отменить. Из этого толко-

вания истекает, что цель рабочего политического движения является чисто разрушительной. Предположим, что при каких-либо выборах сознательное крыло рабочего движения победит; предположим дальше, что эта победа явится такой доскональной, что избирательные чиновники не подтасуют голоса несмотря на то, что они могли и хотели бы это сделать; предположим, что наши кандидаты—от президента до депутатов конгресса и всех остальных укрепленных пунктов капиталистической политической крепости—смогут перенять все эти должности... Нам невольно тут же навязывается вопрос: в чем будет заключаться деятельность избранных рабочих депутатов? Что они смогут сделать? Рассматривая с исторической точки зрения, ничего другого, как моментально распустить парламент, т.-е. уничтожить политическое господство одного класса над другим. И этим фактом заканчивается задача рабочих депутатов. Если пролетарское политическое движение в случае победы хотя на одну секунду продолжит свое существование, то оно присваивает себе противозаконную власть, которая явится или в форме узурпации или же в виде сигнала, указывающего на приближение социальной катастрофы, благодаря тому, что политическая победа рабочего класса совершается в тот момент, когда рабочие не организованы в производственные организации, преследующие сознательные классовые цели,—организаций, в руках которых находятся все средства производства и распределения и которые, соответственно этому, могут перенять управление производительными силами страны. Катастрофа моментально настанет, так как все средства производства и распределения останутся в руках капиталистов»...

Эти длинные выдержки вполне ясно убеждают нас, что Де-Лион является ярым врагом диктатуры пролетариата, неумышленно играющего на руку анархистам и буржуазии, когда он советует рабочему классу ни одной секунды не держать политической власти в своих руках после ее захвата пролетариатом. Де-Лион, как мы неоднократно указывали, идет в разрез с учением основоположников, которые настаивали на необходимости удержания власти пролетариатом в переходное время, разрушив лишь одновременно капиталистическое государство и создав новое пролетарское государство. Если же пролетариат последует совету Де-Лиона и уничтожит всякую государственную власть, то он этим самым ослабит свою мощь и даст возможность восстановлению капиталистического могущества, которое не встретит сопротивления со стороны пролетариата, уничтожившего даже пролетарскую государственную власть со всем ее мощным аппаратом и всеми ее атрибутами.

Эта цитата обнаруживает также и утопичность взглядов Де-Лиона, когда он думает, что капиталистический класс допустит, чтобы рабочий класс, организованный по производствам, приготовил аппарат для перенятия этих отраслей промышленности еще в буржуазном строе. Капиталисты не так

глупы: они примут все меры, чтобы сокрушить подобные организации. Аппарат для перенятия хозяйства рабочим классом может быть создан лишь после захвата политической власти пролетариатом.

XVII.

При основании союза «I. W. W.» теоретический основоположник этого движения, Де-Лион, стал на ложную точку зрения. Всякий экономический рабочий союз должен сопротивляться ухудшению положения рабочего класса и по возможности стараться улучшить это положение. Эта функция экономической организации заставляет как цеховой, так и производственный союз принимать в свои ряды всякого наемного рабочего, желающего улучшить свое положение. Революционный дух в экономических организациях должен господствовать в среде самых сознательных рабочих, т.-е. в рядах пролетарского авангарда, в рядах руководителей рабочего класса, которые должны воздействовать на широкие пролетарские массы в революционном смысле и направлять их по революционному пути. Ни на иоту больше этого не может сделать экономическая организация в буржуазном строе.

Де-Лион перевернул все вверх дном. На учредительном с'езде «I. W. W.» он провозгласил новую теорию: экономическая организация должна стоять во главе революционного рабочего движения, а политическая партия должна быть отражением революционного производственного союза. Политическая партия должна существовать лишь для агитационных, пропагандистских целей и для того, чтобы, как Де-Лион заявлял, легализировать индустриальное движение (это является лишним доказательством утопичности учений Де-Лиона). Когда индустриальный союз окрепнет и организует всех рабочих под своей эгидой, тогда пролетариат, по мнению Де-Лиона, захватит в свои руки все средства производства и распределения через посредство индустриальной организации, которой не будет оказывать ни малейшее содействие политическая партия.

Впоследствии ученики и последователи учений Де-Лиона не могли понять необходимости политической партии, играющей незначительную роль, по учению Де Лиона, даже до революции, а в период революции оказывающейся совершенно излишней. Они пришли к весьма логичному заключению, с их точки зрения, что такая политическая партия выеденного яйца не стоит, а потому через пару лет после основания союза «I. W. W.» они выступили открыто против необходимости политической борьбы, политической партии, исключив из своих рядов Де-Лиона и его сподвижников, настаивающих на необходимости такой борьбы. Антимарксистское учение Де-Лиона об индустриализме, противоречащее всецело научному коммунизму, потерпело фиаско и толкнуло индустриальное движение по пути к синдикализму.

Политическая партия не может играть той незначительной роли, которая предписывается ей Де-Лионом. Она должна состоять из сознательных рабочих, вполне понимающих цель пролетарского движения. После захвата государственной власти пролетариатом политическая партия играет еще более важную

роль, чем до этого захвата. В дореволюционный период политическая партия играет выдающуюся роль: она должна агитировать, пропагандировать, организовывать и руководить будничной борьбой пролетариата. После революции роль партии еще более усиливается: начинается созидательная работа политической партии. Она должна руководить переустройством всего хозяйственного и политического аппарата.

Производственный союз не может играть руководящей роли в пролетарском движении в капиталистическом обществе по вышеуказанным причинам.

После захвата политической власти и под эгидой диктатуры пролетариата производственные союзы играют первостепенную роль при переустройстве нового общества на коммунистических началах: весь хозяйственный аппарат страны постепенно перейдет в руки производственных организаций, а государство постепенно атрофируется, ибо оно постепенно теряет свои функции и отмирает, но не отменяется.

Свое великое открытие о важности производственной организации Де-Лион не мог совместить с учением Маркса о необходимости переходного периода—диктатуры пролетариата. А потому он превратил свое учение в красивую утопию, на основании которой будто бы возможно подготовить хозяйственный аппарат будущего социалистического строя в период господства буржуазии, миновав диктатуру пролетариата.

Учение Де-Лиона об индустриализме является ценным, как добавление к учению основоположников научного коммунизма для того периода, когда государство отмирает.

Энгельс в своем труде «Анти-Дюринг» учит: «Первый акт, в котором государство выступает действительно, как представитель всего общества,—взятие во владение средств производства от имени общества,—является в то же время последним самостоятельным актом его, как государства. Вмешательство государственной власти в общественные отношения становится тогда в одной области за другой излишним и само собой засыпает. Место правительства над лицами заступает распоряжение над вещами и руководство процессами производства. Государство не «отменяется», оно отмирает...» (Курсив наш). В подчеркнутом нами месте Энгельс не указывает, кто же именно будет распоряжаться вещами и руководить процессами производства. Маркс в «Готской программе» заявляет, что эти функции перейдут в руки рабочих ассоциаций, Де-Лион еще яснее указывает на то, что производственные союзы будут распоряжаться вещами и руководить процессами производства. Это добавление Де-Лиона к учению основоположников неоценимо и имеет большое значение. Но, к сожалению, Де-Лион не знал, к какому периоду свое добавление применить, а потому его исследование не могло быть оценено по заслугам. Оно пропало в гуще непростительных для такого талантливого человека, как Де-Лион, заблуждений, противоречий и утопий, на которые мы уже указывали.

Это неумение Де-Лиона применить свои тезисы об индустриализме к неопровержимому, научно-обоснованному и на опыте революции проверенному учению Маркса о необходимости установления переходного периода от капитализма к коммунизму в форме диктатуры пролетариата, отражается на всех его взглядах на революционное движение других стран. В особенности это резко проявилось в 1905 году в период первой российской революции. По мнению Де-Лиона, единственной и самой важной причиной этой революции явилась японская война, в которой Россия потерпела поражение. А революционная подготовка большевиков и организация пролетарского авангарда имели очень малое значение.

Де-Лион придавал очень малое значение самостоятельному выступлению российского пролетариата в 1905 году. Наоборот, по его мнению, руководящая роль пролетариата в 1905 году повредила революции того периода, ибо последняя должна была быть буржуазной революцией, а потому руководство принадлежать представителям капитализма, а российский рабочий класс должен был итти в хвосте господствующего класса.

Когда Милюков приехал в Америку и в городе Нью-Йорке после поражения революции в 1906 году произнес речь, в которой он обвинял большевиков в том, что они ставили будто бы препятствия низвержению монархии своими требованиями о сокращении рабочего дня, улучшении положения рабочих и вообще самостоятельными выступлениями пролетариата, то Де-Лион написал статью в центральном органе Социалистической Рабочей Партии «Daily People», в которой он пытался доказать, что большевики идут в разрез с учением Маркса, ибо Россия не созрела для установления социалистического строя. Эта страна, по мнению Де-Лиона, может совершить лишь буржуазную революцию. После того, когда пролетариат организуется на политическом и экономическом поприщах, возможно будет говорить о социальной революции. В этой статье Де-Лион продолжал оправдывать обвинения, выставленные Милюковым против большевиков в том, что они-де не давали ходу развитию революционного движения. Словом, Де-Лион в тот период занял вполне меньшевистскую точку зрения. И это вполне понятно, ибо в этот период Де-Лион отказался от революционного марксизма, защищая свое новое учение об индустриализме, которое должно было заменить выставленное Марксом требование о необходимости переходного периода—диктатуры пролетариата.

Таким образом Де-Лион отрекся от учений Маркса не только по отношению к Соединенным Штатам, но и в международном масштабе. Его же учение об индустриализме не имело большого успеха в Соединенных Штатах. Вначале казалось, что основание союза «Индустриальных Рабочих Мира» приведет к об'единению двух социалистических партий страны, ибо к этой организации присоединился вначале Дебс. Но он недолго там состоял, покинув «I. W. W.», как только там начались разногласия, во-первых, с правыми элементами, как Шерман и, во-вторых, с анархистскими элементами. Легко было справиться с правыми элементами, но не так-то легко было преодолеть анархистские и синдикалистские элементы, которым Де-Лион на руку играл своим учением о необходимости моментально уничтожить не только буржуазное, но и пролетарское государство.

Организация союза «I. W. W.» закончилась таким же фиаско, как и «S. T. and L. A.». Она изолировала социалистическое движение от широких рабочих масс, вызвав к жизни новую секту на экономическом поприще, которая, правда, обнаружила замечательные черты солидарности, героизма и самопожертвования, но на очень недолгое время.

Учение Де-Лиона об индустриализме закончило свою карьеру очень печально: многие приверженцы его стали пессимистами, покинув революционное движение. Несомненно, что одной из причин, почему в данное время нет массового революционного движения в Америке, является появление на свет таких учений, какие Де-Лион старался привить к рабочему движению страны, ибо они долгие годы тормозили попытки пролетариата поднять борьбу против капиталистического класса и затемняли истинное учение Маркса.

Де-Лион оставил в наследство маленькую секту—«Социалистическую Рабочую Партию», которая после его смерти стала оплотом реакции: во время войны эта бывшая революционная партия отказалась от какой бы то ни было борьбы против войны, сделав ничего не говорящее заявление о том, что война ее не касается и что она будет продолжать вести «социалистическую» агитацию», игнорируя мировую войну.

Во время большевистского переворота теперешние «вожаки» «С. Р. П.» выступали против захвата власти российским пролетариатом, оставшись верными меньшевистскому учению Де-Лиона в 1905 году, когда он заявил, что российский пролетариат не подготовлен для перенятия власти, ибо Россия не прошла еще все этапы капитализма.

Теперь же «С. Р. П.» продолжает травлю американских коммунистов, постоянно выступая не только против американского, но и мирового коммунистического движения в самой непристительной форме, не уступая ничем Абрамовичу и другим меньшевикам.

Деятельность такого талантливого человека, как Де-Лион, является самым лучшим образцом, показывающим, как не следует подготовлять революции.

Тем не менее мы должны сказать, что деятельность этого гениального человека не прошла бесследно: она вызвала в борьбе против капиталистического гнета значительную часть пролетарского авангарда Америки. Де-Лион один из первых поднял борьбу против реформизма и оппортунизма в американском рабочем движении на политическом и экономическом поприщах. Продолжающие теперь эту борьбу применяют очень часто его фразеологию.

Нужно отметить еще один важный факт, что при создании коммунистического движения в Америке бывшие приверженцы Де-Лиона играли выдающуюся роль.

Словом, несмотря на все крупные недостатки Де-Лиона, его деятельность в истории американского рабочего движения имеет огромные заслуги в том отношении, что Де-Лион долгое время являлся путеводной звездой в борьбе с оппортунизмом, реформизмом и предательством в рабочем движении Соединенных Штатов.

Музыка и естествознание.

И. Орлов.

Пифагореизм нового времени. Два течения.

Музыкантов, физиков, и в особенности философов, всегда интересовал вопрос: в чем заключается связь между музыкальной гармонией и простыми целыми числами, выражающими отношения колебаний тонов. Известно, что два, три или более одновременно звучащих тона производят впечатление музыкальной гармонии только тогда, когда числа их колебаний находятся в простых рациональных отношениях, как напр., 4:5:6 и т. п. Чем об'яснить далее, что даже более сложные отношения целых чисел связываются с впечатлением консонанса? Так например, если мы имеем пары тонов, числа колебаний которых относятся, как 8:11; 8:13; 10:13; 16:19 и т. д., то каждая пара производит на нас впечатление консонанса.

Каким образом и почему наш орган слуха распознает эти простые числовые отношения и воспринимает их, как гармонии? Вот в чем заключается вопрос. При об'яснении этого вопроса теоретики распадаются на два непримиримых лагеря: эта противоположность двух лагерей в данном вопросе представляет собою частный случай противоположности между материализмом и идеализмом, хотя далеко не всех теоретиков первого лагеря можно считать последовательными материалистами. В то время как одни стремятся дать простое естественно-научное об'яснение этому явлению, другие, наоборот, проникнуты суеверным фетишизмом числа и противятся всяким попыткам совлечь покров таинственности с вопроса о происхождении гармонии, изгнать пифагорейские идеи из той области, в которой они прочно засели. И как это ни странно, среди музыкантов, философов и даже акустиков господствующим является второе, пифагорейское направление, несмотря на блестящие работы Гельмгольца в области физической и физиологической акустики, дающие естественно-научное об'яснение восприятию гармонии.

Идеалистически настроенным теоретикам был органически чужд естественно-научный метод Гельмгольца; им казалось, что такая возвышенная вещь, как музыка, не может зависеть от эмпирических особенностей реальных звуков, от тех акустических явлений, которые они считали второстепенными и побочными. Начав с критики действительных или мнимых слабых мест в теории Гельмгольца, они старались всячески обезвредить его метод, свести к нулю его влияние на музыкальную акустику. И это им почти удалось. После работ Эттингена, Штумпфа, Гуго Римана метод Гельмгольца позабыт, его идеи не признаны, и

ученые круги фактически возвратились к тем пифагорейским идеям, которые господствовали до работ Гельмгольца. И только работы последнего времени с несомненностью обнаруживают, что прав был все-таки Гельмгольц, а не его противники.

Как уже сказано, несколько одновременно звучащих тонов тогда образуют гармоничное сочетание, когда их числа колебаний находятся в простых отношениях между собою. Древним грекам не были известны числа колебаний, но они сравнивали длины струн, сделанных из одинакового материала и с одинаковой силой натянутых; таким образом они также открыли простые числовые соотношения между длинами струн тех тонов, которые производят впечатление консонансов. На этом было основано не только пифагорейское учение о звуке, но и общая натур-философия Пифагора. «Все есть число и гармония»—таково основное положение учения Пифагора. Те же отношения, например, которые существовали между семью тонами гаммы, думали найти и между расстояниями небесных тел от центрального огня. Отсюда возникла идея о гармонии сфер. Подобные фантастические, сумасбродные идеи пользовались популярностью в древности и в средние века; в новое время к ним относились более сдержанно. Но теоретики нового времени в основном и существенном все же были пифагорейцами. Отношение целых чисел к музыкальным консонансам они считали чем-то таинственным и многозначительным. Музыканты, философы, физики—все они удовлетворялись тем, что человек постигает неизвестным, таинственным способом численные отношения колебаний тонов и что он испытывает особенное наслаждение, имея перед собою простые и легко понимаемые отношения.

Эти общепринятые взгляды нашли выражение в XVIII столетии у математика Эйлера.

— Нам приятно все то,—говорит Эйлер,—в чем мы открываем некоторое совершенство; но совершенство предмета определяется тем, что в нем все способствует к достижению его конечной цели. Отсюда следует, что где находится совершенство, там должен быть и порядок; порядок этот заключается в том, что все части распределены по некоторому правилу, из которого можно было бы узнать, почему каждая из частей помещена там, где она находится; поэтому порядок нам нравится более беспорядка. Имея дело с тонами, мы из распределения частей открываем закон их расположений. Чем легче мы воспринимаем порядок, который находится в данном предмете, тем мы считаем его приятнее. Так, мы находим порядок, когда два, три или четыре колебания одного тона приходятся на одно, два или три колебания другого, и мы не находим порядка, когда отношения чисел колебаний иррациональны. Отсюда следует, что звуковое сочетание двух тонов для нас тем приятнее, чем отношение колебаний может быть выражено меньшими числами.

Исходя из этих рассуждений, Эйлер строит детальную теорию консонанса и диссонанса. Теория Эйлера не об'ясняет одного: каким образом человек, даже вовсе не знающий о том, что звук обусловлен колебаниями, все-таки может воспринимать численные отношения звучащих вместе тонов. Впрочем, это никому не казалось недостатком; над этим вопросом не задумывались. Представлялось вполне естественным, что «душа» человека воспринимает «гармонию чисел», господствующую в природе. Представлялось вполне естественным, что, слушая музыку, «душа» считает отношения чисел, и что именно этот счет, это погружение в гармонию числовых отношений и доставляет ей удовольствие.

В этом положении вопрос находился до тех пор, пока Гельмгольц не выступил со всею решительностью против вышеописанных пифагорейских взглядов.

Теория Гельмгольца.

Акустика была уже значительно развитой наукой к тому времени, когда ею занялся Гельмгольц. Заслуга Гельмгольца заключается, главным образом, в том, что он связал теоремы акустики с музыкальной гармонией. Физическая акустика по существу есть не что иное, как часть учения о движении упругих тел. При этом слух имеет значение только удобного вспомогательного средства для исследования этих явлений. Акустика пользовалась названиями, заимствованными из учения о гармонии; в акустике говорилось о гаммах, интервалах, консонансах; тем не менее, между акустикой и музыкой по существу связи никакой не было. Эта связь с полной определенностью была установлена впервые Гельмгольцем. Если до Гельмгольца музыканты интересовались акустическими явлениями, то они видели в них любопытные курьезы и не более. Но Гельмгольц показал, что эти акустические явления обусловливают собою генезис гармонии, что они об'ясняют гармонию—и тем самым Гельмгольц упразднил пифагорейские взгляды.

Согласно Эйлеру и пифагорейцам наше сознание воспринимает рациональные отношения колебаний тонов, как таковые, согласно Гельмгольцу сознание воспринимает только физическое действие этих отношений.

Гельмгольц показал, что рациональные и иррациональные отношения колебаний тонов оказывают совершенно различное физическое действие на орган слуха. К доказательству этого положения преимущественно и сводятся физико-физиологические исследования Гельмгольца, изложенные в его «Учении о слуховых ощущениях».

Если некоторый источник звука—музыкальный инструмент—издает звук определенной высоты, например, имеющий 100 колебаний в секунду, то опытный музыкальный слух различит кроме основного тона еще целый ряд верхних гармонических тонов, которые являются составными частями музыкального звука. Акустическое исследование показывает, что кроме основного тона, имеющего 100 колебаний, звучат более слабо тоны, имеющие 200, 300, 400 и т. д. колебаний. Это явление об'ясняется тем, что источники звука, напр., струны, совершают не простые, но сложные колебания. Эти верхние гармонические призвуки Гельмгольц называл обертонами или частичными тонами. Он показал, что это явление не носит случайного характера, как думали музыканты, и что оно не безразлично для музыки. Свойством издавать обертоны вместе с основным тоном обладают почти все источники звука; музыкальный звук представляет собою комплекс тонов, относительные числа колебаний которых можно представить в виде ряда: 1, 2, 3, 4, 5..., при чем основной тон является только

первым и наиболее низким частичным тоном этого комплекса. Количество частичных тонов и их относительная сила определяют тембр или качество звука; благодаря тембру мы безошибочно различаем звуки, происходящие из различных источников, например, отличаем голос человека от звука трубы, скрипку от флейты и т. д.

Обычно весь комплекс частичных тонов мы воспринимаем как целое, как некоторое единство, и отождествляем его с основным тоном; выделить верхние частичные тоны из этого комплекса невооруженным ухом довольно трудно и требует не малой опытности, при чем эта трудность зависит вовсе не от слабости этих частичных тонов. Для об'яснения этого явления Гельмгольц становится на почву физиологии органов чувств.

Гельмгольц различает ощущения и восприятия. Ощущения,—говорит Гельмгольц,—это впечатления, производимые на наши чувства, это состояния нашего организма (нервных аппаратов). Восприятия—это сформировавшиеся представления о внешних предметах, как о причинах впечатлений. Гельмгольц доказывает далее, что сложение ряда частичных тонов в один звук есть процесс, относящийся не к ощущениям, а к восприятиям. Если в некотором звуке мы распознаем звук скрипки, то это восприятие; мы заключаем о существовании определенного инструмента, которому свойственно воспроизводить подобного рода звуки. Но если мы этот звук будем стараться разложить на его частичные тоны, то это будет делом чистого ощущения. Отдельному частичному тону не соответствует никакое особое звучащее тело, или часть этого тела; отделенный от других частичных тонов того же звука, он не более как часть нашего ощущения. Но ведь наши чувственные ощущения,—говорит Гельмгольц,—имеют для нас значение только в том отношении, что мы можем понимать с их помощью явления в окружающем нас внешнем мире. Для последней же цели достаточно верного распознавания звуков: разделение же звуков на частичные тоны не только бы не помогало распознавать внешние предметы, но даже бы весьма мешало при этом. В употреблении наших органов чувств огромную роль играет практика и опытность: мы весьма опытны в различении звуков, происходящих от различных об'ективных источников; но в разложении звука на частичные тоны мы неопытны, так как подобный анализ ощущений нисколько не помогал бы нам обслуживать окружающий нас внешний мир.

Итак, всякий музыкальный звук представляет собою комплекс, но воспринимается нами как целое. Из этого твердо-установленного им факта Гельмгольц выводит происхождение гармонии. В самом деле, во всех случаях консонанса двух одновременных звуков мы имеем комплексы, содержащие общие, тождественные, совпадающие элементы.

Рассмотрим октаву (отношение чисел колебаний 1 : 2).

Здесь мы имеем комплексы:

1, 2, 3, 4, 5, 6, ...
2, 4, 6, 8, ...

Мы видим, что все частичные тоны второго комплекса входят в состав первого комплекса, чем и об'ясняется впечатление сродства «консонантности» основного тона и его октавы.

Рассмотрим еще квинту (отношение 2 : 3).

Здесь комплексы таковы:

2, 4, 6, 8, 10, 12 . . . . .
3, 6, 9, 12, ...

Очевидно, что эти комплексы так же сродни, имеют ряд совпадающих элементов (6,12...). Точно так же для кварты (3 : 4), терции (4 : 5) и т. д. имеются в комплексах совпадающие частичные тоны.

Имеют значение для гармонии и разностные тоны, математическую теорию происхождения которых дал Гельмгольц. Если одновременно звучат два тона, имеющие числа колебаний в секунду 400 и 500, то, в силу законов колебания упругих сред, возникает третий тон, число колебаний которого равно разности чисел колебаний тонов; в данном случае эта разность равна 100. В тех случаях, когда отношения чисел колебаний рациональны, разностные тоны пополняют комплекс звучащих тонов и приводят его к впечатлению единства. Так, например, в мажорном аккорде, где отношения колебаний тонов выражаются числами 4 : 5 : 6, разностные тоны 1 и 2. Тоны аккорда вместе с разностными тонами образуют комплекс: 1,2,4,5,6; все звуки можно рассматривать как обертоны основного тона 1. Это обстоятельство и характеризует мажорную гармонию, как особое качество.

Минорная гармония (характеризуется числами 10 : 12 : 15) не образует такого комплекса (разностные тоны 2, 3 и 5); этим Гельмгольц об'ясняет неопределенный и мрачный характер минорной гармонии.

Наконец, важное акустическое явление—биения в сильной степени обостряют противоположность между консонансом и диссонансом. Если два тона лежат близко друг к другу, напр., имеют числа колебаний 400 и 420, то между ними происходит явление интерференции. Оба тона усиливаются и ослабевают 20 раз в секунду; при этом получается резкое, беспокойное, прерывистое ощущение на место спокойного непрерывного звучания консонирующих тонов.

Прерывистое ощущение биений, согласно Гельмгольцу, характеризует явление диссонанса в музыке; консонанс же получается при отсутствии биений. Теперь становится понятным, почему для консонанса необходимо иметь совпадающие частичные тоны в комплексах: если тоны совпадают, то биения отсутствуют и вся масса тонов звучит ровно и спокойно, производя впечатление консонанса.

Таковы в самых общих чертах выводы Гельмгольца.

В итоге мы видим, что отношение целых чисел к музыкальным консонансам, которое издавна казалось многозначительной загадкой, и было предметом удивления, всецело об'ясняется посредством применения законов физики.

Итак, получается как-будто, что только звуки, представляющие собою сложные комплексы, только звуки, богатые обертонами, образуют музыкальную гармонию; но дело в том, что если нам даны акустически простые тоны, вовсе не имеющие обертонов, то мы все-таки безошибочно узнаем квинты, терции и другие консонансы. Гельмгольц принял во внимание это возра-

жение; оно не противоречит его теории. В работе Гельмгольца дело идет о генезисе гармонии, о том, как возникают представления о консонансах. Но после того как тональная система сложилась, после того как консонансы из восприятий сделались представлениями, мы можем узнавать знакомые нам созвучия и в том случае, когда даны акустически простые тоны. Но в случае простых тонов,—как указывает Гельмгольц, — мы имеем только сухую, бескрасочную схему гармонии, и только богатые обертонами звуки человеческого голоса и музыкальных инструментов дают впечатление полноты и свежести гармонии.

Штумпф и возвращение к пифагорейским взглядам.

Материалистический метод Гельмгольца был совершенно неприемлем для большинства теоретиков, которые обрушились на него с резкой критикой. Среди этих теоретиков выдвинулся Штумпф, написавший двухтомный труд «Tonpsichologie».

По существу работа Штумпфа является во всех отношениях движением назад по сравнению с Гельмгольцем, и метод Штумпфа основан на метафизических предпосылках.

В то время, как Гельмгольц указывает, что соединение частичных тонов в единый звук есть процесс восприятия, связанный с обслуживанием внешнего мира, а вовсе не процесс ощущения,—Штумпф, наоборот, исходит из той предпосылки, что все гармонические отношения—это отношения между чистыми ощущениями и что они имманентны последним. Поэтому Штумпф a priori отказывается видеть в физических явлениях причину, определяющую гармонию, и ведет все исследование в плоскости метафизической психологии. Гельмгольц, как мы видели, на основе акустики и физиологии органов чувств строит психологическую теорию. Штумпф изолирует акустику и психологию и противопоставляет их друг другу.

Основным понятием у Штумпфа, центральным пунктом его исследований является «слияние тонов» (Tonverschmelzung).

Штумпф рассматривает следующие категории, которые, по его мнению, имманентны ощущениям и выражают отношение между ними: 1) множественность, 2) нарастание (Steigerung), 3) сходство, 4) слияние (Verschmelzung).

Прежде всего ставится вопрос об единстве и множественности. Десятки страниц заполняются чрезвычайно странными, с точки зрения диалектики, рассуждениями: представляет ли собою консонанс единство, или множественность—как-будто одно исключает другое, как-будто нельзя найти единство во множественности.

Воспринимается ли аккорд c-e-g [1]), как единство, или как множество? Штумпф отвечает, что аккорд воспринимается, как множественность. В аккорде c-e-g мы имеем, согласно Штумпфу, три ощущения, которые сливаются между собою, но так, что их слияние нисколько не мешает анализу и восприятию множества.

Обходя другие две категории, перейдем к последней и наиболее важной—«слиянию».

[1]) До-ми-соль.

«Слияние», согласно Штумпфу, есть восприятие отношений нескольких одновременных ощущений, при чем результат «слияния» не равен простой сумме ощущений. Указанные отношения имманентны ощущениям; они не обусловлены ничем другим, ни активностью познающего интеллекта, ни какими-либо третьими тонами, ни вообще каким-либо воздействием из внешнего мира. «Слияние» ощущения тонов является определяющим моментом, а музыкальный консонанс—определяемым. Если отношение тонов воспринимается, как единство, то мы получаем консонанс. Если же отношение между тонами не дает впечатления «слияния», тогда получается диссонанс.

«Слияние» не есть также особая психическая функция; интеллект от себя ничего не привносит к сливающимся тонам. «Слияние», по Штумпфу, как уже указано, имманентно ощущениям тонов.

Исходя из этих, по существу метафизических, предпосылок, Штумпф стремится к тому, чтобы свести на-нет все достижения Гельмгольца в области естественно-научного об'яснения гармонии. Произведя целый ряд психологических и акустических опытов, Штумпф формулирует следующие «законы слияния тонов» [1]). «Слияние» тонов независимо от регистра. В очень низком расположении узнавание труднее, но, поскольку мы узнаем интервал, слияние то же самое.

«Слияние» независимо от абсолютной и относительной силы тонов. При большой относительной разнице в силе анализ невозможен.

Прибавление новых тонов не изменяет «слияния» двух испытуемых. При многочисленных тонах анализ затруднен; но, поскольку мы различаем оба тона, их «слияние» остается тем же.

Обертоны и тембр не влияют на «слияние». Два тона «сливаются» одинаково, являются ли они простыми тонами, или же основными тонами некоторого звукоряда обертонов.

Время не влияет на «слияние»; тоны сливаются одинаково как при длительном, так и при весьма коротком звучании.

Биения не влияют на «слияние». В самом деле,—рассуждает Штумпф,—биения представляют собою не что иное, как периодическое усиление и ослабление тонов вследствие интерференции между ними. Из ранее установленных «законов» известно, что время, а также и относительная сила тонов не влияют на «слияние»; следовательно, и биения не оказывают влияния на «слияние» тонов [2]).

Не трудно увидеть, что все указанные «законы слияния» тонов направлены против Гельмгольца и его теории. Если восприятие консонансов и диссонансов не обусловлено ни обертонами, ни разностными тонами, ни биениями,—это значит, что консонанс вообще не имеет физического об'яснения. После этого Штумпфу уже легко представить гармонию, как психический коррелат таинственных потусторонних отношений.

Было бы печально,—прибавляет Штумпф,—если бы при изменении силы, тембра, регистра тоны сливались бы иначе и

[1]) Tonpsichologie, Bd. II, p. 136.
[2]) Tonpsichologie, Bd. II, p. 207.

изменялся смысл музыки; если бы на различных инструментах получалась различная музыка.

«Слияние» Штумпф различает по степеням. В первую степень попадают октава, квинта и кварта, во вторую—терции и их обращения (сексты), в третью другие интервалы. Степень «слияния» точно так же имманентна интервалу и не зависит от каких-либо физических причин. По Штумпфу не степень сродства тонов обусловливает степень «слияния», а, наоборот, «слияние» определяет кажущееся сродство.

В чем же, все-таки, заключается причина этого «слияния» тонов, которое обусловливает собою гармонию? Штумпф последовательно исключает в качестве возможной причины законы акустики, физиологию периферических органов чувств, законы психологии. Только процессы в мозгу могут быть такою причиною «слияния» тонов,—говорит Штумпф,—и сейчас же раскрывает смысл этого, по терминологии физиологического, а по существу метафизического об'яснения. Что происходит в мозгу, мы не знаем,—говорит Штумпф,—и не можем знать, так как мозг есть ноумен, и представляет собою часть непознаваемого потустороннего мира, который, быть может, вовсе и не находится в пространстве [1]).

Итак, вот что представляет собой в конечном счете знаменитое «Tonverschmelzung».—Это не что иное, как психический коррелат потусторонних, быть может, вне-пространственных отношений.—Что и требовалось доказать!—мог бы прибавить Штумпф:—гармонии возвращена ее таинственная многозначительность, и пифагореизм в видоизмененной форме торжествует.

Но присмотримся поближе к тем опытам, которые производил Штумпф. Вряд ли будет слишком резко сказать, что вся его методология основана на некотором недоразумении.

Дело идет вовсе не о том, что музыка будет получать различный смысл в различных регистрах, и отношения тонов будут различными на различных инструментах; Гельмгольц никогда не предполагал ничего подобного. Дело идет о генезисе восприятий гармонии, о генезисе восприятий консонансов и диссонансов; именно это и имеет в виду Гельмгольц.

Но ясное дело, после того, как тональная система сложилась, после того как различные аккорды, а также интервалы, как квинты, кварты, терции и проч., стали хорошо знакомыми и весьма привычными восприятиями опытного музыканта, самого легкого намека на интервал достаточно для того, чтобы воспроизвести его в сознании. Совершенно ясно, что музыкант действительно узнает привычные ему отношения тонов независимо от регистра, тембра, силы и т. д. Основное недоразумение Штумпфа и заключается в том, что он это узнавание привычных отношений принимает за «слияние» тонов; ассоциации, привносимые развитым музыкальным сознанием он принимает за отношения, имманентные ощущениям.

— В очень низком расположении узнавание отношений затруднено,—говорит Штрумпф: но, поскольку я узнаю интервалы, они сливаются обычнымм образом. При большой относительной

[1]) Tonpsichologie, Bd. II, p. 213.

разнице в силе тонов анализ отношений затруднен; но, поскольку я узнаю эти отношения, они сливаются как обычно и т. д.

Словом, исследуя «слияние» тонов, Штумпф повсюду узнает знакомые интервалы и свои привычные ассоциации выдает за имманентные свойства слуховых ощущений; конечно, таким образом он ничего не может открыть другого, кроме отношений прочно усвоенной мажор-минорной системы.

Большинство своих опытов Штумпф производил с музыкально развитыми людьми. Но он произвел также ряд опытов с людьми не музыкальными. Здесь он вовсе не получил того результата, что слияние не зависит от регистра, силы, тембра и т. д. Здесь Штумпф пытается выйти из затруднения путем совершенно произвольного истолкования этой серии опытов. От акустических причин,—говорит он,—зависит только способность различения интервалов, а не степень их слияния, попадая таким образом в очевидный порочный круг.

Следует прибавить, что Штумпфу далеко не всегда удается свести концы с концами. Так, среди его «законов слияния тонов» мы находим следующий: «В чистой фантазии слияние тонов остается тем же самым. Если я два тона только представляю звучащими, то я могу представить их только сливающимися, притом в определенном градусе слияния, каким они обладают и при действительной слышимости».

После того, как столько десятков страниц потрачено для доказательства того, что «слияние» имманентно ощущениям, вдруг оказывается, что «слияние» получается и в чистой фантазии, т.-е. в отсутствии ощущений, независимо от них. Выводит ли отсюда Штумпф, что «слияние» не имманентно ощущениям? Нет, он этого вывода не делает. Отсюда он пытается вывести только, что «слияние» независимо от физической природы звука.

Мы видим, что его истолкования психологических опытов и наблюдений так же схоластичны и не убедительны, как и все его остальные рассуждения.

Двухтомная пустыня «Тональной психологии» только потому пользуется таким авторитетом, что она направлена против материалистического метода Гельмгольца.

Работы Римана. Новейшие исследования.

В том же направлении, что и Штумпф, работал другой, весьма авторитетный теоретик, Гуго Риман. Он воспользовался некоторыми слабыми местами в теории Гельмгольца для того, чтобы попытаться похоронить его метод. Слабым местом Гельмгольца является то обстоятельство, что он дал только отрицательную, но отнюдь не положительную теорию консонанса. В конечном счете по Гельмгольцу диссонанс обусловлен биениями, а консонанс спокойным звучанием, отсутствием биений; но отсутствие биений есть, конечно, только отрицательный признак. Риман поставил своей задачей в области музыкальной акустики—дать положительную характеристику консонанса.

Гуго Риман является представителем особого направления, которое можно назвать спекулятивной акустикой. Это направление выводит законы акустики не из опыта, а из соображений

числовой симметрии, которая a priori предполагается существующей в отношениях музыкальных тонов. Выводы, полученные Гельмгольцем, решительно отвергаются во имя этой симметрии. Главным изобретением спекулятивной акустики являются знаменитые унтертоны, получившие весьма широкую известность.

Мы уже говорили о том, что звук определенной высоты, получаемый на каком-либо музыкальном инструменте, дополняется рядом обертонов, число колебаний которых в 2, 3, 4... раза более, нежели число колебаний основного тона. Если относительное число колебаний основного тона мы примем за 1, то у нас получается комплекс, который выражается рядом 1,2,3,4,5...

Риман по соображениям симметрии дополняет этот ряд обертонов рядом унтертонов. Он утверждает, что будут получаться также тоны, числа колебаний которых равны $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$ и т. д. колебаний основного тона. Эти тоны, идущие вниз от основного тона (в то время как обертоны идут вверх), Риман и назвал унтертонами. Правда, на практике не удалось обнаружить существования унтертонов; унтертоны нельзя расслышать ни непосредственно невооруженным ухом, ни при помощи резонаторов и других акустических приборов; но это обстоятельство мало смущает Римана и его последователей.

Унтертоны, по мнению Римана, имеют скрытое существование; их существование обусловлено природой вещей, логикой числовой симметрии, лежащей в основе тональной системы. Скрытое существование унтертонов,—говорит Риман,—имеет значительные звуковые последствия, весьма важные для гармонии [1]); положительную характеристику консонансу Риман дает при помощи унтертонов. Согласно Риману, консонанс образуют такие два тона, которые имеют общий унтертон. Если унтертоны отдельного тона не слышны, то общий унтертон двух тонов всегда хорошо слышен,—уверяет Риман. На этом основании он оспаривает теорию разностных тонов Гельмгольца.

Возьмем, например, два тона, числа колебаний которых относятся как 8 : 13. Согласно Гельмгольцу, должен получиться разностный тон с относительным числом колебаний, равным 5. Между тем этот разностный тон почти вовсе не слышен. Музыкант слышит совершенно ясно общий унтертон с относительным числом колебаний, равным 1; то же самое происходит и при других простых числовых отношениях, как $\frac{7}{4}, \frac{8}{5}, \frac{15}{8}$ и т. д. Отсюда выводится несостоятельность теории Гельмгольца и правота пифагорейских идей.

Ряд обертонов и ряд унтертонов симметричны друг по отношению к другу и представляют как бы зеркальное отражение друг друга. Точно так же симметричны и «зеркальны» по Риману мажорная и минорная гармония [2]). Так, тоны мажорного

[1]) Гуго Риман, «Акустика с точки зрения музыкальной науки», перевод П. Кашкина.

[2]) На основании также спекулятивных построений Эттингена.

аккорда выражаются числами 4 : 5 : 6 и представляют собою 4-й, 5-й и 6-й обертоны некоторого тона, принятого за единицу, а тоны минорного аккорда выражаются числами $\frac{1}{6} : \frac{1}{5} : \frac{1}{4}$ и представляют 4-й, 5-й и 6-й унтертоны некоторого тона, принятого за единицу. Для доказательства важного значения унтертонов ссылаются также на то, что унтертоны встречаются в песнях некоторых народов.

Однако исследования последнего времени решительно подтверждают правоту Гельмгольца. Дело в том, что и сам Гельмгольц недостаточно оценивал значение и силу обертонов, сопровождающих основной звук. Согласно данным Флетчера [1]) ближайшие обертоны в некоторых случаях немногим уступают в силе основному тону. Если передать звук голоса или скрипки на телефон, и при этой передаче вовсе выключить частоту, соответствующую числу колебаний основного тона, то такое исключение основного тона почти не изменяет звука ни по силе, ни по качеству. Совокупность частичных тонов рассматривается физиками, как спектр данного звука. Если рассмотреть, как распределяется энергия в таком спектре, то окажется, что на долю основного тона во многих случаях приходится не более 10% всей энергии сложной звуковой волны.

Но если обертоны имеют такое значение, то, следовательно, надо принимать во внимание не только разностные тоны между основными тонами, но и разностные тоны обертонов. Если мы рассмотрим опять интервал $\frac{13}{8}$, то третий и пятый частичные тоны и дадут разностный тон 1. Почему же разностный тон 1 слышнее, нежели 5? Это также является подтверждением математической теории разностных тонов Гельмгольца, так как согласно его теории сила разностного тона обратно пропорциональна квадрату числа колебаний [2]).

Но, конечно, разностный тон 1 звучит только в том случае, когда обертоны достаточно сильны по сравнению с основными тонами; если же взять звуки со слабыми обертонами, то слышна не 1, а только 5.

И вообще в результате точных экспериментов ничего не остается от «симметрии», «зеркальности» и прочих построений спекулятивной акустики [3]).

Эволюция музыки.

Исторический факт заключается в том, что музыка эволюционирует, что восприятия гармонии меняются от эпохи к эпохе, и зачастую меняются резкими скачками. В этой связи теория Гельмгольца также имеет огромное преимущество перед

[1]) H. Fletcher, «The Physical criterion for determining the pitch of a musical tone», Physical Review, March 1924.

[2]) В первом приближении. Выражаясь точнее, — амплитуда разностного тона изменяется быстрее, нежели квадрат числа колебаний.

[3]) См. И. Орлов, «Опыты с катодным гармониумом Ржевкина». Сборник работ по музыкальной акустике. Гос. Инст. Музыкальн. Науки, вып. I, Москва 1925 г.

теориями Штумпфа и Римана. Пифагорейские в своей основе взгляды Штумпфа и Римана, в сущности, исключают возможность эволюции гармонии. Гармонию они рассматривают, как некоторый вечный и неизменный закон, заложенный в природе вещей, в отношениях чисел. Между тем, Гельмгольц определенно говорит, что система гамм, тонов и их гармоническое построение основываются не только на неизменных законах природы, но являются также развитием эстетических принципов, которые подвержены изменению в связи с развитием человеческого общества. Это развитие проявляется прежде всего в том, что постоянно меняется граница между консонансами и диссонансами, а вместе с изменением этой границы подвергаются многоразличным изменениям гаммы, тоны и их модуляции.

Гельмгольц указывает на то, что значение этих фактов еще и доныне недостаточно усвоено нашими музыкальными теоретиками и историками» [1]).

Рамо и Даламбер—теоретики XVIII столетия—пытались дать естественно-научное обоснование гармонии. Но у них мы находим только указания на неизменные законы природы, ссылки на то, что гармония дана самой природой, что она натуральна; при этом мы не находим у Даламбера и Рамо даже намека на возможность эволюции гармонии. По этому поводу Гельмгольц иронически замечает: «В середине XVIII столетия, когда начинали сильно страдать от искусственного государственного порядка, было достаточно представить вещь натуральною, чтобы этим доказать, что она прекрасна. Но при ударении прутьев, колоколов, перепонок, при вдувании в полости Рамо мог бы слышать еще множество диссонирующих аккордов, которые также получаются путем натуральным».

Новые исследования с достаточною убедительностью показали, что системы ладов, интервалов и т. п. у различных народов в различные эпохи зависят от принятого способа настройки инструментов, а вовсе не от мистических законов числовых отношений. Именно этим легко об'ясняется возникновение унтертонного лада в песнях некоторых народов (в том числе и в русской народной песне), на которое любили ссылаться сторонники Римана.

При отсутствии нотного письма, инструмент и его настройка играет для народного певца ничем не заменимую роль меры, масштаба, направляющего движения его голоса. Но самая простая, примитивная настройка струнного инструмента заключается просто в том, чтобы разделить струну на 4, 8, 16 равных частей. И, действительно, грифы многих народных инструментов имеют подобное простое устройство; но $\frac{7}{8}, \frac{6}{8}, \frac{5}{8}$ и т. д., а также $\frac{15}{16}, \frac{14}{16}, \frac{13}{16}$ и т. д. части струны будут давать унтертоны. Подобным же образом примитивные флейты и свирели, на которых отверстия нанесены на равном расстоянии друг от друга, также дают ряд унтертонов. Поэтому певец свыкается

[1]) «Учение о слуховых ощущениях», стр. 334 рус. пер.

с унтертонными отношениями, последние поэтому попадают в народную песню.

Роль инструмента, как масштаба для народной песни, должна быть громадна. И в настоящее время мы можем наблюдать, что народная мелодия вытесняется не столько под влиянием городской песни, сколько под влиянием распространения городских инструментов, как, например, гармоника, строй которых чужд строю народной песни.

Исследователи русских народных песен приходят к выводу, что песни, построенные на кварте, имеют более примитивный и, следовательно, более древний характер, нежели песни, в основе которых лежит отношение квинты, хотя с чисто акустической точки зрения созвучие квинты носит более простой характер. Это обстоятельство можно об'яснить только тем, что при простейшем способе настройки нельзя получить квинту. Квинта получается тогда, когда переходят к более совершенному, но и более сложному способу настройки, когда на одной и той же струне получают и $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{3}$. Вместе с изменением способа настройки радикально изменяется также строй народной песни.

Указанные отношения дают нам пример зависимости музыкальных восприятий от материальной основы, а также пример скачкообразной эволюции музыки. Таких примеров история музыки дает очень много. Но мы не будем на них останавливаться, и в заключение укажем только на тот весьма резкий скачок, который музыка сделала в новейшее время под влиянием развития нервной, напряженной городской культуры. Этот скачок заключается в том, что в произведениях новейших мастеров вовсе исчезли мажорно-минорные трезвучия и обычного типа консонансы и заменились такими созвучиями, которые раньше оценивались, как резкие диссонансы. Раньше считались гармонически приятными только такие сочетания тонов, которые звучат спокойно, дают ровное, непрерывное звуковое ощущение; дрожащий, прерывистый характер, который придается звуку биениями, считался признаком диссонанса. Теперь же спокойно звучащие гармонические сочетания утратили всякий интерес, и новые гармонии всецело строятся на принципе прерывистого звучания, на принципе биений [1]). Такой сдвиг произошел под влиянием нервного темпа городской жизни, в эпоху развитого капитализма, который вынуждает музыкантов к поискам все более актуальных акустических эффектов для усиления воздействия на слушателей. В произведениях Скрябина, Шенберга, Прокофьева и других новейших композиторов как эффекты колорита, так и самое построение гармоний основано на том, чтобы каждый тон участвовал в биениях и звучал прерывисто и напряженно, а не спокойно, как в прежней музыке; именно биениями обусловлен тот как бы напряженно-бархатный колорит, который является характерным для новейшей музыки. Современные теоретики-пифагорейцы пытаются об'яснить подобные эффекты переходом к интуитивному осознанию более сложных числовых отношений; но реальный акустический анализ легко вскрывает всю несостоятельность подобных попыток.

[1]) См. И. Орлов, «Биения и их значение в новейшей музыке». Сборник по музык. акустике, ГИМН, 1925 г.

Гельмгольц исходил из того положения, что прерывистые ощущения всегда неприятны, и что биения служат признаком диссонанса. На этом он и построил свою теорию консонанса. Но развитие капитализма, развитие городской культуры превратило исходное положение Гельмгольца в собственную противоположность. Если понимать теорию Гельмгольца буквально, то всю современную музыку пришлось бы рассматривать, как один сплошной диссонанс. Но понимать буквально теорию Гельмгольца—значит, вовсе не понимать ее. При всех своих частных ошибках Гельмгольц дал тот материалистический метод, который позволяет вскрывать естественно-научную основу всякого рода музыкальных построений. Метод Гельмгольца позволяет также вскрывать полную несостоятельность той идеалистической метафизики, которая с особенным старанием плетет свои сети вокруг учения о гармонии.

ТРИБУНА.

Марксизм в современной психологии[1]).

В. Струминский.

Современная психология бесспорно развивается под знаком марксизма и эпитет «марксистская» в применении к этой науке встречается в настоящее время не менее часто, чем незадолго перед этим другой, более общего и менее определенного характера, эпитет—«научная». Можно уверенно сказать, что в настоящее время мы имеем перед собой достаточно уже оформившееся стремление группы психологов найти для своих построений твердую опору в марксистском мировоззрении, впитать в себя идейные влияния последнего и с научным марксистским методом подойти к исследованию материала, изучение которого до сих пор составляло специфическую привилегию психологии. Официально этот новый курс в психологии был провозглашен еще три года тому назад, когда группа московских психологов во главе с проф. К. Н. Корниловым об'явила на Всероссийском психо-неврологическом с'езде в качестве очередной, давно уже созревшей задачи психологии—ревизию ее построений с точки зрения марксизма. Как бы скептически ни была встречена в то время эта задача с разных сторон, было ясно, что предпринята работа огромная, которая рано или поздно должна перевернуть веками складывавшиеся приемы мышления в научной области, традиционно именуемой психологией и уже в самом наименовании своем носящей следы своего мифологического происхождения. Означенное выступление на психо-неврологическом с'езде сравнительно немногочисленной группы психологов с полным правом может быть поэтому рассматриваемо, как об'явление в своем роде новой эры в развитии психологической науки. Сами инициаторы именно так и склонны расценивать свое выступление. Сборник очерков, посвященных обсуждению основных вопросов, устанавливающих взаимоотношение психологии и марксизма (проф. К. Н. Корнилов «Современная психология и марксизм», Ленгиз, 1924 г.), автор их рассматривал, как те «первые камни, которые должны пойти на создание грядущей системы марксистской психологии» (стр. 3), а проф. Рейснер воспринял эти очерки, как волнующую прелюдию к той симфонии, которая еще имеет быть создана в более или менее недалеком будущем, как результат пересмотра психологии с точки зрения марксизма.

Само собой понятно однако же, что, хотя новый курс в психологии провозглашен и новый эпитет ей присвоен, тем не менее конкретное осуществление поставленной перед этой наукой задачи требует тщательного критического внимания к основным моментам предпринятой работы. В настоящее время инициаторы ревизии уже в достаточной степени высказали свои прин-

---

[1]) *Примечание редакции.* Вместе с окончанием статьи тов. Струминского в следующем номере будет дан ответ т. Корнилова.

ципиальные суждения по вопросу о психологии и марксизме, чтобы явилась возможность попытаться в целом подойти к основным контурам намеченной ими работы и спросить себя, насколько и как в действительности осуществляется предпринятая с точки зрения марксизма ревизия психологии, какого сорта те камни, которые в качестве марксистского фундамента предназначены для создания «грядущей системы марксистской психологии». Сам проф. Корнилов, сделавший в качестве инициатора нового направления очень много как в смысле публичной пропаганды слияния психологии с марксизмом, так и в смысле организации ряда работ в новом направлении, смотрит на свою попытку, «как на первую рекогносцировку в этой области, где, конечно, будут свои пробелы и, может быть, промахи» (стр. 5), но, как справедливо замечает он далее, «нужно, наконец, и эти проблемы поставить на очередь, дабы вызвать к ним актуальный интерес всех, кто интересуется подобного рода проблемами» (стр. 5). Сборник очерков проф. Корнилова вышел в настоящее время уже вторым изданием (Ленгиз, 1925 г.) с прибавлением дополнительных двух статей, написанных автором в развитие своих взглядов. Тем же автором издан «Учебник психологии, изложенной с точки зрения диалектического материализма» (Ленгиз, 1926 г.) и под его же редакцией выпущено два тома трудов Психологического Института—«Психология и марксизм» (Ленгиз, 1925 г.) и «Проблемы современной психологии» (Ленгиз, 1926 г.). Все это дает уже достаточный материал как для уяснения той позиции, которая занята инициативной группой психологов-марксистов, так равным образом и для суждения по вопросу о том, идут ли они действительно к марксизму или, может быть, сплошь и рядом только обходят его, как это очень часто бывает с теми, кому впервые приходится прокладывать новые пути в еще неисследованной области.

Предполагая использовать для суждения о позициях современной «марксистской» психологии работы проф. Корнилова, как дающие наибольший материал, мы попытаемся выяснить эти позиции применительно к трем основным вопросам, ответом на которые могут быть исчерпывающе определены с принципиальной стороны взгляды психолога-марксиста. Эти вопросы касаются: а) метода построения грядущей системы марксистской психологии в целом, б) материалистической установки на об'ект психологического исследования и в) конкретного применения диалектики к исследованию материалистически трактуемого об'екта психологии.

1. «Диалектический» синтез суб'ективного и об'ективного направлений, как метод построения марксистской психологии.

Представление о синтезе, который воссоздаст из развалин прочное здание новой психологии, построенное на марксистском фундаменте, является основным у проф. Корнилова. По его мнению, синтез этот явится результатом устранения тех недостатков, которые свойственны двум противоположным системам современной психологии: «так называемая, эмпирическая психология,—пишет он,—этот тезис современной психологии, — уже одряхлела и не выдерживает никакой критики. Ее антитезис—рефлексология—или игнорировала, или недооценивала психику,

как таковую, со всем своеобразием ее явлений (стр. 3). Устранив недочеты обеих систем и сочетав их достоинства, которые подробно анализирует в своей брошюре проф. Корнилов, мы получим, по его мнению, желаемый синтез—марксистскую психологию. Что этот синтез должен во что бы то ни стало произойти, порукой этому служит для проф. Корнилова диалектический принцип. «Я глубочайшим образом уверен,—пишет он,—что диалектика, этот руководящий маяк всякого марксиста, оправдает себя, а тем самым и меня, и в данном случае» (стр. 3). Поэтому «для того, чтобы вскрыть, что должна представлять собой психология с марксистской точки зрения, лучше всего,—пишет проф. Корнилов,—воспользоваться основным методом марксизма—диалектическим. А так как диалектика по своему существу есть учение о формах развития реальной действительности, то из этой-то реальной действительности необходимо исходить и в данном вопросе. Ведь не явится же эта система марксистской психологии чем-то неизвестно откуда взявшимся и абсолютно порывающим с прошлым, ясно, что ее исходные корни будут лежать в современной исторической действительности, в тех психологических течениях, которые столь рельефно выступают на первый план в наши дни во всех странах Европы и Америки. Я беру на себя смелость утверждать, что грядущая система марксистской психологии будет синтезом двух борющихся сейчас во всех странах течений: наиболее давнего и уже достаточно одряхлевшего, хотя и находящего еще своих адептов так называемого эмпирического или суб'ективного направления, этого тезиса современной психологии, и второго, более позднего, скорее продукта наших дней, этого антитезиса, каковым является психология поведения, рефлексология или, как еще называют, об'ективная психология» (стр. 76). Таков в общих чертах тот узор, который, по мнению проф. Корнилова, должен быть диалектически осуществлен в процессе развития современной психологии. Подробно разбираясь в достоинствах и недостатках найденных им тезиса и антитезиса, как предпосылок «грядущей системы марксистской психологии», проф. Корнилов конкретно намечает в своей работе основные вехи этой системы. Не касаясь пока этой, более детальной части его работы, к которой вернемся в дальнейшем, присмотримся в целом к особенностям того пути, который под именем диалектического намечается нашим автором для его грядущей системы.

Прежде всего, обращает на себя внимание настойчивая попытка автора во что бы то ни стало установить формы будущей марксистской психологии с помощью гегелевской триады с ее тезисом, антитезисом и синтезом. К соблюдению формального схематизма гегелевской диалектики в сущности и сводится вся видимость диалектического построения автора. Нельзя не признать, что здесь очень много искусственности. Конечно, если уже найден реальный путь развития, то для большей раздельности представления этого пути всегда возможно с той или иной степенью трудности установить в этом последнем и тезис, как отправную точку пути, и синтез, как его заключительную точку, и антитезис, как промежуточный момент. Но искать реальных путей развития путем отвлеченного схематизма—это значило бы становиться на путь схоластических по-

строений, которые вовсе не отвечают духу диалектического материализма. Если поэтому проф. Корнилов настойчиво подчеркивает диалектический характер намечаемого им пути развития психологии, то он во всяком случае не прав в своей уверенности, что это есть путь диалектического материализма. Не трудно, в самом деле, видеть, что, желая воспользоваться для своего прогноза грядущих путей психологии диалектикой, как «учением о формах развития реальной действительности», он сразу же, минуя эти формы, поднимается в сферу идеологии, в область всевозможных психологических течений, которые, конечно, лежат в современной исторической действительности, но которые являются только отражением в человеческом сознании фактов поведения, изучаемых психологией. Психология, как наука, и в своем содержании, и в своих методах зависит не от предшествующих ей психологических течений, а от тех фактов поведения, которые ею отражаются. Эти факты есть действительность, а психологические течения—их отражение. Диалектикой фактов определяется развитие психологии, которую таким образом следует мыслить величиной зависимой. Материалистическая диалектика есть диалектика бытия, но не диалектика идей, которые всегда следуют в своей смене за бытием, отражая его, но самостоятельной жизни не имеют. Закон смены идей заложен в тех реальных процессах, отражением которых идеи являются. Но в самих идеях еще нет той движущей силы, которая бы определяла собой их смену. На эту материалистическую точку зрения Маркс и Энгельс стали еще в первой своей совместной работе, посвященной разбору немецкой идеологии. В этой работе они писали: «Мы не будем исходить из того, что люди говорят, воображают себе, представляют себе, и не из мыслимых, воображаемых, представляемых людей, чтобы притти затем к телесным людям: мы будем исходить из реально деятельных людей, пытаясь вывести из их реального жизненного процесса также и развитие идеологических рефлексов и отражений этого жизненного процесса. Таким образом, мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания утрачивают свою видимость самостоятельности. У них нет вовсе истории, у них нет развития: только люди, развивающие свое материальное производство и свои материальные сношения, изменяют в этой своей деятельности также свое мышление и продукты своего мышления. Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание» («Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», т. I, стр. 216). Такова точка зрения основоположников марксизма. Идеологии не имеют истории, у них нет развития. В своей смене они следуют за диалектикой реального жизненного процесса. Вот почему попытка проф. Корнилова наметить пути психологии, исходя из психологических течений современности, не может считаться марксистской. Его синтез суб'ективного и об'ективного направлений современной психологии не есть результат действительного диалектического процесса. Это простая спекулятивная комбинация, в которой тщательно соблюден формальный диалектический схематизм, но которая по существу своему представляет построение идеалистического типа. Никакой материалистической диалектики здесь еще нет.

Такой взгляд на идеологии не означает однако же того, что марксизм отказывается иметь с ними какое бы то ни было дело. Рассматривая идеологии, как нечто зависимое и несамостоятельное, как отражение реального жизненного процесса, марксизм учитывает в то же время, что возникшая на определенной основе идеология тем самым получает не только видимость самостоятельного существования, но и вступает в определенное взаимодействие с другими жизненными факторами. Марксизм учитывает, что каждая эпоха унаследует запас идеологических представлений от предшествующих эпох, при чем эти представления не только вступают во взаимодействие с другими представлениями, но также оказывают сплошь и рядом обратное действие на породившую их основу. Как говорит Энгельс, «раз возникнув, всякая идеология развивается в связи со всей совокупностью существующих представлений и подвергает ее дальнейшей переработке» («Л. Фейербах», М. 1922 г., стр. 59). Так, напр., «политическое, правовое, философское, религиозное, литературное, художественное и т. д. развитие основано на экономическом. Но все они оказывают влияние друг на друга и на экономическую основу. Дело обстоит совсем не так, что только экономическое положение является единственной активной причиной, а остальное является лишь пассивными факторами» (Письмо Энгельса к Штакенбургу, 25, I, 1894 г.). Но эта именно видимость самостоятельного существования, когда то или иное отражение выступает в качестве имеющего самостоятельную жизнь заместителя отражаемого процесса, и есть неизбежная ошибка всякого идеологического процесса. «Как раз этот призрак самостоятельной истории государственных конституций, правовых систем, идеологических представлений в любой области, как раз это и ослепляет большинство людей,—пишет Энгельс.—Победа физиократов и Адама Смита над меркантилистами кажется простой победой мысли, вовсе не отражением в области мышления изменившихся экономических фактов, а представляется достигнутым, наконец, истинным пониманием неизменно и повсюду существующих фактических условий» (Письмо Энгельса к Мерингу, 14, VII, 1893 г.). В действительности, всегда и везде «материальные условия жизни людей, в головах которых совершается данный процесс мышления, определяют его собою» («Л. Фейербах» Энгельса, стр. 60). Поэтому во всех тех случаях, когда какая-либо идеологическая область, как определенная сфера разделения труда, «располагает в качестве предпосылки определенным мыслительным материалом, который передан ей ее предшественниками, и из которого она исходит», во всех этих случаях только экономика прямо или косвенно «определяет вид изменения и дальнейшего развития имеющегося на-лицо мыслительного материала» (Энгельс, письмо к Шмидту, 27, X, 1890 г.). Таким образом, та относительная доля самостоятельности, которой располагают идеологии, вовсе не основание к тому, чтобы спекулятивными комбинациями различных идеологических течений подменять изучение реального жизненного процесса, порождающего эти течения и в них находящего себе отражение. То новое направление в психологии, которое желательно предугадать, конечно, будет результатом происшедших изменений в материальных условиях жизни и поведения людей. Раз возникнувши, оно, конечно, станет в определен-

ные отношения к предыдущим направлениям в этой идеологической области, так или иначе использует накопленный ранее материал. Но его никоим образом нельзя вывести из этих предшествующих направлений, так как оно явится не логическим следствием из их сопоставления, а только отражением новых материальных условий жизни и поведения в человеческом обществе. Дело здесь обстоит приблизительно так же, как в процессе смены теней, являющихся отражением движущихся предметов. Если тени сменяются в определенной последовательности, производящей впечатление полной закономерности, то все же мы прекрасно знаем, что эта смена только отражение реальной смены и в этой последней находит свое окончательное об'яснение.

Проф. Корнилов, правда, вскользь говорит о тех реальных процессах, которые составляют предпосылки развития и смены психологических течений, но как будто он не предполагает их использовать для выяснения той эволюции, которой должна подвергнуться в ближайшем будущем психология. Он упоминает о том, что «эмпирическая психология есть типичнейший идеологический сколок с тех индивидуалистических тенденций, которые являются столь характерными для отживающего общественного строя» (стр. 66); что «психология поведения—это есть первый проблеск зарождающихся в этих капиталистических условиях коллективистических тенденций жизни» (70). Тем не менее «грядущую систему марксистской психологии» он изображает не в ее обусловленности жизненными отношениями, не как отражение этих отношений, а как синтез двух господствующих в настоящее время идеологических течений в психологии. Деталей этого синтеза со стороны его содержания мы коснемся ниже. С формальной же стороны необходимо отметить следующее. В результате игнорирования тех реальных процессов, которые лежат в основе всякого рода психологических течений, в синтезе, производимом проф. Корниловым, не оказалось того жизненного зерна, которое дает содержание любому идеологическому процессу. Вместо реального процесса развития, каковым является всякая настоящая диалектика, мы видим здесь какой-то схоластический, сочиненный компромисс, устанавливаемый между двумя противоположными и взаимно друг друга исключающими психологическими течениями, какую-то помесь суб'ективного и об'ективного направлений в психологии, производимую всецело по капризу автора и совершенно не обоснованную об'ективно. В самом деле, в качестве тезиса современной психологии проф. Корнилов выдвигает суб'ективную психологию, которую он же характеризует, как типичный сколок индивидуалистических тенденций отживающего общественного строя; антитезисом оказывается об'ективная психология—проблеск зарождающихся коллективистических тенденций. Спрашивается, почему именно эти взаимно исключающие друг друга течения взяты, как материал для диалектического синтеза, какова та реальная почва, на которой они могут об'единиться? Как раз на этот вопрос мы ответа у проф. Корнилова не найдем, потому что весь его диалектический синтез и сводится к тому, что он показывает нам, как можно устроить компромисс между двумя исключающими друг друга течениями. Но это, разумеется, не диалектика, это спекулятивная комбинация, обусловленная исключительно личными вкусами нашего автора, но не об'ективной необходимостью общественного развития. Настоящая диалектика никогда не принимает формы компромисса или соглашательства, она показывает всегда реальный процесс развития. Так, когда Гегель говорит о смене почки цветком, а этого последнего плодом, то мы ясно видим, что эти сменяющие друг друга процессы, процессы, отрицающие друг друга, являются вместе с тем «моментами органического единства, в котором они не только не противостоят друг другу, но один столь же необходим, как и другой, и эта равная для всех необходимость образует жизнь целого» («Феноменология», стр. 2). Ничего подобного этому реальному процессу развития мы не видим в той триаде, которую для иллюстрации своего синтеза создает проф. Корнилов. Сколько бы мы ни всматривались в эту триаду, мы не найдем за нею того целостного реального процесса развития, который бы об'яснил нам необходимость смены психологических течений, представленную в виде триады проф. Корниловым.

Итак, основной недостаток того «диалектического» синтеза, который в качестве метода построения будущей системы марксистской психологии предлагает проф. Корнилов, сводится к тому, что этот синтез не есть материалистическое, а всецело идеалистическое построение, пытающееся путем спекулятивных комбинаций предвосхитить те пути, по которым пойдет будущая психология. Путь материалистической психологии должен быть иной. Материалистическая диалектика не имеет дела с психологическими течениями, как с самостоятельными факторами и величинами. Любое психологическое течение она рассматривает прежде всего, как процесс зависимый и обусловленный теми явлениями, которые он отражает. С общепринятой в настоящее время точки зрения психология является наукой о поведении. Ее задача—отразить в сознании поведение, как определенный факт в жизни человеческого и животного мира, установить законы и формы его изменения. Любое психологическое течение должно быть трактуемо с этой точки зрения не как самостоятельный факт, не как абстрактно существующее теоретическое учение, обосновываемое исключительно логически, а в тесной связи со всеми теми условиями, в которых оно возникло в человеческом обществе в тот или иной момент. И если в психологии до настоящего времени борются за право своего существования разные методы ее построения, если до настоящего времени наука о поведении была почти исключительно суб'ективной наукой о душе или о душевных процессах, а в настоящее время она пытается стать об'ективной наукой о фактах поведения, причем это новое направление с большим трудом пробивает для себя дорогу вперед, то совершенно ясно, что вопрос о будущей психологии может быть решен не путем спекулятивных соглашений и комбинаций между различными направлениями, а путем точного учета всей той совокупности обстоятельств, которые вызывают в человеческом обществе господство той или иной формы отражения фактов поведения в его сознании. Почему до настоящего времени господствовал в психологии тот метод ее построения, который характеризует суб'ективную психологию и который выражается в конструировании фактов поведения, как зависимых от души, душевных процессов? Ответа на этот вопрос мы не найдем в чисто теоретическом подходе к его решению путем исключи-

тельно логической оценки построений суб'ективной психологии. Необходимо взять всю совокупность условий, которые вызывают такой именно способ отражения фактов поведения в человеческом сознании в данный момент. А эти условия мы не можем выяснить, минуя характерные для того или иного периода формы строения человеческого общества. В марксизме мы имеем классически ясный образец такого подхода к вопросу. Для выяснения причин господства того или иного идеологического течения он отсылает нас в первую очередь к классовому строению общества. «Мысли господствующего класса,—писал Маркс,—являются в каждую эпоху господствующими мыслями, т.-е. класс, являющийся господствующей материальной силой общества, является в то же время его господствующей духовной силой... Господствующие мысли представляют не что иное, как идеальное выражение господствующих материальных отношений, представляют выраженные в виде мыслей господствующие материальные отношения, т.-е. отношения, которые и делают один какой-нибудь класс господствующим, т.-е. представляют мысли его господства» («Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», т. I, стр. 230). Таким образом, системы морали, религии, права, философии, науки, эстетики и т. п. в каждое данное время представляют собой не что иное, как такие систематизированные мысли, идеи, чувства и другие переживания господствующего класса. Но уже в силу того, что они принадлежат господствующему классу, они делаются мыслями и переживаниями всего общества, ибо, как об'ясняет Маркс далее, «индивиды, представляющие господствующий класс... господствуют, между прочим, в качестве мыслящих существ, в качестве производителей мыслей, регулируя производство и распределение мыслей своего времени, и, значит, их мысли являются господствующими мыслями эпохи» (ib., стр. 230). Совершенно естественно, что господствующий класс вынужден представить свои интересы, как интересы всех членов общества, свои мысли и понятия, как истины вечные и, следовательно, совершенно независимые от господствующих материальных отношений. Таким образом подготовляется почва для того, чтобы мысли и переживания, свойственные господствующему классу и выставляемые им, как истины вечные и безусловные, абстрагировать от тех специфических условий места и времени, в которых они возникают, и представить их, как особый мир духа, мир психики, который проявляет себя всегда и везде, независимо от социальных условий того или иного общества. «Если,—как говорит Маркс,—при рассмотрении исторического процесса отделить мысли господствующего класса от самого господствующего класса, если об'ективировать их, придав им самостоятельное значение, и ограничиться голым констатированием того, что в известную эпоху господствовали такие-то мысли, не интересуясь условиями производства и производителями этих мыслей, если, следовательно, оставить в стороне индивидов и историческую обстановку, лежащую в основе мыслей, то можно, напр., сказать, что в эпоху господства аристократии господствовали понятия: честь, верность и т. п., в эпоху же господства буржуазии—понятия: свобода, равенство и т. д. (ib., стр. 231). Так создается мираж, при помощи которого господство определенного класса представляется, как господство определенного рода мыслей, чувств, настроений и т. п.,

которые одновременно с этим в силу условий классового господства делаются достоянием, если не всех, то во всяком случае большинства. Благодаря этому миражу, впервые создаются предпосылки для науки о духе в форме суб'ективной психологии, об'ясняющей всякое поведение, как продукт абстрактных, изолированных от конкретной общественной основы мыслей, чувств и т. п. процессов и пытающейся поставить своей специфической задачей изучение этих процессов, как таковых. Можно сказать, таким образом, что суб'ективная психология, как определенное научное течение, впервые возникает в общественных условиях, при которых господствующий класс вынужден условия своего господства представить абстрактно в форме системы общечеловеческих мыслей, чувств и т. п. переживаний, анализ которых услужливо берет на себя суб'ективная психология. Традиции этой психологии так велики еще до настоящего времени, что даже психолог, поставивший себе задачей ревизию своей науки с точки зрения марксизма, не может отрешиться, изучая поведение, от представления своеобразных «психических процессов», обусловливающих это поведение. Это говорит только о силе классовой традиции, продиктованной науке. Тот логический фокус, при помощи которого порождается вышеуказанный мираж, заслоняющий в сознании людей господство классов господством общечеловеческих психологических элементов в форме мыслей, чувств и т. п. переживаний и делающий как бы аксиоматической истиной верховное в истории господство духа, сводится, по словам Маркса, «к следующим трем штукам: а) нужно отделить мысли людей, господствующих по эмпирическим основаниям, при эмпирических условиях и в качестве материальных индивидов, от этих самих индивидов, от самих этих господствующих людей; б) нужно внести в это господство мыслей некоторый порядок, показать некоторую мистическую связь между следующими друг за другом господствующими мыслями; это достигается тем, что их рассматривают как «самоопределение понятия» (это возможно потому, что эти мысли действительно связаны друг с другом при посредстве своей эмпирической основы); в) чтобы устранить мистический характер этого «самого себя определяющего понятия», его превращают в некоторое лицо, в ряд лиц, представляющих в истории «понятие», в «мыслящих», «философов», идеологов, которых рассматривают опять-таки, как фабрикантов истории, как «совет стражей», как господствующих. Таким путем удается устранить все материалистические моменты из истории, после чего можно, опустив поводья, дать волю своему спекулятивному коню» (ib., 232—3). Этот механизм, при помощи которого человеческое поведение, как бы одухотворяется, при чем из него устраняется конкретное материалистическое содержание, лежит в основе всякой идеологии, сущность которой по об'яснению Энгельса заключается в том, что истинные побудительные силы, которые приводят человека в движение, остаются ему неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим процессом. Человек создает себе, следовательно, представления о ложных или призрачных побудительных силах. Так как это процесс мысли, то человек и выводит как содержание, так и форму его из чистого мышления своих предшественников» (Письмо к Мерингу от 14/VII 1893 г.). Ставя

себе задачей изучение изолированных мыслей, чувств и других переживаний, мысля их, как своеобразные процессы, входящие составными моментами в наше поведение, суб'ективная психология тем самым создает теоретический фундамент для обоснования всякого рода идеологий, является их обобщенным выражением.

Такова классовая подкладка суб'ективной психологии. И если на наших глазах вырастает так называемая об'ективная психология, если методы изучения поведения резко меняются, причем психология из абстрактной науки о своеобразных душевных процессах превращается в конкретную об'ективную науку о человеческом поведении, то это находится в неразрывной связи с тем обстоятельством, что господство классов в истории перестало быть теоретической тайной и с каждым днем делается все более и более явным, а вместе с тем все настоятельнее выдвигается в истории задача упразднить это господство и создать общественный строй на иных основах. При таких условиях предназначенный для маскировки классового господства мираж, будто господствуют в человеческом обществе не классы, а те или иные идеи и чувства, которые и являются действительными причинами, обусловливающими собой поведение человека, бесследно исчезает. На его место становится об'ективное материалистическое представление об обусловленности всякого акта поведения той материальной и социальной средой, в которой он осуществляется. Любой акт поведения должен быть изучаем не абстрактно, не как психологический процесс во всем его своеобразии, ибо учение о своеобразии психических актов, как причин поведения, и есть тот прием, при помощи которого закрывается доступ к правильному истолкованию причин поведения,—а конкретно, как продукт определенной материальной и социальной среды, как явление материального и социального порядка. Новый метод для психологии диктуется прежде всего тем обстоятельством, что в связи с новыми условиями социальной жизни, в связи с ростом активности и самодеятельности масс, обольщение идеологий всякого рода, как самостоятельно действующих в истории сил, пропадает и идеологические продукты возвращаются к своему первоисточнику, к тем реальным причинам, которые впервые вызвали их к жизни. Под влиянием все растущего и все побеждающего материалистического метода мышления все идеологии, когда-то плотным слоем окутавшие сознание человечества для выполнения предназначенной им классовой роли, теперь неудержимо рассеиваются и теряют свое былое обаяние, а вместе с ними теряет всякий смысл и суб'ективная психология, дававшая им теоретическую опору. Правда, первая провозвестница материалистического мировоззрения, революционная буржуазия, остановилась по условиям своего социального бытия только на половине дороги и не распространила своего материалистического образа мыслей на область социологии. В силу этого общественная идеология, т.-е. совокупность мыслей, имевшая своим назначением прикрывать властвующее положение буржуазии, как-то—право, мораль, религия и т. п., все еще оставалась на протяжении XIX ст. вне сферы конкретного материалистического истолкования. Материализм буржуазии пока что имел возможность беспрепятственно

раскрыться только в низах идеологии, т.-е. в пределах физики, химии, физиологии, да и то с известными ограничениями. За то появление у власти класса, который своим назначением имеет окончательно сломить господство буржуазии, упразднить классовый строй общества и положить начало новому бесклассовому обществу будущего,—появление этого класса формально устраняет все препятствия перед об'ективно-материалистическим методом, так как всякой идеологии формально наступает конец. Оторванная от своей социальной основы идеология, дающая иллюзию самостоятельного и независимого существования идей в качестве вечных истин, принципиально мыслится, как нечто ложное и долженствующее быть превзойденным. Впредь всякое теоретическое изучение должно, по образному выражению Маркса, не с неба спускаться на землю, но с земли подниматься на небо («Архив», т. I, стр. 216). В соответствии с этим и та ревизия психологических построений с точки зрения марксизма, которая стала неотложной потребностью нашего времени, должна выразиться в том, чтобы помочь психологической науке спуститься с высот идеологического об'яснения человеческого поведения и овладеть этим последним, как конкретным фактом жизни. Таково в самых общих чертах об'яснение той перемены в методах изучения поведения, которую мы констатируем в настоящее время. Было бы неосновательным обольщать себя мыслью, что уже полностью наступило время для торжества об'ективного метода в психологии. Напротив, осуществление его подвергнуто всевозможным колебаниям, обусловленным теми переменными и часто непрочными успехами в борьбе за социальный строй будущего, которые выпадают на долю борющихся сторон в настоящее время. Тем не менее в целом и об'ективно путь социального развития намечен прямой и с большими или меньшими отклонениями будет осуществляться именно этот путь, с которым так неразрывно связан об'ективный метод в истолковании поведения. Вот почему так важными являются в настоящий момент теоретические споры, выявляющие ту или иную позицию, занятую отдельными мыслителями по разным вопросам.

С изложенной выше точки зрения позиция проф. Корнилова по вопросу о методе построения системы марксистской психологии в целом не может быть признана марксистской. Новая система марксистской психологии явится в результате распространения материалистического метода понимания на все формы человеческого поведения, а торжество этого метода в свою очередь будет отражением той новой формы поведения человеческих масс, которая характеризует современную борьбу за уничтожение классового господства и за создание нового, бесклассового общества, в котором все социальные отношения станут прозрачными. Будущая психология будет создана таким образом вовсе не с помощью тех спекулятивных комбинаций различных психологических течений, образец которых дает проф. Корнилов в своем синтезе; она явится в результате того диалектического процесса, осуществляющегося в человеческом обществе, который неумолимо заставляет это общество изменять формы своего поведения. И если бы необходимо было диалектически подойти к построению новой системы психологии, то, конечно, нужно было бы начать с изображения диалектики человеческого поведения, а не с тех,

только по видимости диалектических комбинаций, которые заменяют у проф. Корнилова настоящую диалектику материализма.

2. Материалистическая установка на об'ект психологического изучения.

Правильный марксистский подход к вопросам психологии должен найти свое конкретное выражение в первую очередь в материалистической установке на об'ект, изучаемый этой наукой. Что есть особая материалистическая установка на об'екты нашего мышления, это так же несомненно, как и то, что есть установка идеалистическая. Любой об'ект может быть воспринят и материалистически и идеалистически в зависимости от наличия той или иной установки внимания. Самая же эта установка должна быть мыслима, как своего рода ориентировочный рефлекс, вырабатывающийся в результате более или менее длительного опыта мышления в идеалистическом или материалистическом направлении. Нет надобности пояснять, что самая общая особенность материалистической установки заключается в том, что обладающий ею суб'ект ориентируется, прежде всего, на реальность, на об'ективный мир в то время, как при идеалистической установке, обратно, ориентировка держится не столько на об'ективный мир, сколько на мысли о нем, на его отражения в сознании, которыми заслоняется отражаемое. В соответствии с этим марксист-психолог, изучая поведение человека, пытается в первую очередь подойти к этому поведению, как к об'ективному факту в ряду других об'ективных фактов, в связи с чем организуется его дальнейшая исследовательская работа. Психолог немарксист, наоборот, имея перед собой тот же об'ект, т.-е. факты человеческого поведения, воспринимает не эти факты сами по себе, а то освещение, то отражение, какое они получили в его собственном или чужом сознании и, таким образом, вместо действительности имеет дело с ее более или менее отдаленным отражением. Эта разница подходов к одному и тому же факту, это различие установок прекрасно были освещены еще В. И. Лениным в одной из его ранних работ. «Социолог-суб'ективист, начиная свое рассуждение, якобы с «живых личностей»,—писал он,—характеризуя взгляды народников, на самом деле начинает с того, что вкладывает в эти личности такие «помыслы и чувства», которые он считает рациональными (потому что, изолируя своих «личностей» от конкретной общественной обстановки, он тем самым отнял у себя возможность изучить действительные их помыслы и чувства), т.-е. начинает с утопии... Народник уверяет, что он—реалист. «Историю делают живые личности», и я, мол, начинаю с «чувств» кустаря, отрицательно настроенного к современному порядку, и с помыслов его об устройстве порядков лучших, а марксист рассуждает о какой-то необходимости и неизбежности: он мистик и метафизик. Действительно,—отвечает этот мистик,—историю делают «живые личности», и я... исследуя действительные общественные отношения и их действительное развитие, исследую именно продукт деятельности живых личностей. А вы говорить-то о «живых личностях» говорите, на самом деле берете за исходный пункт не

«живую личность» с теми «помыслами и чувствами», которые действительно создаются условиями их жизни, данной системы производственных отношений, а куклу и начиняете ей голову своими собственными помыслами и чувствами» (т. II, стр. 69—72). В этом пристрастии к суб'ективным помыслам и чувствам и заключалась основная ошибка суб'ективной психологии: вместо фактов поведения она имела все время дело с мыслями о поведении и, игнорируя об'ективные факты,—их отражения в форме мыслей, чувств и т. п. переживаний трактовала, как своеобразную форму действительности, которая дает ключ к пониманию поведения. И если в других, более конкретных сферах идеологии, напр., в области права, морали, религии, науки о внешнем мире, сравнительно легко удалось рассеять идеологическое обольщение, маскирующее реальность мыслями о ней, то в психологии, как наиболее обобщенном, почти алгебраическом выражении основных предпосылок идеологического мировоззрения, этот идеологический мираж особенно трудно рассеять, ибо психология, как абстрактная наука, имеет сплошь и рядом дело не с теми или иными конкретными мыслями о конкретных об'ектах, а с мыслями и переживаниями вообще, как особой формой действительности. В таком обобщенном виде отражения действительности в особенности легко принимают видимость самостоятельного существования. Поэтому необходимо особое напряжение критической мысли, особая ее тренировка, чтобы сойти с позиций старой суб'ективной психологии, для которой факты поведения были заслонены их отражениями в сознании. Но совершенно ясно, что раз не будет сделан этот первый шаг, дальнейшая работа будет созидаться на ложном основании и не сможет привести к цели создания материалистической психологии. С этой точки зрения приобретает особый интерес та установка на факты поведения, которая имеется у психолога, впервые решительно поставившего задачу ревизии психологии с точки зрения марксизма. Рекогносцировка в область марксизма, столь своевременно предпринятая проф. Корниловым, определенно показывает, что, идя к марксизму, он протаскивает с собой и старый багаж суб'ективной психологии, который с марксизмом, конечно, ничего общего не имеет. Это выражается как в том, что на точку зрения марксизма он становится не полностью и в очень многих случаях ограничивается только словесными декларациями о слиянии психологии с марксизмом, так равным образом и в прямой критике, которой он подвергает не только бесспорные материалистические достижения последнего времени в области науки о поведении, но и некоторые принципиальные предпосылки материалистического мировоззрения, без которых уже нельзя говорить о марксизме.—Наиболее характерные моменты, свидетельствующие об отсутствии надлежащей материалистической установки у представителей современной «марксистской психологии», мы и попытаемся подчеркнуть в дальнейшем изложении.

а) Отмежевание от врагов справа, или—шаг вперед, к марксизму, и два шага назад, к идеализму. Задача «резко отмежеваться от идеализма и умозрения, традиционной эмпирической психологии» представляется проф. Корнилову наиболее легкой задачей, «тем более, что эти идеализм

и умозрение так называемой, эмпирической психологии были столь очевидны» (стр. 91). Гораздо более трудной кажется ему другая задача—отгородиться от «друзей слева», от всякого рода «чересчур материалистов». Быть может, в связи именно с этим обстоятельством находится то характерное явление, что, наблюдая за тем тщательным процессом размежевания, который производит проф. Корнилов по разным направлениям на всем протяжении своей брошюры, невольно получаешь впечатление, что основная его цель с самого начала заключалась в том, чтобы отгородиться от друзей слева и в то же время остаться марксистом, при чем его вовсе не тревожила перспектива оказаться в очень близком соседстве с врагами справа. Опасность справа с самого начала казалась ему слишком ничтожной и очевидной. И вот произошло то, что уже с первых своих статей проф. Корнилов настолько был поглощен возможностью уклониться в предпринятой им рекогносцировке слишком на его взгляд далеко влево, что вся рекогносцировка свелась почти исключительно к одной словесной декларации о повороте психологии к марксизму. В действительности после этой декларации начинается непрерывный поворот уже от марксизма, все возраставший от статьи к статье и закончившийся в последних двух статьях решительным отмежеванием от материализма. Уже это обстоятельство само по себе говорит о том, что опасности, грозящие психологу справа, далеко не так ничтожны и очевидны, как это могло бы показаться с самого начала. Об этой опасности лучше всего свидетельствует то обстоятельство, что, даже присоединяясь к марксизму, проф. Корнилов в первую очередь опасается, как бы не оказаться слишком материалистом.—Попытаемся однако ближе присмотреться, в чем заключаются те грани, которые в настоящее время проводит между собой и старой идеалистической психологией современный психолог-марксист.

Все, что по существу сделано проф. Корниловым в смысле приближения психологии к марксизму, заключается в принципиальном заявлении, что «марксизм в корне порывает с дуализмом духа и материи, сводя духовное, психическое к материальному» (стр. 6) и что «психология, как стоящая на грани биологических и общественных наук, не должна остаться в стороне от влияния марксизма» (стр. 5). Это заявление сделано на 5—6 стр. брошюры и, начиная с 7 стр., все дальнейшее есть систематическая попытка к тому, чтобы под предлогом опасности слева так или иначе отгородиться от обязательств, связанных с этим заявлением и остаться почти что на старой, суб'ективной точке зрения, делая вид, что это и есть точка зрения марксизма. Ниже мы коснемся всех тех доводов, которыми пользуется проф. Корнилов для оправдания своего отступления. Сейчас мы только попытаемся на нескольких примерах иллюстрировать это отступление.

Итак, «марксизм в корне порывает с дуализмом духа и материи», этой основной предпосылкой старой суб'ективной психологии. Оказывается, что марксистская психология так решительно с этим дуализмом порывать не хочет. Согласно диагнозу проф. Корнилова, основанному на данных диалектического метода, основные элементы старой суб'ективной психологии, которая, как известно, есть тезис грядущей системы марксистской

психологии, должны будут, конечно, в трансформированном виде перейти в эту последнюю. «Такими элементами я считаю следующие: во-первых, признание не только реальности, но и значимости психических процессов, как таковых. Марксистская психология должна принять это положение, поскольку основной принцип диалектического материализма говорит, что психика, как свойство материи, есть суб'ективная, но неотъемлемая сторона об'ективных свойств той же материи. Марксизм, признавая психические процессы не чем иным, как свойством высоко организованной материи, не только не уничтожает этим психических процессов, но считает их обладающими такой же степенью реальности, как и всякое иное свойство материи, напр., движение. Вторым положением, которое также должно найти свое место в марксистской психологии, это—признание значимости за методом самонаблюдения. Если мы не можем отрицать суб'ективной стороны в об'ективных проявлениях человека, то ясно, мы не должны игнорировать окончательно и метода самонаблюдения» (стр. 86—87). Позволительно спросить после этого, чем отличается марксистская психология от старой, суб'ективной, если в результате своего сближения с марксизмом она признает и реальность и значимость психических процессов, «как таковых», если она попрежнему в самонаблюдении видит характерное свойство психики? Проф. Корнилов подчеркивает, что оба эти элемента войдут в трансформированном виде. Но это мало успокаивает, ибо, если идея психики была ошибочной гипотезой, если способ самонаблюдения был тем неправильным методом, с помощью которого эта гипотеза упрочилась в человеческом сознании, то весь вопрос в том и заключается, может ли принести какую бы то ни было пользу в смысле продвижения к марксизму то трансформирование явно опорочивших себя методов и понятий, которое предлагает проф. Корнилов. Мы знаем прекрасно, что такого рода трансформирование всегда ведет к скрытому протаскиванию старых заблуждений и что лучший способ бороться с заблуждениями заключается в том, чтобы их просто отбрасывать, не трансформируя. Именно поэтому мы и утверждаем, что, отмежевываясь, по видимости, от идеализма, проф. Корнилов на самом деле служит своими очерками делу упрочения позиций суб'ективной психологии.

Ограничиваясь пока этой основной справкой, ясно показывающей, что, идя на словах к марксизму, проф. Корнилов на деле уклоняется от него, мы попытаемся сейчас показать, что занятая вышеуказанным образом позиция действительно заставляет проф. Корнилова отвергать общепризнанные достижения материалистического метода в области науки о поведении только потому, что этот метод отказывается от данных самонаблюдения и не признает психики, как таковой. Так, стоя на своей точке зрения, проф. Корнилов вынужден полемизировать с рефлексологией и с теми бесспорными достижениями, которые на рефлексологическом пути сделала школа Павлова, в частности. Полемика эта сводится в сущности к констатированию того, что рефлексология не дооценивает психики (стр. 73), не пользуется методом самонаблюдения и представляет собой направление, которое можно бы назвать психологией без психики (стр. 83). Дру-

гими словами, проф. Корнилов упрекает рефлексологию как раз за то, что ей удалось впервые стать в об'яснении проведения целиком на естественно-научную точку зрения и отказаться от мифического придатка в виде психики, который в прежние времена должен был об'яснять это поведение. «Фактически,—пишет проф. Корнилов о рефлексологии,—психические процессы остаются без внимания, поскольку в погоне за «естественно-научным изучением с его строго об'ективными методами», самонаблюдение, как метод, или совсем отвергается, что, может быть, об'ясняется у И. П. Павлова об'ектом его исследования—животными, или же этот метод, и то лишь за последнее время, только декларируется, без фактического применения на практике, как у В. М. Бехтерева. Вот это стремление биологическим анализом процессов нервной системы всецело исчерпать содержание и психических процессов все еще говорит о той унаследованной от отца русской рефлексологии—Сеченова—праздной мысли, однако лелеемой русскими рефлексологами, исчерпать человеческое поведение одной физиологией нервной системы» (стр. 83). Нормальным, следовательно, признается такое состояние науки о поведении, когда используется специфический метод самонаблюдения и признается существование психики, как таковой.

Едва ли нужно лучшее доказательство того, что проф. Корнилов все еще продолжает стоять на точке зрения суб'ективной психологии. А замечание его о Павлове, что отсутствие у него метода самонаблюдения об'ясняется самым об'ектом его исследования—животными, определенно говорит о том, что центральная идея всей двадцатилетней работы Павлова, идея о полной ненужности суб'ективного метода при изучении поведения живых существ, стоит совершенно вне психологических идей проф. Корнилова, иначе совершенно невозможны были бы выше изложенные его замечания о Павлове. В самом деле, что такое суб'ективный метод в психологии? Это метод суждения по аналогии о тех или иных переживаниях живого существа для об'яснения его поведения. «Это,—пишет Павлов,—обыкновенный путь, по какому идут все. Это путь переноса своего внутреннего мира в животное, значит, допущение, что животное так же приблизительно, как мы, думает, так же чувствует, желает и г. д. Следовательно, можно гадать о том, что происходит внутри собаки, и из этого понимать ее поведение» («Опыт», стр. 194). Вот в чем сущность суб'ективного метода. Этого суб'ективного метода и держались физиологи в большинстве случаев, как только им приходилось сталкиваться с явлениями поведения живого существа, поскольку таковое обусловлено его высшей нервно-мозговой организацией. Физиолог здесь сдавал свои позиции и говорил: здесь область психолога. И психолог действительно появлялся с своим суб'ективным методом и высказывал свои догадки о том, что переживает живое существо. «Физиолог,—пишет Павлов,—поднимается до высших пределов центральной нервной системы и характер его деятельности сразу резко меняется. Он перестает сосредоточивать внимание на связи внешних явлений с реакциями на них животного и вместо этих фактических отношений начинает строить догадки о внутренних состояниях животных по образцу своих суб'ективных состояний. До сих пор он пользовался общими естественно-научными понятиями. Теперь же он обратился к совершенно чуждым ему понятиям, не стоящим ни в каком отношении к его прежним понятиям,—к психологическим понятиям... Здравый смысл требует, чтобы физиология вернулась и здесь на путь естествознания» (ib., стр. 70—71). Это требование и выполнил Павлов в своей двадцатилетней работе. Он показал, что, отказавшись от догадок по аналогии, ничего не об'ясняющих и уже безрезультатно использованных в течение нескольких тысячелетий, можно попытаться проследить естественно-научными методами за теми процессами, которые происходят в нервной системе животного, и таким образом добиться чисто пространственного представления механизма поведения животного, не прибегая к пустым догадкам по аналогии. «Мы отказались от точки зрения суб'ективной, психологической,—пишет Павлов,—и предпочли ей точку зрения внешнюю, об'ективную, т.-е. ту, которой держатся естествоиспытатели относительно материала всех своих наук» (стр. 134). Огромная заслуга Павлова в том и заключается, что он сумел нащупать тот пункт, в котором изучение животного обычно становится на суб'ективно-психологический путь, прибегая к самонаблюдению и к созданию мифологических об'яснений, и в этом именно пункте он восстановил права об'ективно-научного мышления. Он отстранил прочь ненаучный метод аналогий, каковым в сущности является самонаблюдение, он отбросил все мифологические измышления насчет переживаний и чувств животного и сказал: там, где раньше хозяйничала психология, теперь должна царствовать точная наука. Открытие, обоснование и фактическое использование этой возможности, а также создание специальной методики об'ективного изучения высшей нервно-психической деятельности, сделали его всемирно известным. С своей методикой он подходит и к изучению человека и малейший отказ от этой методики был бы по существу отказом от всего опыта двадцатилетней работы. А проф. Корнилов делает предположение, что основная особенность этой методики—игнорирование самонаблюдения—является преходящим результатом того случайного обстоятельства, что об'ектом исследований Павлова были животные. Предположение—более, чем невероятное. Но проф. Корнилов делает нечто и еще большее. Он собирает все те дипломатические отговорки, которыми на протяжении 20 лет Павлов отделывался от докучливых защитников психики, как самостоятельного начала в человеке, и которые сводятся к утверждениям, что психологии, как науки о суб'ективных состояниях, он, Павлов, не отрицает и что психические состояния, будучи негодны для науки, в жизни составляют первостепенную действительность,—и на этом основании пред'являет Павлову упреки в противоречиях и непоследовательности (стр. 18—22). Такое отношение к Павлову и его методу, конечно, ни в коем случае не может быть названо об'ективным и оно мыслимо только с точки зрения психолога, стоящего на суб'ективной точке зрения.

Тенденция к суб'ективизму в психологии у проф. Корнилова в особенности наглядно проявляется в том месте его работы, где он упрекает рефлексологов в одностороннем биологизме или физиологизме. Бесспорно слабая сторона Павлова, как ученого, заключается в том, что он является только физиологом и, когда

речь идет о человеке, не учитывает тех социальных факторов, которыми обусловлена его физиологическая деятельность. Это обстоятельство дает совершенно основательный повод характеризовать Павловское мировоззрение, как односторонний биологизм. Эту особенность его мировоззрения давно уже охарактеризовали т.т. Бухарин и Троцкий, отдав в то же время полную дань уважения его работам в области физиологии и констатировав, что эти работы «целиком льют воду на мельницу материализма и что исходные методологические пути и результаты исследований Павлова есть орудие из железного инвентаря материалистической идеологии» (Бухарин, «Атака», стр. 171). Проф. Корнилов подхватывает это совершенно резонное обвинение в одностороннем биологизме, но он его трансформирует до неузнаваемости, пересыпая между строк соображениями и намеками, что односторонний биологизм у Павлова потому, мол, и получается, что он «боится включить в число научных об'ектов то, что мы называем психическими состояниями», что он не пользуется суб'ективным методом и одной физиологией думает исчерпать богатство поведения человека. «Отсутствие социальной установки в рефлексологии,—пишет он,—приводит к существенной ошибке—забвению психических процессов, как таковых», а несколько ниже поясняет: «Игнорирование или недооценка психики со всем своеобразием ее явлений падает всецело на долю нашей русской рефлексологии» (стр. 72—73). Вообще вопрос ставится так, что игнорирование социологических основ поведения человека происходит у ряда мыслителей, и у Павлова в том числе, потому, что они, переоценивая естествознание, стоят на об'ективно-научной точке зрения, признают только то, «что может быть осязаемо, весомо и точно измерено в каких-либо физических единицах» (стр. 100) и в то же время игнорируют суб'ективный метод самонаблюдения. Такая трансформация обвинения, пред'явленного Павлову т.т. Бухариным и Троцким, конечно, недопустима. Конечно, физиологизм Павлова явление одностороннее, конечно, физиология должна быть восполнена, но вовсе не суб'ективным методом, не самонаблюдением, а социологией с ее об'ективными методами. А это, разумеется, громадная разница: обвинение в одностороннем биологизме, когда оно раздается со стороны социолога-марксиста, значит одно, а когда это обвинение пред'являет психолог, еще не вполне расставшийся с суб'ективным методом, то оно звучит совершенно иначе. Вообще нужно сказать, что в школе сотрудников проф. Корнилова по психологическому институту неотложная при изучении поведения задача учета социального опыта все еще связывается с надеждами на психологию, поскольку последняя противополагается физиологии. В своем отзыве на разбираемую брошюру проф. Корнилова его сотрудник, Ал. Лурия, пишет, напр., что марксистский подход к психологии вовсе не означает необходимости изгнать психологию вообще из числа наук о человеке и заменить ее физиологией, при чем ясно, что речь идет о суб'ективной психологии. «Не может быть спора о том,—развивает он свою мысль далее,—что все механизмы психической жизни сводятся к механизмам работы мозга... Но тот социальный опыт, который так характерен для психики живущего в обществе человека, мы пока не можем понять ни из какой физиологии или анатомии нервной системы».

Вывод ясен—нужна социология, но, ведь, рассуждение началось с доказательства, что марксистский подход к психологии вовсе не означает необходимости изгнать психологию вообще. А проф. Корнилов, выражаясь точнее, говорит о необходимости признания психических процессов, «как таковых», и значимости метода самонаблюдения.

Изложенное говорит определенно о том, что поворот к марксизму со стороны группы психологов не сопровождается определенным и резким процессом отмежевания от старой суб'ективной психологии; наоборот, багаж последней незаметно протаскивается в систему так называемой марксистской психологии, что влечет за собой неправильную оценку некоторых уже бесспорных достижений в области материалистической науки о поведении, напр., метода Павлова. Это обстоятельство должно придавать особый интерес вопросу о том, как же в конце концов конструируют психологи-марксисты то новое понятие о психике, которое в согласии с основной их позицией должно совместить в себе столь непримиримые вещи, как метод диалектического материализма, с одной стороны, и метод суб'ективной, идеалистической психологии—с другой стороны. К этому вопросу мы и перейдем.

б) Психика «по-марксистски». Задача формулировать свое, «марксистское» понятие о психике, которое можно было бы противопоставить как врагам справа, так и друзьям слева, само собой понятно, должна была возникнуть в первую же очередь перед психологами, предпринявшими столь оригинальную рекогносцировку в область марксизма. Конечно, это очень трудная задача, так как при вышеизложенных тенденциях представители «марксистской» психологии должны соблюдать полную видимость близости к марксизму, с одной стороны, и в то же время целиком сохранить все особенности старой, идеалистической психологии, с другой стороны. Рецепт осуществления этой задачи однако же очень прост. Для этого нужно, излагая взгляды суб'ективной психологии, разумеется, несколько «трансформированные», все время утверждать, что это взгляды диалектического материализма. Так и поступает проф. Корнилов. Все время в своей брошюре он говорит от имени диалектического материализма: «Диалектический материализм полагает, говорит, отвергает, стоит на такой-то точке зрения» и т. д. и в то же время не забывает, что его основная задача—восстановить «доверие к психологии, как строго научной дисциплине», так основательно подорванное в школе Челпанова, под влиянием чего многие начинают сейчас страдать в буквальном смысле «психобоязнью» (стр. 17).

Формулировку своего, на основах «марксизма» проверенного, понятия о психике проф. Корнилов начал делать уже с первых страниц своей брошюры, разумеется, постепенно углубляя и развивая эту формулировку до ее законченного выражения. Частично мы знаем ее уже из предыдущего изложения, но интересен тот логический процесс, при помощи которого достигается эта формулировка, сразу дающая двойной эффект—выдержанного материалистического мировоззрения, с одной стороны, верности старым традициям идеализма, с другой стороны. Выступая от имени марксизма, проф. Корнилов определенно заявляет, что «мар-

ксизм в корне порывает с дуализмом духа и материи, сводя духовное, психическое к материальному» (стр. 6). Прямой вывод отсюда был бы, возможно, и не совсем в пользу психологии, «как таковой». Но задача проф. Корнилова—восстановить так основательно подорванное доверие к психологии. Поэтому непосредственно вслед за исповеданием догмы марксизма проф. Корнилов спешит дать к ней ряд комментариев, при помощи которых возможно сравнительно легко и безболезненно перейти от марксизма к суб'ективной психологии и даже сочетать их в гармоническом синтезе под именем «марксистской психологии». Делается это в несколько приемов.

Первый прием заключается в том, чтобы запугать простодушного читателя и внушить ему, что задача сведения психического к материальному вовсе не такая простая задача, как это кажется с самого начала, что неопытные люди тут могут много напортить. «Конечно,—пишет проф. Корнилов,—мы не будем мыслить это сведение психического к материальному так, как это мыслили древние материалисты, представлявшие душу, как состоящую из множества мельчайших материальных атомов, распределенных по всему телу, ни даже так, как это мыслили некоторые из материалистов XVIII и XIX веков, что мысль есть выделение мозга, подобное выделению желчи из печени,—эти так называемые вульгарные материалисты,—ни даже таким образом, чтобы выводить психические процессы из движения материи или сводить к движению материи, как это думали некоторые из материалистов XIX века,—нет! марксизм встает на иную точку зрения» (стр. 7). Эта иная точка зрения, как раз'ясняет далее проф. Корнилов, заключается в учении о непрерывном развитии и изменении, как основной форме всякого бытия, в силу чего и самый марксизм называется диалектическим материализмом, а не просто материализмом.

Как видит читатель, вопрос трактуется углубленно, тщательно соблюдаются необходимые приличия, автор показал себя не просто материалистом (теперь этим не удивишь: ведь, есть и вульгарные материалисты!), но материалистом-диалектиком. И в то же время оказывается, что, хотя принципиально психика и должна быть сведена к материи, однако стоящий на уровне современного развития философской мысли материалист-диалектик не сделает этого в привычной грубой форме, потому что марксизм стоит на иной точке зрения. Едва ли нужно пояснять, что такой строй мыслей должен быть в особенности отраден для суб'ективного психолога, который в свое время вместе с богословами не мало поработал над тем, чтобы очернить эту грубую материю, которая так полюбилась низменным материалистам. И, конечно, ничто так не может сроднить суб'ективную психологию с диалектическим материализмом, как это уверение, что марксизм встает на и н у ю точку зрения, чем та, на которой стояли все материалисты, уверенные, что психическое сводится к материальному. Не даром проф. Корнилов в одном месте бросает замечание, что с марксизмом соединимо не только механическое миропонимание, но и всякое иное, лишь бы оно принимало материю, как об'ективную реальность» (стр. 13). Перспективы перед марксизмом открываются таким образом весьма широкие и многообещающие. Не трудно видеть однако же, что во всей вышеприведенной тираде, предназначенной к тому, чтобы запугать читателя, перед нами самый обыкновенный логический фокус, который легко расшифровывается приведением его к следующему силлогизму: «некоторые материалисты, сводя психику к материи, не были диалектиками; новейший материализм усвоил диалектическую точку зрения; следовательно, он не сводит психику к материи». Ошибочность умозаключения совершенно очевидна, так как усвоение диалектики материалистами XIX ст. вовсе не означает того, что они встают на иную точку зрения по отношению к собственно материалистическому мировоззрению и прерывают основные традиции материалистического мышления. Диалектикой можно дополнить материализм, углубить его, но нельзя его отменить. Поэтому диалектика не есть, как то думает проф. Корнилов, «иная точка зрения» в отношении к попыткам свести психическое к материальному. Дело однако же сделано и читатель достаточно напуган перспективой оказаться в ряду вульгарных материалистов для того, чтобы с надлежащей четкостью поддерживать основную материалистическую традицию сведения психического к материальному. Таков первый прием.

Второй прием заключается в том, чтобы, раз'ясняя детальнее «иную точку зрения» диалектического материализма, незаметно подменить представление о материальности психики несколько более эластичным определением, которое дало бы возможность с большей или меньшей свободой протащить в марксистскую психологию в качестве основных камней для грядущей системы весь запас понятий старой суб'ективной психологии. «Марксисты,—пишет проф. Корнилов,—считают, что неорганическая природа, природа органическая и человеческое общество есть не больше, как члены последовательного развития единой материи. И в этом процессе развития материя изначала обнаруживает определенное, так сказать, поведение, давая ту серию ф и з и к о - х и м и ч е с к и х р е а к ц и й, которые являются не чем иным, как свойствами движущейся материи..., те реакции, которые мы называем о р г а н и ч е с к и м и... и те внутренние р е а к ц и и мозговой д е я т е л ь н о с т и, что мы называем сознанием или мышлением в собственном смысле этого слова. Таким образом, то, что мы именуем психикой, есть не нечто противоположное материи, а есть лишь с в о й с т в о н а и б о л е е о р г а н и з о в а н н о й м а т е р и и» (стр. 7). Оказывается, что с точки зрения диалектического материализма, согласно раз'яснению проф. Корнилова, вовсе нет надобности как бы то ни было сводить психику к материи, а нужно, проследивши за диалектическими изменениями материи, которая в последовательном ряду развития дает серии реакций—физико-химических, органических и мозговых, условиться рассматривать эти последние не как нечто противоположное материи, а лишь как одно из ее свойств. В чем тут дело? Как будто продолжается линия материалистическая, но как мягко и эластично подчеркивается основная мысль материализма! На место твердого принципиального положения о материальности психики мы получаем окольное описательное выражение, которое не исключает и других толкований помимо материалистического: психика не есть нечто противоположное материи, психика есть свойство материи. Термин «свойство» играет большую роль во всей аргументации проф. Корнилова. Твердую опору ему дает то обстоятельство, что он имеет возможность сделать в свое подкрепление ссылки на ряд авторитетных имен (Энгельса, Пле-

ханова, Ленина), не входя, впрочем, в рассмотрение вопроса, почему и в каком смысле употреблялось ими данное выражение. Ниже (см. след. отд. *в*) мы попытаемся дать несколько обоснованных соображений по этому вопросу. Сейчас же нам важно отметить, что без всякой нужды проф. Корнилов заменяет четкое и ясное материалистическое понятие психики смутным и неотчетливым термином «свойство организованной материи» и таким образом делает следующий шаг к своей, может быть, бессознательной цели протащить старый суб'ективистический хлам в «систему грядущей марксистской психологии». В самом деле, на вопрос, что такое психика, легко и резонно было бы ответить, что психикой называется совокупность реакций мозговой деятельности. Это было бы, может быть, и не исчерпывающее, но во всяком случае четкое материалистическое понятие о психике. Однако же проф. Корнилов предпочитает термин свойство, вместо которого можно было бы с равным правом употребить целый ряд таких же неопределенных и ничего не говорящих терминов—особенность, способность, качество, принадлежность и т. д. К этим и к аналогичным терминам прибегали всегда, когда нужно было—или маскировать незнание какого-либо явления, или контрабандой протащить в сознание то, что не может быть протащено явно. Достаточно только припомнить ту роль, какую играл в научной мысли термин способность. В частности, к термину свойство прибегали всегда, когда не умели, или по тем или иным соображениям не желали дать наглядного научного об'яснения явлений: магнит обладает свойством притягивать, а чудотворная икона свойством исцелять и т. д. Согласно проф. Корнилову диалектический материализм требует, чтобы мы и психику, вместо того, чтобы видеть в ней совокупность мозговых реакций, признавали свойством высоко-организованной материи. Этот под покровом диалектического материализма проделанный шаг назад помогает проф. Корнилову в полном всеоружии осуществить третий этап своей работы—ввести в систему марксистской психологии в качестве основных камней для будущей системы весь запас понятий суб'ективной психологии. Нам остается только изумляться, с каким неподражаемым эффектом, не оставляя все время забрала воинствующего материалиста, он это делает.

Приписав марксизму представление о психике, как о свойстве материи, проф. Корнилов в первую очередь восстанавливает психику в правах реальности. Само собой понятно, что речь идет уже о психике «во всем ее своеобразии», т.-е. о всей той совокупности явлений, которая для старой психологии составляла реальность особого рода, известную под именем психических процессов, и которая материалистически настроенными психологами рассматривается, как реальность не настоящая, а иллюзорная. В свое время Челпанов выдвигал в качестве обвинения материализму то обстоятельство, что он упраздняет психологические реальности в роде души, сознания, мысли. Проф. Корнилов спешит успокоить всех, кто только обеспокоен судьбой этих реальностей, заявлением, что материализм этих реальностей не упраздняет. «Не следует думать,—пишет он,—что подобное понимание психических процессов (т.-е. понимание их, как свойств материи. *В. С.*) дает им меньшую реальность или совсем уничтожает их как таковые, лишая их всего присущего им своеобразия... Марксизм, признавая психические процессы не чем иным,

как свойством высокоорганизованной материи, не только не уничтожает этим психических процессов, но считает их обладающими такой же степенью реальности, как и всякое иное свойство материи, напр., движение» (стр. 8). Итак, психология может благополучно процветать под знаменем марксизма, изучая своеобразную реальность, именуемую психикой. Чтобы уточнить и вместе согласовать с марксизмом проводимое им понятие о психике, проф. Корнилов делает еще несколько замечаний, очень существенного характера—о пространственности психики и о методах ее изучения.

Кто-нибудь мог бы подумать, что раз психика есть реальность, вполне аналогичная реальности движения, то она должна бы обладать и всеми свойствами, присущими материи, в том числе и протяженностью. Оказывается, что, с точки зрения марксизма, уясняемой проф. Корниловым, это и так, и не совсем так. «Признавши психику,—пишет он,—не чем иным, как свойством организованной материи, мы тем самым должны в корне отвергнуть учение современной психологии о непосредственности психических процессов». Если учение о непосредственности отвергается в корне,—соображает читатель,—то, значит, психика пространственна. Оказывается, мысль марксиста-психолога должна быть гораздо более гибкой, так как проф. Корнилов сейчас же поясняет, что вопрос о пространственности обстоит несколько иначе. «Психические процессы должны быть признаны пространственными не в том, конечно, смысле», чтобы обладать протяжением или той или иной материальной формой. «Пространственное понимание психических процессов говорит лишь о том, что эти процессы локально связаны с тем или иным телом, в данном случае—с органическим телом, и этого вполне достаточно, чтобы применить к этим процессам категорию пространственности» (стр. 8—9). Пространственность психики получает таким образом двойственный характер: с одной стороны, категория непространственности категорически отрицается, с другой стороны, самая пространственность как будто лишена настоящих признаков протяженности, так что ни о какой материальной форме, присущей психическим процессам, говорить нельзя, а можно устанавливать только локальную связанность психических процессов с органическим телом. Едва ли нужно раз'яснять, что подчеркивание такого рода связи психики с материей есть давнишний прием спиритуалистических психологов, при помощи которого, с одной стороны, не отрицается принудительно навязываемая наблюдением связь душевной и телесной жизни, а, с другой стороны, открывается широкий простор для представления первой в качестве нематериального агента. Еще средневековые богословы были поставлены перед аналогичной задачей показать, как невидимое и нематериальное божество обнаруживает в евхаристии свое присутствие в хлебе, претворяя его в тело Христово, и решили вопрос в том смысле, что связь локальная, т.-е. божество пребывает—«в хлебе, под хлебом, с хлебом» и т. п., не будучи в то же время самим этим хлебом, не сливаясь с ним до неразличимости. Когда вслед затем психологи-спиритуалисты были поставлены перед задачей об'яснить связь нематериальной и бессмертной души с тленным телом, они, чтобы не опорочить этой связи и не запятнать души признаками грубой материальности, признали связь ее с материей только локальной в том смысле, что с каждым моментом жизни

организма связывается определенная функция нематериальной психики. В этой перспективе материалистическая ценность данного проф. Корниловым комментария к понятию пространственности психики делается ясной и сомнений возбуждать не может. Об этой локальной связи писал еще Челпанов на первых страницах своего учебника психологии, раз'ясняя всю нелепость представления психических процессов четыреугольными, толстыми, тонкими, находящимися вправо или влево и т. п. и его же вульгарную аргументацию целиком воспроизводит проф. Корнилов, чтобы дать марксистское понятие о психике.

Замечания о методах изучения психики отличаются такой же двойственностью. С одной стороны, «если психика есть свойство органической материи, то естественно применить к изучению психики в первую очередь и раньше всего те методы, при помощи которых изучается это (т.-е. материальное. *В. С.*) бытие» (стр. 9). С другой стороны, оказывается, что понятие самонаблюдения, а вместе с тем и метод самонаблюдения, не следует совершенно изгонять из психологии и притом по тем же соображениям, что психика есть свойство организованной материи. «Я уже говорил, что марксизм, признавая за психикой лишь значение свойства организованной материи, тем самым вовсе не уничтожает и не приписывает психическим процессам меньшую реальность, нежели другим свойствам материи, напр., движению. А если это так, то нет никаких оснований для отрицания и наличия самонаблюдения, как восприятия своих собственных психических процессов,—этого характерного свойства психики, а тем самым, следовательно, и свойства организованной материи» (стр. 10). Таким образом, характеристика психики, как свойства материи, оказывается доводом, который может быть использован в двух диаметрально противоположных направлениях: именно потому, что психика свойство материи, к ней должен быть применен об'ективный метод изучения, но оказывается, что поэтому же к ней должен быть применен и суб'ективный метод. Нам незачем раз'яснять, что здесь мы опять имеем дело с одним из тех многочисленных логических фокусов, при помощи которых видимость марксистского метода легко сочетается с сохранением верности традициям суб'ективной психологии. И сколько бы ни говорилось в дальнейшем о том, что самонаблюдение должно быть контролируемо об'ективным наблюдением, положение дела не меняется, так как и суб'ективная психология по существу дела не возражает против контроля. Важен принцип—признание значимости за суб'ективным наблюдением, как характерным свойством психики.

Итак, реальность психики, ее непространственность, самонаблюдение, как ее характерное свойство,—вот те камни, которые кладутся проф. Корниловым в основу будущей марксистской психологии. Чтобы не было сомнения в том, что эти камни и в трансформированном своем виде все-таки носят все следы своего идеалистического происхождения, приведем небольшой отрывок из последних страниц брошюры проф. Корнилова, где последний дает обобщающее изложение своих взглядов на психику. «Диалектический материализм,—по словам проф. Корнилова,—говорит о том, что в основе бытия лежит материя, как единственная об'ективная, независимо от нас существующая реальность, частицей каковой реальности является и сам человек, обладающий психикой, отображающей материальный мир и являющейся по своей сущности не чем иным, как свойством высоко-организованной материи. Так мы приходим к материалистическому монизму в психологии... По отношению к другим свойствам материи (протяженности, непроницаемости, веса, массы, движения и др.), которые можно назвать об'ективными, психика является суб'ективной стороной их, неотделимой от них или же отделимой лишь в абстракции... Поэтому, если мы хотим изучать действительно поведение живой, конкретной и цельной личности, мы должны учесть обе эти стороны—и об'ективную и суб'ективную, ибо в каждой реакции живого организма обе эти стороны являются неотделимыми друг от друга. Вот такое двустороннее, слитное неразрывно во-едино изучение поведения человека я называю реактологическим изучением, поскольку само понятие реакции, в отличие от рефлекса, включает в себя обе эти стороны. И вот это-то неразрывное и органическое слияние и суб'ективной и об'ективной сторон и дает нам тот синтез, который должен лечь в основу построений марксистской психологии» (87—89). Этот замечательный отрывок, в котором дано такое изумительное эклектическое сочетание марксистской терминологии, с одной стороны, и идеалистического суб'ективного мировоззрения, с другой стороны, потребовал бы очень много времени для своего разбора. Но читатель и без такого разбора имеет полную возможность отметить, как представитель «марксистской» психологии приходит к материалистическому монизму, сначала оговариваясь, что реакции головного мозга не просто реакции, а свойство высшей нервной организации, а затем незаметно, за ворохом марксистских терминов, подменяя понятие свойства понятием суб'ективной стороны материи, которая не отделима от стороны об'ективной и потому должна быть изучаема совместно с ней. В целом весь отрывок очень напоминает то место из сказочного сюжета, где герой отыскивает душу Кощея бессмертного. Сначала он находит дуб, под дубом ящик, в ящике заяц, в зайце утка, в утке яйцо, а в яйце душа. У проф. Корнилова сначала констатируется в согласии с марксизмом наличие материи, как об'ективной реальности, потом в состав этой реальности включается человек, в человека вкладывается психика, психика определяется как свойство, свойство рассматривается как суб'ективная неотделимая сторона материи. Что же удивительного, что, в конце концов, эта суб'ективная сторона рассматривается, как часть реальности, которая должна быть синтезирована с об'ективной стороной. По мнению проф. Корнилова, такой синтез должен лечь в основу «марксистской» психологии и таким именно синтезом занимается реактология. Спрашивается, чем все это отличается от старой суб'ективной психологии и от идеалистической метафизики? И на каком основании мы стали бы называть эти построения марксистскими? Когда-то В. М. Бехтерев назвал все вообще попытки построения марксистской психологии гибридными направлениями. Но здесь даже не гибридное направление, тут никакой помеси нет. Это откровенное признание позиций старой суб'ективной психологии, чисто внешним образом перемешанное с употреблением марксистских терминов, и ни с марксизмом, ни с об'ективной наукой о поведении не имеющее ничего общего.

Чтобы закончить характеристику того «марксистского» понимания психики, которое конструирует проф. Корнилов, попытаемся фактически проверить в смысле согласия с марксизмом его основное определение психики. «С точки зрения марксизма,—резюмирует проф. Корнилов свои рассуждения о психике,—свойство материи обладать психическими особенностями, это—такое же основное и первично данное, а потому ближе и необ'яснимое свойство, как и всякое другое свойство материи, напр., хотя бы движение» (стр. 14). В сноске к этому месту значится, что оно заимствовано из книги Энгельса «Л. Фейербах», стр. 10. В действительности оно заимствовано из предисловия Плеханова к означенной работе Энгельса, причем Плеханов, оправдывая материалистов от взводимых на них обвинений в том, что они пытаются все психические процессы свести к движению материи, заметил, что способность материи ощущать и мыслить казалась материалистам «таким же основным, а потому и необ'яснимым ее свойством, как и движение». Ссылаясь на эту историческую справку Плеханова, проф. Корнилов уже от себя прибавляет, что психика, согласно марксизму, есть п е р в и ч н о - д а н н о е свойство материи и таким образом вдвойне вводит читателя в заблуждение: а) искажая Плехановскую цитату, б) приписывая ее Энгельсу. Это—с внешней стороны. По существу дела, если нельзя отрицать, что марксисты называли психику свойством материи, то, с другой стороны, нужно дать себе отчет, в каком смысле они этот термин употребляли. Проф. Корнилов этого даже не пытается сделать. Вопроса этого мы коснемся специально в непосредственно следующем отделе *в*. Что касается того, насколько характеристика психики, как первично-данного свойства материи, имеет марксистский характер, как в этом уверяет проф. Корнилов своих читателей, то вопрос этот, пожалуй, исчерпывающе разрешается нижеследующей справкой из В. И. Ленина по вопросу о том, как следует устранять дуализм материи и духа. «Материалистическое устранение «дуализма духа и тела» (т.-е. материалистический монизм) состоит в том, что дух не существует независимо от тела, что дух есть вторичное, функция мозга, отражение внешнего мира. Идеалистическое устранение «дуализма духа и тела» (т.-е. идеалистический монизм) состоит в том, что дух не есть функция тела, что дух есть, следовательно, первичное... Кроме этих двух, прямо противоположных способов устранения «дуализма духа и тела», не может быть никакого третьего способа, если не считать эклектизма, т.-е. бестолкового перепутывания материализма и идеализма» («Материализм и эмпириокритицизм», М. 1909 г., стр. 93). Противоположность «марксистским» построениям проф. Корнилова—полная.

Но, может быть, проф. Корнилов, делая случайные погрешности против марксизма, построяет свое пониманье психики, как «неотделимой суб'ективной стороны материи», в полном согласии с об'ективно-научными течениями в психологии? Ничуть не бывало. Уже одно стремление вместо поведения, как единственного об'екта изучения, трактовать о «психике», выделяя последнюю, как какую-то особую реальность, говорит достаточно за себя. Что такое «психика», «психическое», «душевное»? Едва ли кому-либо не ясно сейчас, что это понятие является остатком старого мифа о душе, которым об'яснялись факты поведения живого существа. А если это ясно, то нужно ставить вопрос не об изучении «психики», а об изучении поведения, реакций, рефлексов и т. п. Правда, употребление термина, выражающего старую и неудачную гипотезу, созданную для об'яснения поведения, часто бывает неизбежным, но оно может быть оправдано лишь в том случае, где о психике говорят с целью развенчать реальность этого понятия; там же, где говорят о психике с целью показать, что это есть особый вид реальности, отличный от других и подлежащий особому изучению наравне с другими видами реальности, там, где говорят это, там впадают опять в старую метафизику. «Психика есть миф», «психическое есть неудачная гипотеза, с помощью которой об'ясняли поведение», «психика—мифологическое обозначение того механизма, который управляет поведением человека»—вот ряд выражений, допустимых с об'ективно-научной точки зрения. Но совершенно недопустимо с об'ективно-научной точки зрения, когда говорят: «психика есть суб'ективная, внутренняя сторона материи»; «психика есть первично-данное свойство материи» и т. п. Говорить так значило бы возвращаться на старую метафизическую точку зрения, когда придается видимость реальности суб'ективным измышлениям. И после того, как гениальный физиолог, И. П. Павлов, сумел отбросить в процессе изучения высшей нервной деятельности всевозможные суб'ективные примышления и своей виртуозной разработкой методa условных рефлексов ввести нас в самую лабораторию физиологического механизма поведения животного и показать всю ненужность суб'ективных догадок о психических переживаниях,—после этого возобновлять старый миф о психике, о реальности суб'ективного мира значило бы просто возвращаться вспять к уже отмирающей форме мышления. Суб'ективный мир реален лишь в том смысле, в каком реально геоцентрическое представление о восходе и заходе солнца, как реально отражение в зеркале и т. п. суб'ективные вещи после раз'яснений по этим вопросам астрономии и физики. Сетования об утрате этой реальности, конечно, никого не смогут умилить, а попытка поставить эту суб'ективную реальность, как нечто равноправное с об'ективной реальностью в процессе построения научного мировоззрения, как нечто неотделимое от об'ективного мира, должна быть квалифицируема, как попытка абсолютно реакционная в науке. В том ведь и заключается прогресс научного мышления, что мы научаемся отделять наши суб'ективные примышления от об'ективной сущности вещей. Поэтому глубоко плачевным нужно признать такое положение вещей, когда группа психологов, едва только мы научились в области психологии отделять суб'ективное от об'ективного, встает под предлогом ревизии психологии с точки зрения марксизма на защиту прав суб'ективного и на равноправность и неотделимость его от об'ективной стороны бытия. Но, разумеется, эта старая сказка о суб'ективной, внутренней стороне бытия еще недолго проживет, как бы ее ни пропагандировали защитники суб'ективной психологии и как бы ни прикрашивали они ее под цвет марксизма.

(Окончание следует).

БИБЛИОГРАФИЯ.

Библиография о Л. Фейербахе.

Настоящую библиографическую сводку мы посвящаем Людвигу Фейербаху, «который во многих отношениях является связующим звеном между философией Гегеля» и взглядами Маркса-Энгельса [1]. После Гегеля Л. Фейербах несомненно является «одним из главнейших философских предшественников Маркса» [2]. Величайшей теоретической заслугой Фейербаха является вскрытие им несостоятельности идеалистической системы Гегеля и подготовка материалистической основы для философии марксизма; но «Фейербах не нашел дороги, ведшей из царства столь ненавистных ему отвлеченностей, в живой действительный мир» [3]; не нашел потому, что он отверг систему Гегеля в целом, в то время как ее самый ценный элемент—диалектический метод—как раз и мог бы стать при материалистическом его преобразовании мощным оружием в борьбе с этими «отвлеченностями». Эта философско-революционная работа была выполнена Марксом и Энгельсом, исходившими из Фейербаховской критики Гегелева идеализма.

«После всех гениальных откровений Фейербаха,—пишут Маркс и Энгельс,—абсолютная критика позволяет себе еще заняться восстановлением для нас всей старой дряни в новом виде» [4]. Таким образом, Фейербах для нас важен не только как выдающийся предшественник Маркса, но еще и как мыслитель, нанесший самый сокрушительный удар идеалистической философии, в силу разных социально-исторических причин время от времени обнаруживающей попытки к «возрождению» и «обновлению», под видом «абсолютной критики», «эмпириомонизма—«критицизма»—«символизма» или какой-нибудь другой модной идеалистической «системы».

В борьбе с этими попытками восстановления, выражаясь энергичным языком Маркса и Энгельса, «старой дряни в новом виде», материалистическая философия Фейербаха, критически воспринятая, может сыграть весьма плодотворную роль.

Этим и об'ясняется, почему выдающиеся представители передовой русской общественной мысли—Бакунин и Белинский, Герцен и Чернышевский,—а в наше время Плеханов и Ленин, в своих философско-революционных исканиях все чаще и чаще обращались к материализму Фейербаха.

Имя Л. Фейербаха с давних пор привлекает к себе внимание как нашей, так и западно-европейской марксистской мысли. Большое оживление в дело изучения Фейербаха должна внести подготовляющаяся к изданию знаменитая «Немецкая идеология» Маркса и Энгельса [5], а также появление на русском языке 3-томного собрания сочинений самого Фейербаха, с которым широкая читательская публика до сих пор могла знакомиться лишь по некоторым произведениям, имевшимся в русском переводе (главным образом, «Сущность христианства» и «О дуализме и бессмертии»).

Настоящая библиографическая сводка имеет своей задачей показать, какая накопилась марксистская и немарксистская литература о Фейербахе. Для удобства ориентировки мы нашу работу разбили на три части: в первой мы даем марксистскую литературу, во второй—литературу, касающуюся влияния Фейербаха на русскую общественную мысль, и в третьей—немарксистскую.

[1]) Ф. Энгельс, Людвиг Фейербах, М., изд. «Красная Новь», 1923 г., стр. 29.

[2]) Н. Ленин, К. Маркс,—Сочинения, Т. XII, ч. 2, стр. 343.

[3]) Ф. Энгельс, Людвиг Фейербах, стр. 58.

[4]) Маркс, К. и Энгельс, Ф., Литературное наследство, т. II, изд. «Освобождение Труда», 1908 г., стр. 225.

[5]) Часть которой уже появилась в I т. «Архива Маркса и Энгельса» под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1924 г. См. Маркс и Энгельс о Фейербахе, стр. 212—256.

Сочинения Л. Фейербаха на русском языке.

Фейербах, Л.—Сущность религии. Перевод Федоровского. Гейдельберг. 1862 г.

То же.—Сущность христианства. Перев. Филарета Феомахова. Лондон. 1861 г.

Фейербах, Л.—Сущность христианства. С биографией автора, писанной М. Кроненбергом. Перевод с 4-го нем. изд. В. Д. Ульриха. Кн-во «Мысль». 1906 г. Спб., стр. XXX—348.

То же.—Перевод Ю. М. Антоновского. Со ст. К. Квенцеля «Л. Фейербах и его книга». Изд. «Прометей». Спб. 1905 г., стр. XXXIV—335.

То же.—В виде приложения к «Вестнику Иностранной Литературы» за 1907 г., только 88 стр.

Рецензии на «Сущность христианства» Л. Фейербаха:

1) Берлин. «Образование». 1907 г., VIII, стр. 114—117.
2) Без подписи. «Русское Богатство». 1907 г., IX, стр. 177—179.
3) П. Ю. «Современный Мир». 1907 г., I, стр. 118—120.

Фейербах, Л.—Письмо к Руге. (Июнь 1843). См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения под ред. Д. Рязанова. Т. I. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. Гиз. 1923 г., стр. 358—359.

То же в «Литературном наследстве» К. Маркса и Ф. Энгельса, т. I, изд. «Мир». М. 1907 г., стр. 336.

Фейербах, Л.—О дуализме и бессмертии. Перевод Н. А. Алексеева. Изд. Спб. Книжной экспедиции. Спб. 1908 г., стр. 146. См. рец. М. Булгакова. «Русская Мысль» 1909 г., XI, стр. 275—276.

Фейербах, Л.—Предварительные тезисы к реформе философии будущего. «Под Знаменем Марксизма» 1922 г. № 7—8, стр. 41—56.

Его же.—Основы философии будущего. Там же, № 9—10, стр. 35—83. Обе статьи вошли в I т. сочинений. Гиз. 1923 г.

Фейербах, Л.—Принципы материалистической теории познания. Издание «Материалист». М. 1923 г., стр. 290. Со ст. А. Деборина: «Л. Фейербах», стр. 3—72. (Сюда вошли: «Предварительные тезисы к реформе философии» и «Основоположения философии будущего»).

Фейербах, Л.—Сочинения. Т. I, перевод С. Бессонова. Со вступит. статьей А. Деборина и с прим. Л. Аксельрод-Ортодокс. Гиз. М.—П. 1923 г., стр. LIV—334. (Вступительная статья А. Деборина: «Фейербах как человек и мыслитель»).

Фейербах, Л.—Сочинения. Т. II. Сущность христианства. Сущность религии. Ответ Штирнеру. С пред. А. Деборина. Стр. XVI—444. Гиз. 1926.

Фейербах, Л.—Сочинения. Т. III. Лекции о сущности религии. Перев. А. П. С предисловием А. Деборина. Гиз. М. 1924 г., стр. VII—400. См. рец. Г. Тымянского «Под Знаменем Марксизма» 1924 г. № 10—11, стр. 235—238.

Маркс и Энгельс о Фейербахе [1]).

Маркс, К.—Передовица в № 179 «Кельнской Газеты» (№ 79). См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. I, под ред. Д. Рязанова и И. Степанова. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. Гиз. 1923 г., стр. 169, 170.

Маркс, К.—Письма к Руге (10 февр. 1842 г.). Там же, стр. 467—468 и от 20 марта 1842 г., там же, стр. 471.

Маркс, К.—Письмо к Л. Фейербаху (30 октября 1843 г.). Там же, стр. 484—485. То же «Под Знаменем Марксизма» 1922 года, № 7—8, стр. 57.

Маркс, К.—Тезисы о Фейербахе. «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса» под ред. Д. Рязанова. Книга I. Гиз. 1924 г. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса, стр. 200—210.

Маркс, К.—Письмо Энгельсу. (От 24 апреля 1867 г.). См. Маркс и Энгельс. Письма. Пер. В. Адоратского, изд. «Московский Рабочий». М. 1922 г., стр. 181.

Маркс, К. и Энгельс, Ф.—Святое семейство или критика критической критики. См. «Из литерат. наследия К. Маркса, Ф. Энгельса и Ф. Лассаля». Т. II, пер. под ред. Л. И. Аксельрод, В. И. Засулич и Д. Кольцова. Изд. «Освобождение Труда». Одесса 1908 г. См. «Критика и Фейербах» (Ф. Энгельса), стр. 224—226 (1844 г.), стр. 268, 285 (К. Маркс), 460 (Энгельс).

Маркс и Энгельс.—Фейербах. (Идеалистическая и материалистическая точка зрения). Пер. под ред. Д. Рязанова, стр. 212—256. «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». Книга первая. Гиз. М. 1924 г. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса.

Маркс, К. и Энгельс, Ф.—Лейпцигский собор. Пер. с нем. с введением Густава Мейера. Изд. «Сорабкоп», Киев 1924 г., стр. 30. (Впервые публикуется на русском языке).

Энгельс, Ф.—Шеллинг и откровение (1842 г.). См. Маркс и Энгельс. Сочинения. Под ред. Д. Рязанова и И. Степанова, т. II. Гиз. 1924 г. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. Стр. 131, 147—148, 161, 185, см. также стр. 122, 131, 300, 322.

Энгельс, Ф.—Александр Юнг и «Молодая Германия». (1842). Там же, стр. 241, 243, 244.

Энгельс, Ф.—Положение Англии (1844 г.). Там же, стр. 366, 367, 368.

Энгельс, Ф.—Библии чудесное избавление от дерзкого покушения или торжество веры (1842). Там же, стр. 523, 525, 527, 531.

Энгельс, Ф.—Письма Марксу (6 ноября 1868 г.), стр. 167 (О влиянии Фейербаха на Дицгена) и стр. 183. Письмо от 11 января 1868 г. (О Фейербахе и Гегеле). См. Маркс и Энгельс. Письма. Пер. В. Адоратского, изд. «Московский Рабочий», М. 1922 г.

Энгельс, Ф.—Людвиг Фейербах. Пер. с предисловием и примечаниями Г. В. Плеханова. Изд. «Красная Новь». М. 1923 г., стр. 29—86. (О различных русск. изд. «Л. Фейербаха»). См. заметку Читателя «Под Знаменем Марксизма» 1922 г., № 11—12, стр. 256—257.

[1]) Произведения Маркса, Энгельса, Плеханова и Ленина цитируются преимущественно по полному собранию их сочинений.

Энгельс, Ф.—Из «Людвига Фейербаха». «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». Под ред. Д. Рязанова. Книга II. Гиз. 1925 г. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. Стр. 377—381.

Плеханов о Л. Фейербахе.

Плеханов, Г. В.—Примечания к его переводу «Л. Фейербах» Ф. Энгельса. Сочинения. Под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1923 г., т. VIII, стр. 376—378. То же отд. изд. «Л. Фейербах» Ф. Энгельса. «Красная Новь». 1923 г.

Плеханов, Г. В.—Социализм и анархизм. Сочинения. Т. IV, 1923 г., стр. 182—184, 188, 194.

Плеханов, Г. В.—Бернштейн и материализм. Сочинения. Под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1923 г., т. XI, стр. 17—22.

Плеханов, Г. В.—Философская эволюция Маркса. Соч. Под ред. Д. Рязанова. Т. XVIII. Гиз. 1925 г., стр. 332—334. То же в сборнике: Группа «Освобождение Труда», № 2. Гиз. 1925 г.

Плеханов, Г. В.—Иосиф Дицген. Сочинения. Под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1925 г., т. XVIII, стр. 286.

Плеханов, Г. В.—Основные вопросы марксизма. Сочинения. Под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1925 г., т. XVIII, стр. 183—203, 248—251. То же, ряд отд. изд., лучшее изд. Института К. Маркса и Ф. Энгельса. Гиз. 1923 г.

Плеханов, Г. В.—Еще о религии. Сочинения. Гиз. 1925 г., т. XVII, стр. 240—245.

Плеханов, Г. В.—В. Г. Белинский, сборник статей под ред. и предисловием В. Ваганяна. Гиз. 1923 г. См. ст. «В. Г. Белинский», стр. 47—48, 50—51. «О Белинском», стр. 216, 217, 262—273.

Плеханов, Г. В.—Н. Г. Чернышевский. Сочинения. Под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1924 г., т. V, стр. 29—30, 38, 151, 189—205, 226—227, 237, 243, 248, 259—261, 331—333, т. VI, стр. 256—264, 288, 289, 301, 305—307, 316—319, 340—342, 348—350, 354, 377—378, 379—381.

Плеханов, Г. В.—Философские взгляды А. И. Герцена. «Современный Мир» 1912 г., № 3 и 4.

То же.—Перепеч. в сбор. ст. Плеханова: А. И. Герцен. Под ред. В. Ваганяна. Гиз. 1924 г., стр. 148—156, 198, 203.

Плеханов, Г. В.—От идеализма к материализму. Сочинения. Под ред. Д. Рязанова. Гиз. 1925 г., т. XVIII, стр. 165—181 (Вперв. в «Истории Западной Литературы». Изд. «Мир» 1917 г., т. IV).

Ленин о Л. Фейербахе.

Ленин, Н. (В. Ульянов).—Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии. Сочинения, т. X. Гиз. 1923 г., стр. 9, 11, 36, 46, 63—66, 78—82, 92—95, 104, 110, 124—126, 129, 143, 144, 165—166, 169, 193, 196, 200, 202, 256, 278, 304, 306.

То же.—Отд. изд. Л. Гиз. с вступит. ст. А. Деборина: «Ленин—воинствующий материалист». Изд. 2-е, 1925 г.

Ленин, Н. (В. Ульянов).—Об отношении рабочей партии к религии. Сочинения. Гиз. 1923 г., т. XI, ч. I, стр. 250, 251, 253, 257.

Ленин, Н. (В. Ульянов)—Карл Маркс. Сочинения. Гиз. 1924 г., т. XII, ч. 2, стр. 317, 320—322, 338, 343.

Другие марксистские авторы [1]).

*Адлер, М.—Маркс как мыслитель. Пер. со 2-го нем. изд. В. Н. Рязанова, с пред. проф. М. В. Серебрякова. Изд. «Книга» Л.-М. 1924 г., стр. 60—65.

*Адлер, М.—Энгельс как мыслитель, пер. с нем. С. И. Цедербаума, с пред. проф. М. В. Серебрякова. Изд. «Книга». Л.-М. 1924 г., стр. 37—40.

Аксельрод (Ортодокс), Л.—Примечания к I т. сочинений Л. Фейербаха. Гиз. 1923 г., стр. 324—334.

Аксельрод (Ортодокс), Л.—К. Маркс и немецкая классическая философия. См. ее сборн. «Против идеализма». 2-е изд. Гиз. 1924 г., стр. 94—96.

Аксельрод (Ортодокс), Л.—Основные элементы философии Иосифа Дицгена. Там же, стр. 272—274.

Аксельрод (Ортодокс), Л.—Предисловие к «Основным вопросам марксизма» Г. В. Плеханова, изд. «Советская деревня». Курск 1925 г., стр. 4—17 (Фейербах и Спиноза).

Асмус, В. Ф.—Диалектический материализм и логика. Изд. «Сорабкоп», Киев 1924 г., стр. 169, 181—186.

Баммель, Г.—Рец. на Г. Рохкина «Фейербах и Маркс». Изд. «Пролетарий», 1925 г., «Печ. и Рев.» 1925 г., IV, стр. 237.

Берлин, П.—К генезису материалистического понимания истории. «Образование», 1904 г., XI, стр. 43—45.

Берлин, П.—Рец. на «Сущность христианства» Л. Фейербаха, пер. В. Ульриха. Спб. 1906 г. «Образование» 1907 г., VIII, стр. 114—117.

Берлин, П.—Очерки общественной жизни и мысли в Германии. 2-е пересм. изд. «Буревестник». Ростов-на-Дону—Екатеринодар 1924 г., стр. 199—206, 217—220.

То же.—Под названием: «Германия накануне революции». Спб. 1906 г., изд. Г. Львовича.

То же.—Впервые в «Образовании». 1905 г., под назв. «Очерки по истории немецкой интеллигенции».

Берлин, П.—Карл Маркс и его время. Предисловие Н. Н. Попова, изд. «Красная Новь» М. 1923 г., стр. 47—60, 76—77.

То же.—Изд. «Польза». М. 1908 г.

То же.—Изд. «Книга». П.—М. 1918 г.

То же.—Впервые в «Образовании» за 1907 г.

*Богданов, А.—Философия живого опыта. 3-е изд. «Книга» П.—М. 1923 г., стр. 234—238.

Быховский, Б.—Л. Фейербах. «Вперед». Минск 1923 г., № 1 (5).

Бессонов, С.—Л. Фейербах. «Молодая Гвардия». 1923 г., I, стр. 60—79.

Бессонов, С.—Л. Фейербах. «Правда» 1922 г., от 27 сен.

*Вольтман, Л.—Исторический материализм. Изложение и критика марксистского миросозерцания. Пер. с нем., под ред. М. Филиппова. Изд. Зябицкого и Пятина. Спб. 1901 г. См. гл. «Антропологический материализм Фейербаха», стр. 94—101, гл. «Расчеты с Гегелем и Фейербахом», стр. 105—123.

Вольфсон, С.—Диалектический материализм. 4-е изд. Минск. «Белтрестпечать», 1924 г., см. «Людвиг Фейербах», стр. 64—74.

[1]) Авторы, не являющиеся сторонниками последовательного материализма, снабжены звездочками.

Гуревич, А.—Людвиг Фейербах. (Биографическая справка). Сб. «Памяти Л. Фейербаха». 1-е изд. Гиз. 1922 г., и 2-е изд. 1923 г., стр. 175—195.

Деборин, А.—Людвиг Фейербах. Личность и мировоззрение. Изд. «Материалист». М. 1923 г., стр. 360. Работа эта впервые, кроме первой главы, печаталась в журн. «Под Знаменем Марксизма» 1922 г., VII—VIII, IX—X, XI—XII, 1923 г., I, гл. I. «Фейербах как человек и мыслитель», в виде вступ. статьи к I тому сочинений Л. Фейербаха. Гиз. 1923 г., стр. V—LIV. См. рец. Гроссман-Рощина. «Печ. и Рев.» 1925 г., III, стр. 240—242.

Деборин, А.—Л. Фейербах. См. предисловие к «Принципам материалистической теории познания» Л. Фейербаха. Изд. «Материалист». М. 1923 г., стр. 3—72.

То же.—Перепечатана в его книге: «Людвиг Фейербах», стр. 86—112.

Деборин, А.—Предисловие ко II т. сочинений Л. Фейербаха. Гиз. 1923 г., стр. III—VII.

Деборин, А.—Ленин—воинствующий материалист. См. его книжку: «Ленин как мыслитель». 2-е допол. изд. Гиз. 1925 г., стр. 14, 15.

То же.—В виде вступ. ст. к отд. изд. «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина, 2-е изд. Л. Гиз. 1925 г., стр. IX (Впервые в «Под Знаменем Марксизма» 1924 г., I).

Карев, Н.—Проблема философии в марксизме. «Под Знаменем Марксизма» 1925 г., № 8—9, стр. 9—12.

Левит, Г.—Л. Фейербах и марксизм. Сб. «Памяти Л. Фейербаха». 2-е изд. Гиу. 1923 г., стр. 271—289.

*Луначарский, А.—Будущее религии. «Образование». 1907 г., X.

*Луначарский, А.—По поводу столетнего юбилея Л. Фейербаха. «Правда» 1904 г., IX, стр. 109—112.

Его же.—Религия и социализм, изд. «Шиповник». Спб., т. I, 1908 г., стр. 30—32, т. II, 1913 г. стр. 293—306.

Ляцкий, Е.—Н. Г. Чернышевский и учителя его мысли (Гегель, Белинский и Фейербах). «Соврем. Мир.» 1910 г., X, стр. 162—163, XI, стр. 135—155.

Машкин, А.—Фейербах в истории русской критики. См. сб. «Памяти Фейербаха». Гиу, 1-е изд. 1922 г. и 2-е изд. 1923 г., стр. 145—174.

Меринг, Ф.—Гуманизм Фейербаха. См. его введение к «Литературному Наследству» К. Маркса и Ф. Энгельса, пер. с нем. Е. А. Гурвич и М. Г. Лунца, т. I, изд. «Мир». М. 1907 г., стр. 298—304.

Меринг, Ф.—Введение ко II т. «Из литературного наследия К. Маркса, Ф. Энгельса и Ф. Лассаля», изд. «Освобождение Труда». Одесса 1908 г., стр. 373, 375, 376, 391—392, 405, 406, 410, 412 (По поводу «Немецкой Идеологии» и др.).

Меринг, Ф.—История германской социал-демократии, т. I. Гиз. 1920 г., пер. с нем. М. Е. Ландау. С пред. И. Степанова, гл. «Бруно Бауэр и Людвиг Фейербах», стр. 114—119. «Маркс о Фейербахе», стр. 277—282.

Меринг, Ф.—Л. Фейербах. См. его сб. статей: «На философско-литературные темы». Под ред. С. Я. Вольфсона. Минск. Изд. «Белтрестпечать». 1923 г., стр. 6—11.

Меринг, Ф.—К. Маркс. История его жизни. Пер. З. Венгеровой. Гиз. П. 1920 г., см. гл. Л. Фейербах, стр. 41—43.

О. П.—Л. Фейербах. «Звезда—Зоря». Орган Екатеринославского Губкома КП(б)У. 1922 г., № 9, от 17 сентября.

Разумовский, И.—Курс теории исторического материализма. Гиз. М. 1924 г., стр. 44—47.

Рожицын, В.—Л. Фейербах. Изд. ЦКП(б)У. Харьков 1922 г., стр. 22.—То же в жур. «Знамя Коммунизма». Харьков 1922 г., VII.

Рожицын, В.—Л. Фейербах и христианство. В сбор. «Памяти Л. Фейербаха». Гиу. Харьков 1922 г., стр. 74—144.—То же. 2-е изд. Гиу. 1923 г.

Его же.—Историческое значение Л. Фейербаха. Сб. «Памяти Л. Фейербаха». Гиу. 1923 г. 2-е изд., стр. 225—269.

Его же.—Гегель и Фейербах о религии. Гиз. 1925 г., стр. 99.

Розанов, Я.—Великий предтеча (К 50-летию смерти Л. Фейербаха). «Коммунистическая Мысль». 1922 г., № 5, стр. 5—10.

Его же.—Л. Фейербах. «Пролетарская Правда». 13 сентября 1922 г.

Его же.—Л. Фейербах и русская общественная мысль. «Понедельник» 1922 г., № 5.

Рохкин, Г.—Л. Фейербах и К. Маркс. В сборн. «Памяти Л. Фейербаха». Гиу. Харьков 1922 г., стр. 39—74.—То же. 2-е изд. Гиу. 1923 г. Настоящая работа вышла также отд. в изд-ве «Пролетарий», 1925 г., стр. 46. Рец. Баммеля Г. «Печ. и Рев.» 1925 г., IV, стр. 237.

Рязанов, Д.—Примечания к статьям К. Маркса: «С берегов Мозеля», «К критике гегелевской философии права» и к «Письму Маркса к Фейербаху». См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. I. Гиз. 1923 г., Институт К. Маркса и Ф. Энгельса, стр. 538, 543—545, 556.

Рязанов, Д.—Очерки по истории марксизма, Изд. «Московский Рабочий». М. 1923 г. См. стр. 33, 47—50, 53, 75, 76, 78, 89.

Рязанов, Д.—Маркс и Энгельс. Изд. «Московский Рабочий». М. 1923 г., стр. 65—70. (Л. Фейербах).

Рязанов, Д.—Предисловие к ст. Маркса и Энгельса: «О Л. Фейербахе». «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». Книга I. М. Гиз. 1924 г. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса, стр. 191—199.

Семковский, С.—1) Апостол воинствующего материализма.

2) Его же.—Материализм Фейербаха и Маркса в свете современной науки. Обе статьи помещены во 2-м изд. сборн. «Памяти Людвига Фейербаха». Гиу. Харьков 1923 г. См. стр. 5—38, 199—223 и вошли также в его «Этюды по философии марксизма». Гиз. М. 1925 г. См. рец. И. Луппола. «Печ. и Рев.» 1924 г. III, стр. 242—243.

Семковский, С.—Л. Фейербах (1804—1872). Харьков. Изд. «Труд». 1922 г., стр. 37. То же. «Путь просвещения». 1922 г., IV (август).

Стеклов, Ю.—Н. Г. Чернышевский. Спб. 1909 г. См. гл. Философские взгляды Чернышевского.

Сретенский, Н.—Л. Фейербах. «Красная Новь». 1922 г., VI, стр. 211—236.

Третьяков, Д.—Современное естествознание и материализм Л. Фейербаха. Сб. «Памяти Л. Фейербаха». 2-е изд. Гиу. 1923 г., стр. 291—300.

Тымянский, Г.—Рец. на III т. сочинений Л. Фейербаха. Гиз. 1923 г. «Под Знаменем Марксизма» 1924 г., № 10—11, стр. 235—238.

Ческис, Л.—Л. Фейербах—философ воинствующего материализма. Изд. «Красная Новь». М. 1923 г., стр. 39.

*П. Ю.—Рец. на «Сущность христианства» Л. Фейербаха. Изд. «Мысль». «Современный Мир». 1907 г., I, стр. 117—120.

Хрестоматия и сборники.

М. Баскин и М. Чудновцев.—Систематическая хрестоматия по марксизму, т. I. Предшественники марксизма, изд. «Пролетарий». 1925 г., стр. 115—138. (Отрывки из Маркса, Энгельса, Плеханова, Фейербаха, Деборина, Аксельрода, Меринга и др.).

«Памяти Л. Фейербаха». 1872—1922. Сборник статей. Гиу. 2-е изд. Харьков, стр. 300.

1. С. Семковский.—Апостол воин. материализма.
2. Г. Рохкин.—Л. Фейербах и К. Маркс.
3. В. Рожницын.—Л. Фейербах и христианство.
4. А. Машкин.—Фейербах в истории русск. критики.
5. А. Гуревич.—Л. Фейербах (биограф. справка).
6. С. Семковский.—Материализм Фейербаха и Маркса в свете совр. науки.
7. В. Рожицын.—Историч. значение Л. Фейербаха.
8. Левит.—Л. Фейербах и марксизм.
9. Д. Третьяков.—Совр. естествознание и материализм Л. Фейербаха.

Семковский, С.—Марксистская хрестоматия. Изд. 4-е Гиу. 1924 г., стр. 636—646 (Отрывки из Плеханова, Меринга, Энгельса и Маркса).

Б. Столпнер и П. Юшкевич.—История философии в марксистском освещении, изд. «Мир». М. 1924 г., ч. II, стр. 205—239 (Отрывки из Плеханова, Энгельса, Меринга и Деборина).

Фейербах и Штирнер.

Штирнер, М.—Единственный и его собственность. Пол. пер. Б. Гиммельфарба и М. Гохшиллера. Изд. «Светоч», СПБ, ч. I 1907 г., ч. II 1909 г.

То же.—Пер. В. Ульриха. Изд. «Мысль», СПБ, 1906.

То же.—Изд. В. Яковенко, СПБ, 1907 г.

То же.—Изд. «Инвалид», 1907 г.

Булгаков, С.—Религия человекобожия у Л. Фейербаха. См. его сборник статей «Два града». Изд. «Путь», М. 1911 г., т. I, стр. 1—68.

Гиммельфарб, Б. и Гохшиллер, М.—Обзор литературы о Штирнере. См. М. Штирнер. Единственный и его собственность, пер. Б. Гиммельфарба и М. Гохшиллера. Изд. «Светоч», т. II, СПБ, 1909 г., стр. 249—520 (Сводка отзывов иностранных авторов, кроме Плеханова и Михайловского, о Штирнере).

Курчинский, М. А.—Апостол эгоизма. Макс Штирнер и его философия анархии. П. Изд. «Огни», 1920 г., стр. 28—32, 89—91.

Маккай, Дж. Г.—Макс Штирнер, его жизнь и учение. Пер. с нем. под ред. А. Даманской, СПБ. 1907 г., стр. 167—172.

То же.—В виде вступительной статьи к книге М. Штирнера: «Единственный и его достояния». Пер. М. Розова. Изд. «Светоч», СПБ 1907 г.

Маркс, К. и Энгельс, Ф.—Лейпцигский собор. С введением Г. Мейера. Пер. с нем. Изд. «Сорабкоп», Киев 1924 г., стр. 30.

Михайловский, Н.—О Максе Штирнере и Фридрихе Ницше. Собр. соч., СПБ. 1909 г., т. VII, стр. 874—888.

Плеханов, Г. В.—Анархизм и социализм. Сочин. под ред. Д. Рязанова, ГИЗ, 1923 г., т. IV, стр. 182—191.

Саводник, В.—Ницшеанец 40-х годов. Макс Штирнер и его философия эгоизма. М. 1902 г., стр. 8—9, 23—25, 58—59.
Тареев, М.—Религиозная проблема в современном освещении. «Богословский Вестник» 1909, № 2, стр. 239—243.
Фейербах, Л.—О сущности христианства в связи с «Единственным и его достоянием». Сочинения. Пер. под ред. А. Деборина и Д. Рязанова, ГИЗ, 1926 г., т. II, стр. 429—443.
То же.—В виде приложения ко II ч. «Единственный и его собственность». М. Штирнера в изд. «Светоч», СПБ, 1909 г., стр. 251—265.
Хомяков, А. С.—Сочинения. 3-е изд., М. 1900 г., т. I, стр. 150—151 («О книге М. Штирнера»).

Фейербах и Маркс в оценке буржуазных авторов.

Алексеев, Н.—Науки общественные и естественные в историческом взаимоотношении их методов. Очерки по истории и методологии обществен. наук, ч. I. Механическая теория общества. Исторический материализм, М. 1912 г., стр. 141—149, 161—173.
То же.—В «Ученых Запис. Московск. Унив.», 1912 г.
Булгаков, С.—Религия человекобожия у Л. Фейербаха. «Вопросы Жизни» 1905, и отд. изд. «Свободная Совесть», М. 1906 г.
Его же.—К. Маркс как религиозный тип. «Московский Еженедельник» 1906 г. и отд. изд., СПБ, 1907 г.
Названные статьи перепечатаны в сборнике его статей «Два града», М., изд. «Путь», т. I, 1911 г., стр. 1—68, 69—105.
Массарик.—Философские и социологические основания марксизма. Пер. с нем. П. Николаева. Изд. К. Солдатенкова, М., 1900 г., стр. 21—33, 37—41, 79—82, 419—424, 441—442, 491—492, 501—503, 505.
Мейер, Густав.—Введение к «Лейпцигскому собору» К. Маркса и Ф. Энгельса. Изд. «Сорабкоп», Киев 1924 г., стр. 5—11.
Его же.—Молодые годы Ф. Энгельса (1820—1851). В сокращенном изложении Л. И. Раевского, ГИЗ, 1924 г., см. стр. 39—43, 67—68, 99—104, 112.
Спарго, Джон.—Карл Маркс, жизнь и деятельность. Пер. И. Маркусона. Пред. В. Святловского. Изд. «Мысль», Л. 1924 года, стр. 40—42, 56—57.

Л. Фейербах в истории русской общественной мысли.

Бакунин.

Бакунин, М.—Реакция в Германии. См. А. Корнилов. Годы странствий Михаила Бакунина, Л. ГИЗ, 1925 г., см. стр. 196.
Полонский, В.—Михаил Александрович Бакунин, т. I. Бакунин-романтик. 2-е изд. ГИЗ, 1925 г., см. стр. 107.
Сакулин, П.—Идеализм Н. В. Станкевича. «Вестн. Европы», 1915 г., № 2, стр. 250—251.

Белинский.

Белинский, В.—Письма. Под ред. Е. Ляцкого, СПБ, 1914 г. Изд. «Огни», т. II, стр. 418—421.
Анненков, П.—Литературные воспоминания, СПБ. 1909 г. См. «Замечательное десятилетие», стр. 284.
Машкин, А.—Л. Фейербах в истории русской критики. Сборник «Памяти Людвига Фейербаха», ГИУ. 2-е изд., 1922 г., стр. 145—174.

Плеханов, Г. В.—В. Г. Белинский. Сборн. статей. Под ред. В. Ваганяна, ГИЗ, 1923 г., см. 1) В. Г. Белинский, стр. 47—48, 50—51; 2) о Белинском, стр. 216, 217, 262—273.
Переписка Н. В. Станкевича.—Изд. А. Станкевича, М. 1914 г. (См. по указателю).
Страхов, Н.—Заметки о Белинском. См. его сборн. статей: «Борьба с Западом в русской литературе». Книга III, СПБ, 1896 г.

Боткин.

Боткин, В. П.—Письмо Белинскому от 22—23 марта 1842 г. См. Сакулин. Русская литература и социализм. 2-е изд., ГИЗ, 1924 г., стр. 179—180.
Его же.—Сочинения, т. II, СПБ. 1891 г. Изд. «Пантеон литературы». См. «Новая германская литература» в 1843 г., стр. 255—259. (Вперв. в «Отеч. Записк.», 1843 г.).
Ветринский, Ч.—В сороковых годах. М. 1899 г. См. «В. П. Боткин», стр. 147, 148, 150.
Пыпин, А.—Белинский, его жизнь и переписка, СПБ. 1908 г., 2-е изд. «Колос», стр. 401, 403, 404.

Герцен.

Герцен, А. И.—О Л. Фейербахе см. в след. томах его собр. сочинений под ред. М. К. Лемке, П. 1919—1925 г., т. III, 245, 335, 475, т. IV, 415; т. V, 46, 289, 293, 422, 545, 549; т. VI, 165, 384, 398; т. VII, 48, 171; т. VIII, 156, 208; т. X, 292; т. XI, 20, 21, 171, 178, 378; т. XIII, 13, 20, 131, 185, 597; т. XIV, 59; т. XV, 81, 375; т. XVII, 101; т. XVIII, 367; т. XXI, 236; т. XXII, 165, 233, 237.
Анненков, П.—Литературные воспоминания. СПБ, 1909 г. См. «Замечательное десятилетие», стр. 284.
Ветринский, Ч.—Герцен, СПБ. Изд. «Светоч», 1908 г., стр. 101—102, 134—135, 143, 145, 218, 361, 462.
Машкин, А.—Л. Фейербах в истории русской критики. Сборник «Памяти Людвига Фейербаха», ГИУ, 1922 г., 2-е изд., стр. 145—174.
Плеханов, Г.—Философские взгляды А. И. Герцена. «Соврем. Мир» 1912 г., №№ 3 и 4.
То же.—Перепеч. в его сбор. ст.: «А. И. Герцен». Под ред. В. Ваганяна, ГИЗ, 1924 г., стр. 148—156, 198, 203.
Скабичевский, А.—Очерки развития прогрессивных идей в нашем обществе, СПБ. 1872, стр. 273—274.
Страхов, Н.—Борьба с Западом в нашей литературе. Изд. 3-е, Киев 1897 г. Книга первая. См. Герцен, стр. 73—83 («Фейербахизм»).
Шпет, Г.—Философское мировоззрение Герцена. Изд. «Колос», 1921 г. См. гл. «Герцен и Фейербах», стр. 81—100.

Добролюбов.

Добролюбов, Н.—Когда придет настоящий день. Полное собр. соч. под ред. Лемке, СПБ. 1911 г., т. IV, стр. 58.
Аничков, Е.—Эстетика реализма. См. Н. Добролюбов. Полное собрание сочинений. Под ред. Е. Аничкова. Изд. «Деятель», СПБ, 1912 г., т. III, стр. 12—17.

Кранихфельд, Вл.—Н. А. Добролюбов. «Соврем. Мир» 1911 г., № 11, см. стр. 288.
Плеханов, Г.—Добролюбов и Островский. «Студия», 1911 г., №№ 5 и 8.
То же перепечатано в книге: «Русские критики об Островском». С предисловием Н. Мещерякова, ГИЗ, 1923 г., стр. 269—298.

Станкевич, Н.

Переписка Н. В. Станкевича. Изд. А. Станкевича. М. 1914 г.
Сакулин, П.—Идеализм Станкевича. «Вестник Европы» 1915 г., № 2.

Лавров, П.

Лавров, П.—Развитие учения о мифических верованиях. «Соврем. Обозрение» 1868 г., № 3, стр. 412, 413 и № 4 (см. стр. 88—94).
Лавров, П.—Задачи позитивизма и их решение. «Соврем. Обозрение» 1868 г., № 5.
То же.—Изд. «Русское Богатство», 1906 г.
Лавров, П.—Теоретики сороковых годов в науке о верованиях. «Устои», 1882 г., № 12 (Подписана П. М.), стр. 100—143.
То же.—Изд. «Русское Богатство» 1906 г.
Лавров, П.—Предисловие к «Введению к критике философии права Гегеля» К. Маркса, СПБ. 1906 г. Изд. В. Врублевского, стр. 21—22.
Мокиевский, П.—Лавров как философ.
Шпет, Г.—Антропологизм Лаврова в свете истории философии.
Гизетти, А.—Лавров и Вл. Соловьев. Названные ст. помещены в сборнике «П. Лавров». П. Изд. «Колос», 1922 г., см. стр. 33, 40, 47, 48, 49, 53, 72—74, 78—79, 81, 84—96, 98—102, 113, 119, 129, 131—133, 137, 388—390.

Петрашевцы.

М. В. Буташевич-Петрашевский.—Натурализм. В «Карманном словаре» иностранных слов, вошедших в состав русс. языка. Изд. Н. С. Кириллова, т. II, 1846 г. Эта статейка, в которой изложено учение Фейербаха о религии, воспроизведена в книге Семевского. М. В. Буташевич-Петрашевский, М. 1922 г., стр. 76.
Семевский, В. И.—М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. Изд. «Задруга», М. 1922 г., стр. 75—76, 151—152, 170.

Хомяков, А.

Хомяков, А. С.—О современных явлениях в области философии (Письмо к Ю. Ф. Самарину). Сочинения. 3-е изд. М. 1900 г., т. I, стр. 298—303 (Впер. в «Рус. Беседе» 1859, 1).
Бердяев, Н.—А. С. Хомяков. Изд. «Путь», М. 1912 г.
Завитневич, В. А.—А. С. Хомяков. Киев 1913 г., т. II, стр. 9—22 (Гегель и Фейербах).

Чернышевский, Н.

Чернышевский, Н.—Предисловие к предполагавшемуся 3-му изд. «Эстетических отношений искусства к действительности». Собр. соч. СПБ. 1906 г., т. X, ч. 2, стр. 190—197.
Чернышевский в Сибири.—Переписка с родными. Статья Е. Ляцкого. Примечания М. Н. Чернышевского. СПБ. Изд. «Огни» 1912 г.—

1913 г. Вып. I, стр. XLIX, 73, 83, 84. Вып. II, стр. XX, XXII, XXIII, XXXII, 126, 127, 129. Вып. III, стр. XII, XIV, 30.
Антонов, М.—Н. Г. Чернышевский. Социально-философский этюд. Изд. «Сотрудничество». М. 1910 г., стр. 11—43.
Беркова, К. Н.—Н. Г. Чернышевский. Изд. «Московский Рабочий». М. 1925 г., стр. 42—45.
Ковалевский, М.—Соперничество немецкого, французского и английского влияний на русскую интеллигенцию с середины прошлого столетия. «Вестник Европы» 1916 г., № 1, стр. 214—217.
Иванов-Разумник.—Общественные и умственные течения 60-х годов и их отражения в литературе. Русская литература в XIX веке. Под ред. Овсянико-Куликовского. Изд. «Мир», т. III, 1911 г., стр. 52—56.
Котляревский, Н.—Канун освобождения. П. 1916 г., стр. 280—317.
Ленин, Н.—Материализм и эмпириокритицизм. Сочинения. ГИЗ, т. X, 1920 г., стр. 304—306.
Ляцкий, Е.—Н. Г. Чернышевский и учителя его жизни. «Соврем. Мир» 1910 г., т. XI, стр. 135—154.
Машкин, А.—Л. Фейербах в истории русской критики. Сборник «Памяти Людвига Фейербаха». ГИУ, 2-е изд. 1922 г., стр. 145—174.
Плеханов, Г.—Н. Г. Чернышевский. Сочинения. Под ред. Д. Рязанова. ГИЗ. 1924 г., т. V, стр. 29—30, 38, 151, 189—205, 226—227, 237—243, 248, 259—261, 331—333; т. VI, стр. 256—264, 288, 289, 301, 305—307, 316—319, 340—342, 348—350, 354, 377—378, 379—381.
Стеклов, Ю.—Н. Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность. СПБ. 1909 г., гл. III, стр. 45—83.
Чешихин-Ветринский, В.—Н. Г. Чернышевский. П. Изд. «Колос». 1923 г., стр. 53—57, 121—122.
О влиянии Фейербаха на передовых представителей русской обществен. мысли см. П. Сакулин. Русская литература и социализм. М. Гиз. 2-е изд. 1924 г., стр. 118, 124, 126, 180, 195, 196, 204, 244, 263, 280, 321, 365, 402, 407, 449, 498.

Общие труды по истории философии.

Виндельбанд, В.—История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками. Пер. со 2-го нем. изд., под ред. А. И. Введенского. СПБ. 1905 г., т. II, стр. 298—302, 347—348, 369—370.
То же.—Изд. 1913 г.
Геффдинг, Г.—История новейшей философии. Пер. с нем. СПБ. 1900 г. «Психология религии и этика Л. Фейербаха», стр. 228—237.
Геффдинг, Г.—Учебник истории новой философии. Авторизованный перевод с нем. Б. Г. Столпнера, с пред. автора к русск. изд., изд. «Шиповник», СПБ. 1910 г., стр. 188—191 (О Л. Фейербахе). См. рец. Л. Аксельрод (Ортодокс). «Соврем. Мир» 1910 г., № 6.
То же.—С пред. Л. Аксельрод. ГИЗ. 1924 г., стр. 179—181.
Ибервег-Гейнце.—История новой философии в сжатом очерке. Пер. с 8-го нем. изд. Я. Колубовский. СПБ. Изд. Л. Ф. Пантелеева 1898 г., стр. 456—459 и перев. с 7-го изд. СПБ. 1890 г., стр. 394—396.
Ланге, Ф. А.—История материализма и критика его значения в настоящее время. Пер. с 3-го нем. изд. Н. Н. Страхова. Изд. 2-е, СПБ. Л. Ф. Пантелеева. О Л. Фейербахе см. стр. 394—401, 414, 416, 421, 422, 457, 503, 674, 722.

Фалькенберг.—История новой философии от Николая Кузанского (XV в.) до настоящего времени. Пер. под ред. проф. А. И. Введенского. СПБ. 1894 г., стр. 516—518.

То же.—2-е изд. СПБ. 1898 г., стр. 525—528.

Форлендер, К.—Общедоступная история философии. Пер. с нем. с пред. Е. Преображенского. Изд. «Московский Рабочий», М. 1922 года, стр. 246—247.

Разные.

Адрес д-ру Фейербаху, врученный депутацией гейдельбергского рабочего образовательного союза 16 марта 1849 г. «Под Знаменем Марксизма» 1922 г., № 7—8, стр. 58—59.

Булгаков, М.—Рец. на «О дуализме и бессмертии» Л. Фейербаха. Пер. Н. Алексеева. СПБ. 1908 г. «Русская Мысль» 1909 г., XI, стр. 275—276.

Группа гейдельбергских студентов. Открытое письмо философу Фейербаху 4 апреля 1848 г. «Под Знаменем Марксизма» 1922 г., №7—8, стр. 58.

Е. А.—Л. Фейербах как критик идеализма. «Журн. М-ва Народн. Просвещения» 1906 г., II, стр. 247—271.

Иодль, Ф.—Л. Фейербах, его жизнь и учение. Пер. с нем. Е. Максимовой. СПБ. 1905 г. Изд. «Образование», стр. 128. См. рец. «Мир Божий» 1905 г., IX, стр. 132—134.

Иодль, И.—История этики в новой философии. Пер. под ред. Вл. Соловьева. М., изд. К. Т. Солдатенкова, 1898 г., т. II, стр. 219—236.

Коркунов, Н.—История философии права. Изд. 5-е. СПБ. 1908 г., стр. 342—344.

Куно Фишер.—Гегель, см. его «Историю новой философии». СПБ. Изд. Д. Е. Жуковского, 1903 г., т. VIII. Полутом второй, стр. 439—445 (Л. Фейербах).

Лапшин, И.—Л. Фейербах. Энциклоп. Словарь Брокгауза и Ефрона. СПБ. 1902 г., полутом 69, стр. 424—427.

Меммингер Антон.—Надгробная речь на могиле Л. Фейербаха, произнесенная от имени социал-демократ. партии Нюренберга. «Под Знаменем Марксизма» 1922 г., № 7—8, стр. 59—60.

N. N.—Рец. на «Л. Фейербах, его жизнь и учение» Ф. Иодля. 1905 г. «Мир Божий». 1905 г., IX, стр. 132—134.

Страхов, Н.—Опыты изучения Фейербаха. СПБ. 1864 г., стр. 126—156.

Его же.—Философские очерки. СПБ. 1895 г., гл. II, Фейербах, стр. 50—99. (Впервые в «Эпохе» 1864 г., № 6).

Его же.—Фейербах в сборнике его статей «Борьба с Западом в нашей литературе». Книжка 2-я, СПБ. 1883 г., стр. 60—109.

Филиппов, М.—Философия действительности. СПБ. 1898 г., т. II, стр. 1126—1128.

Фейербах в богословской литературе.

А. Г.—Фейербах и его последователи. «Православный сборник» 1883 г., II, стр. 139—160.

Буткевич, Т.—Религия, ее сущность и происхождение. Харьков 1904 г., гл. IV. Учение Фейербаха о сущности религии, стр. 120—181.

Кожевников, В.—Религия человекобожия у Фейербаха и Канта. Сергиев Посад, 1913 г.

Линицкий, П.—Обзор философских учений. Киев 1874 г., 154—155 (Фейербах).

Его же.—Различные направления в немецкой философии после Гегеля в отношении ее к религии. «Вера и Разум» 1887 г., т. II, ч. 1, стр. 575—593, ч. II, стр. 1—18, 435—452 (Статьи эти помещены под псевдонимом И. И. Петров).

Материалы для разоблачения материалистического нигилизма. Собраны из немецких источников. СПБ. 1864 г., стр. 77—78.

Светлов, П. Я.—Учение Фейербаха о сущности и происхождении религии. «Вера и Разум» 1885 г., т. II, ч. 1, стр. 559—577, ч. II, стр. 73—96, 143—153.

Тареев, М.—Религиозная проблема в современном освещении (Л. Фейербах). «Богословский Вестник» 1909 г., № 1, стр. 58—84, № 2, стр. 234—260.

Шугаевский, А.—Замечания на публичные лекции Фейербаха о религии. «Христианское чтение» 1874 г., III.

Его же.—Публичные лекции Фейербаха о религии. «Вера и Разум» 1886 г., т. II, ч. II, стр. 449—455.

Я. Розанов.

Г. В. Плеханов. Основные вопросы марксизма. С предисловием Л. Аксельрод-Ортодокс. Кооперативное изд-во «Советская Деревня». Курск 1925 г.

В рецензируемой книге обращает на себя особое внимание предисловие т. Аксельрод. Ему мы и хотим посвятить свою рецензию.

До сих пор в нашей литературе не имелось ни одной работы, в которой хотя приблизительно был бы намечен в основных чертах материализм Спинозы.

Все крупные работы Л. И. Аксельрод свидетельствуют о том, что ею на протяжении значительного периода литературной деятельности был обнаружен огромный интерес к реабилитации материалистических элементов в системе великого мыслителя.

Нужно отдать должное Л. И. Аксельрод: замечания и общая характеристика, даваемые ею спинозистскому материализму, были оригинальны и точны, когда они касались отдельных сторон спинозизма. Но Л. И. Аксельрод не ограничилась только этим: недавно она напечатала в «Красной Нови» (7 кн., 1925 г.) целую статью, где пыталась в систематической форме изложить «все основные моменты отношения спинозизма к материализму». Статью эту в слегка измененном виде она приложила в качестве предисловия к новому изданию «Основных вопросов марксизма» Г. В. Плеханова (В дальнейшем цифры означают страницы предисловия).

Л. И. Аксельрод является одним из крупнейших у нас философов марксизма, с ее мнениями относительно отдельных проблем философского материализма невозможно не считаться. Сказанное особенно является справедливым касательно последней ее статьи.

Вопрос о материализме Спинозы является неразработанным, определенной и установившейся точки зрения у марксистского читателя по этому вопросу нет, и позиция, занятая Л. И. Аксельрод, естественно требует внимательного и детального рассмотрения. К сожалению, однако, приходится констатировать, что работа тов. Л. И. Аксельрод страдает существенными недостатками.

Начнем хотя бы с той общей оценки, которую дает Л. И. Аксельрод спинозизму.

На Спинозу много клеветали; пожалуй даже, что ни один крупный мыслитель не подвергался таким нападкам, превратным толкованиям и

прямым искажениям, как он. Долг всякого, казалось бы, марксиста сводится к тому, чтобы с вниманием и любовью реабилитировать его подлинные материалистические воззрения. Л. И. Аксельрод сразу, с первых же страниц, огорашивает читателя упоминанием о невыдержанности, противоречивости спинозистской системы. Она говорит: «Все мировоззрение Спинозы во всем его целом не представляется возможным считать последовательно выдержанным, т.-е. свободным от противоречий материализмом» (3).

Спрашивается: какой именно смысл и содержание вкладывает Л. И. Аксельрод в свои слова, когда она говорит о противоречивости философии Спинозы: тот ли смысл, что в спинозизме имелось действительное противоречие между теологической его оболочкой и материалистическим содержанием? Если Л. И. Аксельрод под невыдержанностью спинозизма разумеет это противоречие, то с ней спорить мы не станем. Ведь уже Фейербах и вслед за ним Плеханов настоятельно подчеркивали наличие двух сторон в спинозизме и против их аргументации вряд ли кто станет возражать. Но говорит ли это что-нибудь в пользу того, что материалистические воззрения Спинозы, по выражению Л. И. Аксельрод, не представляли «подлинного и последовательного материализма»? (3). Поистине нет никаких оснований для такой низкой квалификации спинозизма.

Противоречие между богословием и материализмом в системе Спинозы еще не свидетельствует о том, что само его материалистическое учение было невыдержано.

Необходимо, наоборот, отметить, что в свое время материализм Спинозы был строго выдержанным и последовательным мировоззрением.

Спиноза самым внимательным образом сохранял прочную связь своих философских выводов с данными положительного знания. Лично он добросовестно изучал все современные ему науки, хотя и не выставлял на вид своих больших знаний. Поэтому у него была та неоспоримая и блестящая заслуга, что он не был отсталым в научном отношении философом и старался последовательно мыслить с точки зрения современной ему науки. А ведь это все, что только можно и нужно требовать от материалистического мыслителя.

Нельзя поэтому бросать упрека Спинозе в невыдержанности его материалистической философии, как это делает Л. И. Аксельрод. Более того: Спиноза, как это правильно отмечает Энгельс в «Диалектике в природе», даже стоял впереди теоретического естествознания XVII века; обоснование механического детерминизма было им предпринято в то время, когда естествознание безнадежно продолжало еще придерживаться телеологии и теологии.

Выслушаем, что говорит по этому поводу Энгельс. «Высшая всеобщая идея естествознания рассматриваемого периода (т.-е. XVII и XVIII в.в. *В. Ч.*), это—мысль о целесообразности естественных процессов, плоская вольфовская телеология, согласно которой кошки были созданы, чтобы пожирать мышей, мыши,—чтобы быть пожираемыми кошками, а вся природа,—чтобы доказать премудрость творца. Нужно считать огромным достоинством и честью тогдашней философии, что она не поддалась влиянию ограниченной точки зрения тогдашнего естествознания, что она—начиная от Спинозы и кончая великими французскими материалистами—настойчиво пыталась об'яснить мир из него самого, представив детальное оправдание этого естествознанию будущего».

Нет, нужно оставить всякие разговоры о непоследовательности спинозистского материализма, если он не только стоял в уровне с теоретическим естествознанием своего времени, но иногда, даже, был далеко впереди его. Хороша, в самом деле, «непоследовательность» и «невыдержанность» материалистического учения, умеющего предвосхищать положительную науку! Фейербах был несравненно более прав, чем Л. И. Аксельрод, когда говорил: «Спиноза сумел найти правильное, по крайней мере для своего времени, выражение для материалистических понятий новейшей эпохи». Не ошибался он и тогда, когда считал философию Спинозы «правильной по своему существу».

От упреков в непоследовательности спинозизма Л. И. Аксельрод переходит к признанию его религиозного содержания.

Благодаря Фейербаху и Плеханову, мы привыкли рассматривать понятие бога у Спинозы, как ненужный теологический привесок, как что-то излишнее и несущественное в его материалистической философии. Л. И. Аксельрод думает иначе.

«Бог у Спинозы,—замечает она,—есть не только заимствованное из теологии слово, но имеет какое-то соответствующее содержание» (5, 6). Признавая, что религиозным чувством обвеяны все произведения Спинозы (а религиозное чувство является по ее мнению основой религии), она спешит прибавить: «Культ Иеговы... прочно овладел трогательно поэтической душой великого мыслителя. Центральная мысль иудаизма, что цель жизни и высшее благо, есть служение и любовь к богу, не оставила философа» (8).

Получается такой вывод, что свой строгий, спокойный, беспощадный аналитический ум Спиноза потратил не на создание критически-выдержанного материалистического учения, но на сохранение истинной религии. По существу Л. И. Аксельрод так и думает. Она говорит: «Благодаря сложившимся, сравнительно, благоприятным социально-политическим условиям Голландии эпохи Возрождения, Спиноза сталкивается с возникающими широкими научными задачами этой великой исторической полосы в развитии человечества. Прежнее религиозное мировоззрение подвергается, под влиянием этого фактора, не нигилистическому отрицанию, а положительной плодотворной критике» (9).

Таким образом, по толкованиям Л. И. Аксельрод, бог у Спинозы был не излишним и не ненужным понятием, но имел реальный смысл и содержание, сам Спиноза был наделен глубоко религиозным чувством и ставил задачей не разрушение религии, но ее прочное и критическое сохранение и обоснование.

Нельзя, конечно, сказать, чтобы эта концепция имела что-нибудь общее с реабилитацией материализма великого мыслителя. Л. И. Аксельрод должна по совести сознаться, что, будучи автором легенды о религиозности Спинозы, она сама мало в нее верит. Через несколько строчек она спешит сознаться в неправоте всего сказанного ею о религиозном моменте в спинозизме. Она делает такие признания:

«Критика религии привела философа (Спинозу)... к безусловному отрицанию бога» (11). «Большое влияние на весь ход мысли философа оказал полный и решительный разрыв с теологией, с творцом-богом» (15). «Нет, от бога теологии нет в учении Спинозы ни следа. Это фантастическое создание разрушено мыслителем в самом основании. Спиноза был глубоко убежденным атеистом».

Читатель, надеемся, согласится с нами в одном: все, что говорит Л. И. Аксельрод о религиозности Спинозы, является цепью безвыходных противоречий. Спиноза то сохранял религию, то разрывал окончательно

с нею; то был фанатически религиозным характером, то вдруг превращался в убежденного и глубокого атеиста.

Если бы Л. И. Аксельрод попыталась подробно раскрыть истинное содержание понятий субстанции, природы и бога в системе Спинозы, то она непременно пришла бы к выводу, что у него понятие бога не играло никакой самостоятельной роли и не имело никакого смысла. Все положения философии Спинозы сохранились бы полностью, если бы он отбросил излишнее понятие «бог» и стал говорить лишь о природе и субстанции.

Самый подход к анализу материалистических моментов в спинозизме был каким-то странным у Л. И. Аксельрод: вместо доказательства спинозистского материализма она стала говорить о непоследовательности этого материализма, вместо выяснения атеизма Спинозы она неудачно пыталась говорить о религиозном характере его воззрений, которые, впрочем, сама же и стала отрицать.

Далее.

В работе Л. И. Аксельрод есть одно не совсем удачно формулированное выражение, которое может породить неправильное представление о нематериальности спинозистской субстанции. Это выражение гласит: «В отличие от Спинозы, Гольбах стоит на строго материалистической точке зрения в том смысле, что субстанция есть материя» (18). Получается впечатление, что если материализм Гольбаха сводился к его учению о тождественности материи и природы, то о подобном тождестве нельзя даже упоминать в системе Спинозы. Так ли это и имеется ли какое-либо основание утверждать, что у Спинозы субстанция-природа не наделялась признаками материального бытия?

Стоит только поставить в такой форме вопрос, чтобы сразу же убедиться в ошибочности подобного утверждения.

Л. И. Аксельрод не без основания восстает против истолкования спинозизма в смысле психофизического параллелизма. Она утверждает, что параллелизм атрибутов совершенно исчезает у Спинозы, когда он развертывает необходимую причинную зависимость души от тела. Требование предварительного познания для познания человеческой души имеет у Спинозы строго материалистический смысл: тело оказывается у него на первом месте, душа—на втором, при этом, душевные процессы зависят от материальных и ими обусловливаются.

Но какой вывод напрашивается сам собою из материалистического учения Спинозы о душевной жизни человека? Тот ли вывод, что атрибуты субстанции были равноправными и протекали всегда параллельно, будучи независимыми один от другого? Ничуть не бывало. Атрибут протяженности оказывался в спинозизме наиболее главным, он был самостоятельным и независимым в своей деятельности, атрибут же мышления превращался в зависимый и подчиненный. Вряд ли возможно серьезно после этого говорить о нематериальном характере субстанции-природы; ведь основным свойством этой субстанции оказывалась протяженность, материальность.

Все содержание субстанции-природы образовано у Спинозы из основных свойств материи. Основные черты его субстанции полностью приложимы к одной только материи: она—причина себя, она не создана, вечна, единственна, она—основа существующих вещей, ее атрибуты—мышление и протяженность—являются основными свойствами материи. Спиноза сближает, следовательно, понятия бога, природы, субстанции с понятием материи, он не боится приписывать материи характер божественного существа. Никаких изменений в его воззрениях не произошло бы, если бы он вместо приписывания миру божественных свойств стал говорить о материальном характере этого мира.

Рассуждения о нематериальности спинозистской субстанции носят явно идеалистический характер. Сторонникам этой точки зрения не мешало бы помнить, что говорил в свое время по этому поводу Плеханов. В разгар славной борьбы с Бернштейном, критикуя его выпады против материализма, он писал: «Его (т.-е. Спинозы. *В. Ч.*) единая субстанция—одновременно и вещественна и духовна. По словам же Бернштейна, Спиноза «ясно называет» ее невежественной. Очень хорошо понял он Спинозу! Почти так же хорошо, как Гегеля!».

В статье Л. И. Аксельрод имеются и совершенно правильные положения. Таковы, например, ее замечания о механической причинности у Спинозы. Развивая мысль о законе абсолютной необходимости или закономерности, проникающей собою все явления и управляющей всей вселенной, она делает такое признание: «Благодаря последовательному отрицанию сверх'опытной целесообразности и не менее последовательному признанию и обоснованию механической закономерности, система Спинозы насквозь проникнута доподлинным материализмом» (15).

Жаль только, что столь ценное положение остается у Л. И. Аксельрод вскользь высказанным и не подверженным нужной оценке.

Она, например, ни одним словом не обмолвилась о связи, существующей между механическим детерминизмом Спинозы и тогдашним естествознанием. Получается впечатление, что такая важная категория в спинозизме, как механическая причинность, была плодом одного философского творчества и не была навязана Спинозе, скажем, успехами и развитием механики в первую половину XVII столетия. Л. И. Аксельрод оставляет далее без всякого рассмотрения вопрос о безусловной зависимости механического материализма Спинозы от признаваемой им механической причинности.

Мы не находим ни одного критического упоминания о том, что механический материализм был наиболее последовательной формой миропонимания в XVII и XVIII столетиях, и в настоящее время, в сравнении с диалектическим материализмом, является уже ограниченным и устарелым. Не узнаем мы от Л. И. Аксельрод и того, что одной из ограниченностей механического материализма Спинозы было отсутствие в нем какого-либо принципа развития.

Далее все сказанное Л. И. Аксельрод об элементах материалистического понимания идеологий у Спинозы также заслуживает с нашей стороны живейшего внимания и сочувствия. Она очень кстати цитирует отрывок Спинозы из 7 главы его «Богословско-политического трактата»: «К тому же следует принять во внимание то обстоятельство, что чьи-нибудь слова возможно тем легче истолковать, чем точнее мы знаем жизнь, нравы и занятия их автора».

Спиноза имеет здесь в виду, по толкованию Л. И. Аксельрод, автора библии или еврейский народ, изучение жизни которого могло бы помочь нам найти ключ к истолкованию содержания библии. В «Богословско-политическом трактате» Спинозой был дан пример научной, исторической критики религии. Эта историческая критика священного писания привела его к тому важному, и впервые высказанному в истории науки, выводу, что религия является исторической категорией, вызванной к жизни историко-социальными причинами.

Нам остается только пожалеть, что реабилитация материалистического учения Спинозы в целом ограничилась у Л. И. Аксельрод одним только упоминанием про элементы исторического материализма в его

воззрениях. Если бы вообще Л. И. Аксельрод меньше критиковала спинозизм и более старалась представить в истинном свете все отдельные его материалистические проблемы, то и статья ее и интересы читателя от этого только выиграли бы.

Одним из следующих вопросов, которые ставит Л. И. Аксельрод, является вопрос о философских течениях, вышедших из системы Спинозы. С большим удивлением мы узнаем от нее, что влияние Спинозы на последующее развитие материалистической мысли ограничилось одним только Ламеттри и Гольбахом. Что великие германские поэты, критики и историки (Гете и Лессинг, Мендельсон и Гердер) были спинозистами, об этом не сказано Л. И. Аксельрод ни одного слова. Да мы и не стали бы упрекать ее за это, если бы она дала правильное представление об исключительном по силе влиянии, которое оказал спинозизм на развитие материалистической мысли в XVIII и XIX столетиях.

Ничего подобного Л. И. Аксельрод нам не дает.

В самом деле: какую цену имеют ее рассуждения о влиянии Спинозы на «Систему природы» Гольбаха? Она хвалит главное произведение Гольбаха, называет его «замечательной» и «благородной» книгой, старается доказать, что оно проникнуто «нравственными» началами и «человеколюбием». Кому нужна эта похвала Гольбаха? Обывателям, испугавшимся страшных материалистических понятий? Марксистам? Но кто же из марксистских читателей сомневается в том центральном значении и месте, которое занимал Гольбах среди французских материалистов. Между тем самому влиянию спинозизма на материализм Гольбаха уделено очень мало внимания: оно ограничивается заимствованием только закона механической причинности. Что свои материалистические воззрения о природе и человеке Гольбах создал под влиянием философии Спинозы, об этом Л. И. Аксельрод не сказала ни одного слова.

Называя далее Ламеттри атеистом, Л. И. Аксельрод пишет: «В философию Ламеттри вошло из системы Спинозы учение о материалистическом детерминизме, а следовательно, и отрицание телеологии» (18). Приведенное замечание о Ламеттри носит слишком общий характер. Без сомнения, не только Ламеттри, но и все другие французские материалисты (Дидро, Гельвеций; о Гольбахе мы уже не говорим) развивали принципы механической причинности, находясь под влиянием спинозизма. Но кроме принципа причинности Ламеттри также заимствовал от Спинозы и другие, мы сказали бы, более важные начала его материалистического учения; о них-то и не говорит ничего Л. И. Аксельрод.

Прежде, нежели перейти к характеристике этих начал, нужно сказать, что из спинозистов-материалистов XVIII века Л. И. Аксельрод не упоминает ни разу имени главы энциклопедистов—Дидро. Неужели она забыла, что Плеханов выделял философские взгляды Ламеттри и Дидро в отдельное и самостоятельное течение, считая только их последовательными сторонниками материализма Спинозы?

К чему же сводился спинозизм Ламеттри и Дидро?

К трем моментам, ответим мы: 1) к материалистическому учению о единой субстанции-природе, при котором природа была единственным миром, вне которого нет и не может быть никакого другого; 2) ко взгляду на чувствительность, как на важнейший атрибут материальной субстанции; 3) к учению о всеобщей одушевленности мира, исключающем всякое представление о безжизненности и инертности материи.

Л. И. Аксельрод из числа материалистов-спинозистов исключила не только одного Дидро. Оказывается, что и Фейербах, по ее мнению, также не был спинозистом. Мы еще раз нескромно спрашиваем Л. И. Аксельрод: неужели она ни разу не слыхала от Плеханова, что Фейербах в XIX столетии продолжал развивать материалистические традиции не только французских материалистов, но и материалистические традиции Спинозы? Забывчивость Л. И. Аксельрод буквально ставит нас в тупик: ведь тот же Плеханов чуть ли не с десяток раз называл «гуманизм» фейербаха спинозизмом, лишенным его теологического привеска.

Вслед за Спинозой Фейербах учил, что мир не имеет начала во времени, что он вечен, не произведен и не создан, является причиной себя и основой зависимых от него вещей. Положение об единстве и различии суб'екта и об'екта, образуя основу материализма Фейербаха, также было заимствовано им из спинозистского учения об атрибутах субстанции. О влиянии Спинозы на выработку антропологического материализма фейербаха мы уже не говорим.

В одном месте своей статьи Л. И. Аксельрод подымает вопрос о влиянии спинозизма на диалектический материализм Маркса и Энгельса. Известно, что Плехановым проблема этого влияния была впервые поставлена в марксистской литературе; не менее известно, что эта проблема в общем Плехановым была мало освещена. Л. И. Аксельрод является одной из наиболее близких и верных учеников Плеханова; мы вправе на этом основании требовать от нее подробных указаний и раз'яснений по вопросу о связи спинозизма с марксизмом. Связь эту Л. И. Аксельрод пытается вскрыть; она говорит:

«Во всем богатом и содержательном критическом анализе «Системы природы»... внятно и отчетливо слышится спокойный, но суровый голос еврейского мыслителя и ярко выступает его плодотворное и великое методологическое начало истинно-научного исследования природы: «не плакать, не смеяться, но понимать». Этим великим методологическим началом (т.-е. принципом механической причинности или детерминизмом. *В. Ч.*) насквозь проникнут диалектический материализм» (20).

Мы прямо не знаем, как возможно хоть мало-мальски согласовать только что приведенную цитату Л. И. Аксельрод с тем требованием, которое выставила она в начале статьи. А оно сводится к тому, что мы не имеем никакого права превращать философов-метафизиков в сторонников материализма Маркса—Энгельса. «Если мы всех,—говорит она,—великих философов-метафизиков превратим в диалектических материалистов, то вполне возможно, что они отплатят нам той же монетой» (4).

Поистине Л. И. Аксельрод жестоким образом обращается с читателем: то она сближает механический материализм Спинозы, выросший на признании им механической причинности, с диалектическим материализмом, то требует самого добросовестного их разделения и разграничения. Как понять эти противоречия, то и дело встречающиеся в решениях ответственных вопросов материалистического мировоззрения?

Нужно ли говорить, что Л. И. Аксельрод самым неудовлетворительным образом пыталась ответить на поставленный Плехановым вопрос о единстве спинозизма с марксизмом? Мы считаем, что и говорить об этом не приходится. Нужно ли протестовать против полного растворения механических воззрений Спинозы в диалектическом материализме Маркса и Энгельса? Мы полагаем, что нужно и очень нужно, хотя вряд ли согласится с нами Л. И. Аксельрод.

Вообще было бы гораздо лучше, если бы она вовсе не касалась влияний учения Спинозы на последующих материалистов; ничего ведь кроме общих мест и недоговоренности нельзя найти у нее по этому важному историко-философскому вопросу.

Вот в сущности и все вопросы, которые были затронуты Л. И. Аксельрод в ее статье. О материализме Спинозы мы узнали чрезвычайно мало; единственная и наиболее значительная статья, посвященная Спинозе, не смогла наметить основных контуров его материализма. Многие проблемы спинозистского материализма так и остались в ней совершенно не освещенными.

Мы, например, ничего вразумительного не узнали об атеистическом характере воззрений Спинозы; Л. И. Аксельрод, правда, мимоходом упомянула про атеизм Спинозы, но раскрыть его истинный смысл, показать его существование она сочла излишним и бесполезным делом. Она ни одним словом не обмолвилась о том, что Спиноза придерживается строго материалистического учения о существовании природы. Французские материалисты и Фейербах, как было уже сказано, являлись только верными учениками Спинозы в этом важном вопросе. Мы не узнали ничего о материалистическом взгляде Спинозы на человека, по которому человек был бы частицей природы, подчиненной в своей жизни ее непреложным законам. Мы ничего не узнали о существовании антропологического материализма у Спинозы, кроме недостаточных двух—трех примеров. Мы не слышали, наконец, ни одного возражения против прочно укоренившейся и клеветнической характеристики спинозизма, как пантеистического мировоззрения.

Свои беглые замечания нам хотелось бы закончить таким соображением: Л. И. Аксельрод, по нашему мнению, не имела права превращать свою столь спорную статью в предисловие к классическому произведению Плеханова, являющемуся лучшим руководством по марксизму. Мы твердо уверены, что с нами невозможно не согласиться.

Владимир Чучмарев.

И. Вороницын. К. А. Гельвеций. «Биографическая библиотека» Гос. Изд. М.—Ленинград (отпечатано в Краснодаре), 1926, 97 стр., цена 75 коп.

Небольшая книжечка И. Вороницына о Гельвеции является вторым по счету выпуском «Биографической библиотеки» Госиздата, посвященным французским материалистам (первый такой выпуск—книжечка В. Сережникова о Ламеттри). Такое направление «Биографической библиотеки» следует только приветствовать. В свое время мыслители материалисты почти не допускались на страницы аналогичной библиотеки Павленкова.

Книжку И. Вороницына русский читатель должен встретить с тем большим интересом, что она является у нас первой книжкой, где дается биография французского просветителя. При всем нашем подчеркивании роли материалистов XVIII века, как необходимого этапа в истории диалектического материализма, мы все еще очень бедны соответствующей литературой. И в этом отношении работа И. Вороницына вносит в дело свою посильную лепту.

Автор начинает с рассказа об общем экономическом и политическом состоянии Франции XVIII века и на этом фоне рисует картину просветительного движения. Затем он переходит к изложению событий жизни Гельвеция, знакомит с годами его детства и молодости и с карьерой Гельвеция—откупщика податей. Вторая глава рассказывает о влиянии на Гельвеция таких его старших современников, как Вольтер, Фонтанелль и Монтескье. Несколько страниц биографического содержания прерываются

изложением книги Гельвеция «Об уме» («De l'esprit» автор переводит вопреки установившейся в русской литературе традиции—«О духе»).

После этого изложения автор вновь переходит к биографии Гельвеция. Он знакомит читателя со всеми преследованиями философа, с печальной повестью о его «отречениях», и с успехом книги в либеральных и радикальных слоях общества. Вслед за рассказом о последних годах жизни Гельвеция автор дает изложение его второй, посмертной книги «О человеке». Книжка заканчивается общим резюме и оценкой Гельвеция, как атеиста, материалиста, как в известном отношении предшественника социологических теорий XIX века.

Таково содержание работы И. Вороницына. Если к этому добавить, что язык автора прост и популярен, что на протяжении сотни страниц он сумел сконцентрировать богатый и интересный материал, то вывод напрашивается сам собой—книжка представляет отрадное явление в нашей научно-популярной литературе по истории мысли.

Однако на такой оценке книжки И. Вороницына остановиться нельзя и не потому, что она не верна, а потому, что книжка представляет интерес и в другом отношении, вырастая в своего рода большой вопросительный знак в нашем подходе к литературно-этическим делам.

Читателя, знакомого с литературой по французскому материализму, невольно поражает этот богатый фактический, в изрядной части широкому русскому читателю неизвестный материал, который И. Вороницын собрал на своих ста страницах. И при всем этом ни одной ссылки на источники! Нам возразят, что в популярной книжке аппарат ссылок вовсе не обязателен. Мы согласимся с этим; но в таких популярных книжках обычно указывают,—и это, конечно, долг порядочного отношения к своему делу,—ту литературу, на основе которой написана популярная книжка.

Автор компиляции о б я з а н указать те книги, содержание которых он излагает. Так делали всегда авторы павленковской библиотеки, а между ними были не только второразрядные имена. Так делают, к чести их и Госиздата будь сказано,—и авторы других выпусков «Биографической библиотеки» Госиздата. Такого отношения к своему делу нет у И. Вороницына. А между тем его книжка о Гельвеции представляет собою с а м у ю б е з ж а л о с т н у ю к о м п и л я ц и ю и притом чисто механическую, хотя и с литературным изложением.

Процесс «разложения» книжки И. Вороницына на составные части представляется в следующем виде: 1) Введение, стр. 1—11, изложено по Каутскому и Кунову (речь идет о классовых противоречиях и классовой борьбе во Франции XVIII века). 2) Главы I—VII, стр. 12—81, т.-е. по существу вся органическая часть книжки, представляет собою и по построению (буквально до деталей) и по изложению конспект лучшей работы о Гельвеции, единственной научной о нем монографии, книги: Albert Keim, «Helvetius, sa vie et son oeuvre», d'après ses ouvrages, des écrits divers et des documents inédits, Paris 1907.

Вот источник всей эрудиции нашего автора. Повторяем, никто не запрещает пользоваться книгой Кэйма, не пользоваться ею нельзя. Но, пользуясь ею и тем более, как делает И. Вороницын, безжалостно по страницам списывая с нее, необходимо х о т ь о д и н р а з упомянуть имя своего благодетеля. 3) Наконец, глава VIII, стр. 83—94, представляет собою парафраз известного очерка Плеханова о Гельвеции. Так как Плеханова русский читатель знает, то имя его встречается несколько раз в книжке И. Вороницына. Таковы приемы составления книг в наше время.

Мы очень рады проникновению немногочисленной и честной европейской литературы (а книга Кэйма является в общем честной работой бур-

жуазного исследователя о философе-материалисте) на наш книжный рынок,—книгу Кэйма можно было бы перевести,—но мы против воронцынских методов насаждения у нас такой литературы.

И. Луппол.

Танхилевич, О. Эпикур и эпикуреизм. Труды Института Красной Профессуры. Философская серия под редакцией А. М. Деборина. «Новая Москва», М. 1926 г., стр. 144.

Совсем недавно я рецензировал на страницах этого журнала книжку проф. И. Боричевского об Эпикуре [1]). Характеризуя философские симпатии и антипатии этого автора, я подчеркивал, что под новыми словечками, вроде «внутринаучной философии» или «философии науки», надо разуметь старую позитивистическую методологию с ее культом «чистого естествознания», «чистой науки» и т. д.

И вот за сравнительно короткий промежуток времени мы имеем новую работу об Эпикуре. Если у проф. И. Боричевского комментарии к Эпикуру сводились к комментариям к своей собственной философии, то у тов. Танхилевич задача исследования состоит в том, чтобы восстановить исторически верную картину эпикуровой философии, применяя метод исторического материализма. После методологической путаницы автора «Древней и современной философии науки», после отсутствия ясной философской линии в исследовании приятно остановиться на книге, в которой, методом диалектического материализма, превосходно разрешена очень трудная задача восстановления по первоисточникам древней философской системы.

Тов. Танхилевич начинает с характеристики социально-экономического состояния Греции времени Эпикура, и в соответствии с этим глава первая носит заглавие: «Эпоха Эпикура». «Тупик, в который зашло хозяйственное развитие Афин, можно характеризовать как несоответствие между далеко зашедшими в своем развитии экономическими формами и отстающими от них производительными силами страны». «Почва Греции, разоренной чужеземными войсками, напоенной кровью одноплеменников, наводненной иностранцами, с их обычаями, нравами и религией, оказалась чрезвычайно благоприятной для расцвета этической философии. Цели различных соперничающих этических школ, какими были эпикурейская и стоическая, в сущности, совпадали. У них была одна общая практическая задача—поднять, восстановить расшатанные душевные силы эллинского народа. Высшее блаженство—душевное спокойствие». «Задача, стоявшая перед Эпикуром, была проста до прозрачности: всей этой потерявшей голову и самообладание публике вернуть психическое равновесие. Так создается учение Эпикура об атараксии и мудром отрицании общественной жизни».

Обоснованию этой мысли посвящены первая и заключительная главы книжки тов. Танхилевич. Вторая глава о «генезисе теории Эпикура» подробно излагает исторически-известные нам источники Эпикура—демокритову физику, демокритову этику и отчасти учение о морали киренаиков.

Эпикур заимствовал основы физики у Демокрита. Но он не остался простым пересказчиком демокритовских идей. Основным различием теории обоих натурфилософов является учение Эпикура о самопроизвольном отклонении атома, но различие выступает и по всей линии в целом ряде специальных проблем: о качествах, о формах атомов, о тяжести, о

[1]) «Под Знам. М.», 1925, № 7.

HOOVER LIBRARY

делимости атома и пр. Изложение автора надо признать и в этой части убедительным.

Надо признать его убедительным и в той части книжки, где автор занят изложением теории Эпикура—его логики, этики и физики. Очень популярное изложение в соединении с исчерпывающей полнотой разрабатываемых проблем выделяет рецензируемую книжку, как ценное пособие по изучению истории греческого материализма. После книжки т. Никеля о Демокрите («Новая Москва», 1923 г.) работа т. Танхилевич об Эпикуре—единственное, что мы имеем из специальных марксистских монографий о греческих материалистах. Она безусловно может быть рекомендована нашему читателю, несмотря на отдельные недочеты, которые я сейчас отмечу и которые характера книги, как популярной и притом исследовательски выдержанной работы, не нарушают.

Прежде всего общая оценка эпикуровой системы, как противоречивого отражения социально-экономических противоречий нам кажется вполне правильной. Что просветительное значение эпикуровой философии состояло в распространении положительного знания в лице атомистики и разрушения религиозных суеверий,—это также правильно отмечает автор (стр. 142). Но когда автор, конкретизируя свою главную мысль, поясняет «противоречивость» системы Эпикура его учением о «множественности причин», о «богах», его идеалистическим уклоном, то это противоречит историческим данным об атеизме Эпикура [1]).

У автора есть ряд исторических положений, которые он сам называет «спорными». «Эпикур вошел в историю как атеист и как материалист. Мы же отказываем ему в звании атеиста и не считаем его последовательным материалистом»,—говорит т. Танхилевич. Это—действительно спорное положение. Так как автор связывает «дуализм» Эпикура с целым рядом специальных проблем каноники (логики), физики и этики, нам придется следовать за автором.

1) «Оставаясь в своей канонике последовательным материалистом, Эпикур все же оставляет идеалистические щели, сквозь которые он сможет в дальнейшем пройти. Такой лазейкой в теории познания является πρόλεψις (стр. 64). Тов. Танхилевич открыла у Эпикура πρόλεψις № 1 и πρόλεψις № 2. № 1—это нечто среднее между ощущением и логическим понятием, № 2 πρόλεψις—это чисто логическое понятие. «Чистое умозрение», «чистое логическое понятие, появляющееся в результате спекулятивных размышлений суб'екта» (стр. 65)—трудно найти более несуразное для Эпикура, чем эти определения πρόλεψις'а. Эпикур нигде не рассматривал мышление, как «равноправную восприятию способность», и переход от логики к физике не происходит «посредством привлечения новой познавательной способности» (стр. 69). Два приводимых автором места из Диогена Лаэртского (к сожалению, точно не указанных) говорят лишь о том, что необходимо точно запечатлевать «чувственные впечатления» (стр. 69) или «восприятия» (стр. 70). Мы могли бы добавить и более яркие места, напр. (р. 105, 7 Usener). Эпикур пишет, что критериями истины являются «ощущение, ходячее мнение (πρόλεψις) аффект». Но выводить отсюда, что Эпикур помимо ощущений вводит какой-то новый критерий истины—πρόλεψις, т.-е. якобы чисто логическое понятие, значит не понять учения Эпикура об ощущениях. И «мышление», и «аффект», и πρόλεψις—все это есть та или другая вариация ощущений. «Атомы» и «пустота» менее всего можно приравнивать к «гипотезам» современных физиков или к «чисто-логическим понятиям»

[1]) В дальнейшем я должен извиниться перед автор. за греческ. корректуру.

неокантианцев. πρόλεψις—«дологическое» понятие, это «общепринятое представление», мы бы сказали, взятое в его голой абстрактности, нечто такое, чем чаще всего мы оперируем в нашем языке, общераспространенное и общепонятное нам, прежде чем мы логически успеем в нем разобраться, это—как бы застывшая в языке память (μνέμη) о некогда полученных ощущениях. Я вижу перед собою какое-то животное и спрашиваю, что это—лошадь или бык? Если я отличаю быка от лошади, то это возможно благодаря имеющейся у меня, как бы мы сказали, «апперцепции», или, по выражению Эпикура, благодаря πρόλεψις'у. Точно так же называть, охарактеризовать получаемые впечатления возможно опять-таки благодаря πρόλεψις'у.

Что никакого «чисто-логического» умозрения нельзя найти во взглядах Эпикура, в этом убеждает самый беглый обзор его теории ощущений.

2) «Физика Эпикура не имеет ничего общего с эмпирическим рассмотрением вещей. Напротив, в физике Эпикур, исходя из чисто теоретических рассуждений, умозаключает к существованию атомов» (стр. 53). «Относительно эпикуровской системы до сих пор сохранялся взгляд, что в нем ощущение считается основным критерием познания» (стр. 55). И в другом месте автор вновь отмежевывается от существующего понимания своего философа: «Существует общепризнанное мнение, будто Эпикур в основу своей теории познания положил ощущение. На самом же деле у Эпикура не было теории ощущения в том смысле, как мы это понимаем» (стр. 59).

Все это рассуждение от начала до конца мне кажется ошибочным. Когда Эпикур говорит о познании «неочевидного» и «будущего» посредством «размышления», то он всегда указывает путь этого познания; излагать канонику, выдвигая на первое место мышление, а ощущению отводя подчиненную роль, значит ставить всю логику Эпикура на голову. «Обо всем этом свидетельствует само ощущение», говорит он, заканчивая свои тезисы об «атомах и пустоте». «Неочевидное и все дальнейшие выводы из него мы можем вскрывать согласно ему (ощущению, καθ'ὃν Diog. Laert, p. 6,5—14. Us.). Выражение «ἰδὲν «ἀντιμαρτυρεῖ τῶν φαινομένων» проходит через все его письма главнейшим мотивом всего их построения, и это, конечно, может иметь только один смысл—сенсуалистически-об'ективистический (ср. Usener, p. 76,8). «Все явления следует рассматривать согласно ощущениям», всякий иной способ познания есть «насилование» (παραβιάζεσθαι) явлений.

Отрицать существование развитой теории ощущения в системе Эпикура для того, чтобы подсунуть ему утверждение «умозрительного», «спекулятивного» критерия истины, равноправного ощущению,—это положение довольно смелое и оно недостаточно—текстуально недостаточно—обосновано у тов. Танхилевич.

В связи с этим, конечно, не случайно отсутствие в книге всякого упоминания о так называемой «семейотике» Эпикура, т.-е. учении о познании всего недоступного непосредственному восприятию путем осмысливания воспринимаемых «знаков» («отметок», «признаков») в явлениях. Это учение о «знаках», помогающих нам итти от известного к неизвестному, не было полностью развито Эпикуром, но главная мысль учения позднейших эпикурейцев (главным образом, Филодема) была намечена в работах Эпикура. Эпикур уже говорил о необходимости «отмечать о невидимом» по «меткам» ощущений περὶ τῶν ἀφανῶν σημειῶται (p. 54, 13 Usen. ср. Sext adv. math. VIII, 177 p. 190, 262 Us.). Ясно, что семейотика была введена для того, чтобы избежать особого рационалистического критерия истины.

3) Теперь посмотрим, свидетельствует ли о «спекулятивном» характере мышления Эпикура его учение о «множественности причин». Мне кажется, смысл, задача τέλος этого учения автором понята неправильно, или, вернее, ее собственное понимание осталось недосказанным. Учение о множественном об'яснении небесных явлений и принцип множественности причин—две вещи разные. Философского, т.-е. принципиального, учения о множественности причин в системе Эпикура не было. Что метеорология целиком вела в практической философии к обоснованию личной свободы воли и атараксии, это совершенно верно, но, во-первых, ту же цель ставила себе и великолепно выполняла атомистика, а, во-вторых, свобода воли была дана не в множественности причин, а в отклонении атомов, на что справедливо указывает и автор.

Вкратце эпикурово «учение» о многообразном причинном об'яснении небесных явлений определяется двумя коренными чертами всей его системы. Во-первых,—материализмом в теории познания. Критерий истины надо видеть лишь в ощущении,—в том, что совершенно очевидно и что подтверждается «единообразным согласием с явлениями». Если этого «единообразного согласия с явлениями» нет, то наше знание также не может быть «единообразным», раз навсегда. В философских, как мы бы теперь выразились, вопросах, т.-е. в атомистике, Эпикур безоговорочно признавал единственным верным абсолютное единообразное об'яснение мира. Почему он поколебался в метеорологических вопросах? Почему этот метод ἐπὶ τῶν μετέωρον οὐχ ὑπάρχειν «неприемлем в области метеоров»? Эпикур на это отвечает:—потому, что нельзя «насиловать» явления, потому, что надо брать небесные тела в их своеобразии или, по его выражению, «в их связи и самостоятельно» (κατὰ συναφὴν λεγομένων εἴ τε αὐτοτελῶς), а в таком случае мы замечаем, что нет «единообразного согласия с явлениями», μοναχὴν τοῖς φαίνομένοις συμφωνίαν и для того, чтобы дать «оценку их сущности, согласную с ощущениями (τῆς οὐσίας τοῖς αἰσθήσεσι συμφωνον καεηγορίαν), надо признать, что причина их возникновения может быть многообразной» (D. L. p. 36, 6 Us.).

Что Эпикур в этом случае был далек от «ненаучной» бессмыслицы (на это указывает и автор), это ясно из его строго эмпирического понимания каждого способа об'яснения небесных явлений (на что автор не указывает). «Все эти об'яснения,—говорит Эпикур в одном месте,—не противоречат ни одному из очевидных наблюдений, если во всяком частном вопросе держаться возможного, а каждое об'яснение приводить к согласию с явлениями» (p. 40, 15 Us.). Или дальше: допустимы все способы, которыми мы удовлетворяем тому, «чего от нас требуют явления» (p. 41, 4 Us.), в которых мы «умозаключаем согласно с явлениями» (p. 52, 18).

Из всего этого ясно, что пресловутая «множественность причин» вовсе не имела идеалистического происхождения. В метеорологии Эпикур оставался таким же механистом и материалистом, как был в атомистике. Если бы атомистика не была основой метеорологии Эпикура, то разве он достиг бы своей цели—освобождения людей от гнета диких суеверных представлений о звездах? Доказав, что звезды не одушевлены и не одарены божественной волей, Эпикур выполнил свою главную задачу, и поэтому во всем, что касается единичных или «частных явлений» (ἐπὶ τοι ου τιθν μερῶν, p. 40, 15 Usen.), мог свободно перечислять все возможные способы механического об'яснения небесных явлений.

Во-вторых, эта созданная т. Танхилевич «теория» множественности причин об'ясняется еще одной стороной системы Эпикура,—ее глубоким просветительным характером. «Возможные способы об'яснения», которые

Эпикур в метеорологии аккуратно регистрирует, вовсе не принадлежат самому Эпикуру, как удачно подал об этом мысль Узенер[1]). Эпикур заимствовал их у древних ионийцев. Здесь сказалось влияние пирронизма, у которого Эпикур знакомился как с Демокритом, так и с киренаиками. Но помимо этого здесь ярко выявилось значение Эпикура, как «радикального просветителя древности»: популяризация и распространение здоровых материалистических учений древних ионийцев. Между тем у автора выходит так, что Эпикур принимает в метеорологии множественность причин, желая утвердить самодеятельность индивидуума.

В этой мысли справедливо лишь стремление об'единить внутренней и необходимой связью метеорологию с этикой. Однако эта связь физики с этикой у Эпикура гораздо шире, чем это могла бы выполнить одна метеорология. Помимо метеорологии были еще два пути, два моста, которые вели от физики Эпикура к этике: 1) материалистическое учение о душе, как условие для уничтожения в области этики страха смерти и веры в бессмертие и 2) материалистическое учение об аффектах, как обоснование истинных мотивов нашей деятельности.

Так обстоит с вопросом о «множественности причин». Мы должны прибавить, утверждение тов. Танхилевич, что множественность причин имеет об'ективное и необходимое значение, настолько ново и оригинально, что оно заслуживает дальнейшего и доксографически более детального исследования. Будем ждать его от автора.

4) Теперь об атеизме Эпикура. После всего предыдущего нетрудно дать оценку и «богам» Эпикура. Целый ряд исследователей склоняется к той мысли, что Эпикур был атеистом. Тов. Танхилевич говорит: мы же, напротив, полагаем, что Эпикур не был атеистом в греческом смысле слова и что он в своей критике религии не пошел дальше критики религиозных суеверий. Впервые на эту мысль навела нас превосходная юношеская работа Маркса: «О различии натурфилософии Демокрита и Эпикура». Хотя сам Маркс считал Эпикура атеистом, он, вместе с тем, бросил замечание о том, что «боги Эпикура имели своим прообразом национальных греческих богов в лице античных статуй—изображений богов» (стр. 5). Что Эпикур действительно не был атеистом в греческом смысле слова, это действительно можно считать исторически доказанным. До сих пор к этому вопросу подходили с точки зрения филологии, и, несомненно, марксисту есть чему поучиться у филологов. Но марксист обязан во всех категориях филологии, как и всюду, видеть нечто преходящее, текучее, изменчивое, развивающееся. Религиозные учения филология отражает как нечто неизменное и формальное, между тем как боги Гомера, «единый» Платона, боги стоиков и боги Эпикура бесконечно отличны друг от друга. Если Эпикура нельзя назвать атеистом в греческом смысле на том основании, что он допускал существование богов, то это еще не значит, что мы выразили этим самую суть его философии. Сказать, что он не был атеистом, значит ничего не сказать. Только конкретный анализ того, что Эпикур разумел под своими «богами», может разрешить вопрос, какое место занимает в его философии религия, и его философия—по отношению к религии.

Учение о богах Эпикура в жизни Греции IV и III в.в. призвано было играть ту же роль, какую всегда играли в «эпохи просвещения» или в иные великие переломные периоды атеистические учения. Это был революционный протест против религии. Что этот протест возник на почве религии, в этом нет ничего противоречивого, ничего принципиально «неатеистического». Никто никогда не думал считать Эпикура атеистом в современном смысле. Он не был атеистом, но бросать огонь на эту сторону, выпячивать на протяжении 7 печатных листов именно эту сторону—значит потерять центр тяжести всей системы, значит из простого факта сделать неверные выводы. Поэтому, выпрямляя линию автора, приходится доказывать принципиальный теоретический атеизм Эпикура.

[1]) Praefaio в Epicurea, p. XL—XLI.

Эпикуру было достаточно показать, как нелепо поклоняться его богам. И действительно не смешно ли молиться богам, которые помещены в межзвездной пустоте и лишены каких бы то ни было желаний? У Эпикура были боги, но его боги существовали только для того, чтобы освободить людей от страха перед богами! Его боги играли ту же роль, какую мы даем ныне спектральному анализу или микроскопу. И, конечно, ни о каком «богословии», ни о каком «учении» не думал Эпикур, когда говорил о богах. Он брал их так, как сохранил их греческий язык; в полном соответствии со своей теорией языка он не мог отмахнуться от этого ходячего мнения πρόληψις. Поэтому и заявлял он так в одном из писем, что, мол, раз мы говорим о богах, то, следовательно, у нас есть какое-то общераспространенное всем доступное ходячее представление о них, а этого достаточно, чтобы допустить существование богов.

В эпоху Эпикура от «отцовской» религии действительно оставались только статуи—изображения богов. Такую же роль в системе Эпикура играли боги. Лучшей декорации он не смог придумать.

Говоря о религиозном характере эпикуровского «учения» о богах, нельзя ни на одну минуту забывать революционного значения его религиозных идей. Видеть в них «реакционную оболочку», «дуализм» или «идеализм», как этого хочет автор, значит чересчур упрощенно, чересчур абстрактно мыслить развитие как религиозных представлений, так и материалистической философии. «Противоречия эпохи Эпикура нашли свое отражение в его системе», но ведь эти противоречия надо искать не в специальных, отвлеченных проблемах (свобода воли, необходимость и случай, множественность причин, πρόληψις, критерий истины и т. д. и т. п.), а в самой сути, в принципиальной философской сути его системы. Иначе, метод исторического материализма будет извращен той «суздальской дубоватостью», о которой писал неоднократно Г. В. Плеханов.

Вся суть исторического значения Эпикура ясно проскользнула в одной фразе тов. Танхилевич: «Он распространял среди масс положительное знание в лице атомистики и антирелигиозные, хотя и не атеистические идеи». Если бы автор развил подчеркнутую мною мысль, диалектически примиряя и об'ясняя связь «антирелигиозного» с «неатеистическим», общая оценка Эпикура получилась бы полнее, жизненнее, ближе к исторической действительности.

Помимо всего сказанного, отметим отсутствие в книге хотя бы сжатой характеристики состояния религии, семьи, права, нравственности, искусства, театра и других областей идеологического творчества времен Эпикура, недостаточное освещение социально-политических взглядов Эпикура, крайне недостаточное освещение такого выдающегося представителя эпикуровой школы, как Филодем.

Можно было бы отметить, что толкование автором демокритовского учения о качествах в суб'ективистическом смысле, пожалуй, спорно (см. по этому поводу в «Вестн. Комм. Академии», № 14, стр. 133—134). Качества, по Демокриту, условны, зависимы от устройства среды, но это не значит, что они являются продуктами суб'ективной деятельности.

Зато эпикуреизм в Риме, фигура Лукреция, агония римского общества, социально-исторические судьбы эпикуреизма—все это автору удалось изложить четко и убедительно.

Книга будет прочтена с интересом, и мы ее настоятельно рекомендуем нашему читателю.

Гр. Баммель.

А. Зоммерфельд. Строение атома и спектры. Часть I, Гос. издат 1926 г., стр. 403.

В промежуток 5 лет (1919—1924 г.г.) громадный трактат (около 800 стр.) Зоммерфельда «Строение атома и спектры» выдержал в Германии 4 издания. Уже одно это говорит о больших формальных достоинствах сочинения, так что появление перевода 1 части (первых 4 глав) книги Зоммерфельда—безусловно крупное приобретение для нашей естественно-научной литературы. Основная формальная особенность сочинения Зоммерфельда, обусловившая успех книги среди широкой читательской массы, это концентричность расположения материала по степеням трудности.

Рецензируемая первая половина книги (в особенности первые 3 главы) представляют собою вполне самостоятельный концентр, написанный в общем настолько популярно, что он доступен читателю с минимальной и элементарной физико-математической подготовкой; для читателя же с более основательными физико-математическими знаниями в конце книги имеются специальные математические приложения и дополнения, дающие более глубокий анализ затрагиваемых в основном тексте вопросов.

Перевод книги вполне удовлетворителен, хотя не без ошибок, которые сам читатель легко сумеет заметить и исправить [1]).

В изложении современной теории строения атома Зоммерфельд придерживается метода экспериментальной индукции. Прежде всего он развертывает перед читателем тот ряд экспериментальных фактов, который с необходимостью ведет к построению определенной гипотезы о внутренней структуре атома. Этому именно посвящены первые три главы книги. Первая глава дает необходимые предварительные сведения об атомном строении электричества (ионы и электроны), о катодных и каналовых лучах, о лучах Рентгена, о фотоэлектрическом эффекте и радиоактивности. Вторая глава («Периодическая система элементов») показывает те основания, которые привели к гипотезе «атомного номера», характеризующего основные свойства атомов, вместо прежнего «атомного веса», номера, определяемого электрическим зарядом атомного ядра. Обрисовав в общих чертах модель атома, как планетной системы, состоящей из электрически-заряженного центра и обращающихся вокруг него электронов, Зоммерфельд в III главе дает анализ рентгеновых спектров. Если атом—это действительно центрально-ядерная система, то

[1]) Вот, впрочем, замеченные нами ошибки: стр. 199, вместо «разность волновых чисел» напечатано «разность длин волн»; на стр. 206 напечатано «разность волновых чисел» — должно быть «разность длин волн»; стр. 224: вместо «дублетами лучеиспускания» напечатано «дублетами возбуждения»; строка 12 снизу неверно переведена—должно быть: «дублет поглощения задается разностью высот поднятия, определяемой энергетическими уровнями L_1 и L_2; напечатано «дублет поглощения задается разностью высот поднятия до (от!) уровней L_1 и L_2»; стр. 243, строка 14 сверху: «Этого же можно», вместо «что можно».

опыт должен обнаружить явления, обусловленные различным положением электронов по отношению к ядру, т.-е. атом должен обладать «центральными» и «периферическими» свойствами (§ 7, гл. II). Рентгеновы спектры и являются обнаружением центральных свойств атома, в то время как обычные («видимые») спектры характеризуют периферию атомов. Глава IV открывает собою дедуктивный анализ в приложении к простейшей атомной модели—модели атома водорода. Исходя из простейшего предположения о круговом характере орбиты водородного электрона, Зоммерфельд дает теорию серии Бальмера, открытой последним еще в 1885 г. В § 4 («Учет движения ядра») Зоммерфельд разбирает одно из сильнейших доказательств современной теории строения атома, именно теорию изменения величины, т. н. постоянной Ридберга-Ритца в зависимости от отношения массы ядра к массе электрона.

Конец главы (§ 6 и 7) посвящен усложнению модели атома водорода, именно гипотезе Зоммерфельда (выдвинута им впервые в 1916 г.) эллиптической орбиты водородного электрона. Этим собственно и заканчивается основная общедоступная часть трактата Зоммерфельда—остальное, еще не опубликованное в русском переводе, касается подробностей, не имеющих существенного значения для общего понимания теории строения атома. Но уже основная часть книги Зоммерфельда дает очень яркое представление об изумительном прогрессе физики за последние полтора десятка лет, о необычайной сложности и тонкости современного физического анализа. Свежо предание, но верится с трудом!.. Еще так недавно многие физики повторяли презрительные фразы Маха о гипотезе атомизма, как о научной мифологии, недалекой от анимистической мифологии древних религий. А сейчас мы имеем громадные трактаты, выдерживающие 4 издания в пятилетие! Теория строения атома—это 12 ножей в спину еще недавно господствовавшего в широких научных кругах махизма. Усвоен ли этот урок по крайней мере физиками? К сожалению, приходится ответить, что нет. Неуничтоженная еще классовая структура европейского общества приводит к тому, что не только официальные философы идеализма, но и физики выбиваются из сил, чтобы всяческими идеалистическими вывертами тормозить научное движение. У Зоммерфельда эта тенденция выражена весьма умеренно, но и у него мы встречаем положения, которые могли бы вызвать глубокое удивление, если бы не была хорошо известна их скрытая идеалистическая подоплека. Приведем несколько примеров. Касаясь вопроса об инерции электрона, Зоммерфельд совершенно правильно указывает, что нельзя всецело сводить массу электрона к электромагнитной массе, так как «не только электрический заряд обусловливает возникновение массы, но и энергия сцепления (энергия тяготения?), которая сдерживает заряд и (каким-то еще непонятным нам образом) мешает взрыву электрона» (стр. 7). Отсюда ясно, что Зоммерфельд рассматривает заряд, как свойство какой-то основной массы, мешающей распаду электрона на части, так что электрон, в противоположность утверждениям современных пифагорейцев, не является по Зоммерфельду «непротяженной электрической точкой», а телом известных, хотя и очень малых размеров (Зоммерфельд приводит размеры электрона). В дальнейшем оказывается, однако, что субстанцией является не материя, а электричество (стр. 26). Это утверждение Зоммерфельд защищает следующим удивительным аргументом: масса, мол, изменчива, а электрический заряд неизменен. Здесь перепутано понятие материи и массы. Масса, как и заряд являются свойствами материи. То, что опыт обнаружил нам изменчивость массы, которую долго считали неизменной, есть лишний аргумент за то, чтобы не считать заряд абсолютно неизменным. И дей-

ствительно, последние работы Эренгафта посвящены суб'электрону, т.-е. вопросу о сложном составе заряда электрона, который уже поспешили об'явить новой субстанцией. Этот пример указывает, как легко забываются уроки истории физики! Еще интереснее другой пример, касающийся эфира. В теории серии Бальмера Зоммерфельд, желая об'яснить механизм атомного излучения, обладающего квантовым характером, принужден прибегнуть к представлению об эфире. Зоммерфельд пишет (стр. 261): «Помимо атома, который возбуждает излучение, мы будем рассматривать «эфир», который его переносит. Правда, теперь неохотно говорят об эфире, после того как принцип относительности отнял (!) у него материальность (!). Мы здесь под словом эфир будем подразумевать лишь возможность (!) колебательных состояний, распространяющихся со скоростью с, и т. д.». Следует описание «эфира», состоящего из осцилляторов, с избирательной частотой колебания.

Итак, у эфира «отнята материальность» и он превращен в «возможность колебательных состояний», при чем в этой «возможности» скорость распространения равна 300.000 клм. в секунду и кроме того она (возможность!) состоит из осцилляторов определенной природы, обусловливающей передачу излучения определенной частоты!

Если бы мы хорошо не знали смысла этих утверждений, то их необходимо было бы признать кабалистическим бредом, а не научным изложением атомного излучения. К сожалению, такого рода кабалистические перлы еще встречаются в сочинениях по физике.

Последний пример, который мы приведем, наиболее характерен, так как он касается метода квант. Свое изложение теории квант в приложении к модели атома водорода Зоммерфельд начинает с знаменитых определений и законов Ньютона, которые приводятся им даже в латинской формулировке. Вот хорошее доказательство того, что классическая механика пока еще не думает умирать, несмотря на горячее желание многих «друзей» научного прогресса. Исходя из определений и законов механики Ньютона и пользуясь законом Кулона, Зоммерфельд пишет уравнение движения электрона по орбите. Но это уравнение содержит два неизвестных (радиус орбиты и скорость), так, что для определения траектории необходимо еще одно уравнение. Это уравнение и дается квантовым условием, смысл которого в том, что механическая величина, называемая моментом количества движения (произведение массы m на скорость v и на радиус a), не есть величина непрерывная и произвольная, а прерывная и определенная, именно кратная постоянной $\frac{h}{2\pi}$ (h константа Планка). Математически:

$$\text{вообще } mva = n\frac{h}{2\pi}, \quad \text{где } n = 1, 2, 3\ldots$$

вообще целому числу.

Это квантовое условие приводит в мистический трепет идеалистов, которые усматривают в нем крушение всех до сих пор установленных законов природы, в частности законов механики. Между тем непонятность квантового условия не что иное, как наше незнание законов равновесия сложных материальных систем. В самом деле, еще Гегель указывал на т. наз. закон Вольфа-Тициуса-Бодэ [1]), который должен, по

1) Впервые в 1741 г. известный Христиан Вольф обратил внимание на то, что если к числам ряда 0; 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 37,4 прибавить число 0,4, то мы в общем получим относительные расстояния планет от солнца (расстояние земли принимается равным единице). На открытие Вольфа не

именно Гегеля, получить рациональное об'яснение. Гегель пытался на свой манер дать такое об'яснение, но ученые заявили, что этот закон не имеет «теоретической ценности» (см., например, «Курс описательной астрономии» проф. К. Штернберга, стр. 237). Вот, впрочем, закон Вольфа-Тициуса-Бодэ. Если расстояние Меркурия от солнца положить равным 4, то расстояния других планет даются следующей таблицей:

Меркурий	4	4— 4	Юпитер	$4+3.2^4$	52— 52
Венера	$4+3.2^0$	7— 7	Сатурн	$4+3.2^5$	100— 95
Земля	$4+3.2^1$	10—10	Уран	$4+3.2^6$	196—192
Марс	$4+3.2^2$	16—15	Нептун	$4+3.2^7$	388—301
Астероиды	$4+3.2^3$	28 —			

Рядом с величинами, определяемыми законом Вольфа-Тициуса-Бодэ, стоят действительные величины (крайний столбец справа).

Удивительная закономерность ряда Вольфа-Тициуса-Бодэ ($4+3 \cdot 2^n$, где n=0, 1, 2, 3... 7) не оставляет для здравомыслящего человека никакого сомнения в том, что мы имеем здесь дело с «квантовым условием», не тождественным, а аналогичным квантовому условию в строении атома.

Это планетное «квантовое условие» дало возможность делать научные предсказания, так, после того как открытая Гершелем в 1781 г. планета Уран оказалась на расстоянии, близко соответствующем числу 196 (или 19,6, если расстояние земли!) ряда Вольфа-Тициуса-Бодэ, астрономы обратили внимание на число 28, соответствующее промежутку между Марсом и Юпитером. Любопытно то, что Гегель, подчеркивавший значение закона Вольфа-Тициуса-Бодэ, горячо доказывал в своей диссертации «об орбитах планет», что между Марсом и Юпитером не может быть планет и как раз в тот момент (1801 г.), когда астроном Пиацци открыл астероид Цереру. Расстояние этой планеты оказалось равным 28! Среднее расстояние нескольких сот астероидов, находящихся между Марсом и Юпитером, также очень близко к 28. Леверрье, открывший планету Нептун, предположил, что эта планета, возмущающая движение Урана, находится на расстоянии 387, что не совсем подтвердилось, так как расстояние оказалось равным 301. Это несоответствие можно будет об'яснить исследованием рационального основания закона Вольфа-Тициуса-Бодэ, что несоответствие закономерно видно из того, что оно возрастает, начиная с Сатурна. Более того, оказывается, что ряд, аналогичный ряду Вольфа-Тициуса-Бодэ (хотя не столь ясно выраженный) имеет место для 9 спутников Юпитера и 10 Сатурна!

После этого можно лишь удивляться смелости тех, кто отрицает за этими закономерностями какое-либо теоретическое значение.

Когда в 1885 году учитель Бальмер дал свой закон спектральных серий, потребовалось несколько десятков лет, пока Бор теоретически осознал основание, определяющее закон Бальмера. Закон Вольфа-Тициуса-Бодэ до сих пор еще не нашел своего Бора. Казалось бы, что открытие Бора должно именно послужить толчком для исследований природы закономерности Вольфа-Тициуса-Бодэ и к открытию того «рационального основания», которое искал Гегель. Но это было бы шагом к единству картины мира, а такое единство весьма нежелательная для многих вещь. Зоммерфельд уже спешит заявить: «Нельзя все-таки не вспомнить извест-

обратили внимание и в 1772 — 1778 г.г. астрономы Тициус и Бодэ вторично открыли числовое отношение расстояний планет от солнца. Заметим, что в эпоху Вольфа-Тициуса-Бодэ еще не были открыты планеты Уран и Нептун и астероид Церера, соответствующие числам 19,6; 38,8 и 2,8 ряда Вольфа-Тициуса-Бодэ.

ного правила Тициуса-Бодэ. Как известно, оно устанавливает простое арифметическое соотношение, которому приблизительно подчиняются радиусы планетных орбит солнечной системы; мы, однако, отклоняем мысль видеть в этом следствие квантовой теории.

Почему отклоняем? Не полагает ли Зоммерфельд, что если квантовые условия атомных орбит не тождественны с квантовыми условиями планетных орбит, то для последних вообще не существует квантовых условий [1])? С точки зрения диалектики очевидно, что атомная система есть иное качество сравнительно с солнечной. Это так же физически очевидно, хотя бы из наличия в атомных системах электрических полей, которые не совпадают, ведь, с полями тяготения, или из факта тождественности электронов и различия планет между собою. Следовательно, квантовое условие для атома иное, нежели для солнечной системы. Открытие рационального смысла закона Вольфа-Тициуса-Бодэ имело бы большое значение для устранения «квантовой мистификации», так как оно показало бы, что так называемые «квантовые условия» не что иное, как условия равновесия сложных систем [2]). Атомная, как и солнечная система не являются системами «математических точек» в пустоте, а сложнейшими физическими образованиями в эфире и это именно обусловливает непонятность «квантовых условий». Мы надеемся, что общая теория равновесия материальных систем, мало еще разработанная, снимет покров таинственности с нового убежища мистической физики. Завоевания последних десятилетий вызывают бодрость и оптимизм, полную уверенность в окончательной победе подлинной науки над темными силами, тормозящими ее движение.

Заметим в заключение, что теория квант, после первых блестящих побед на фронте строения атома, в дальнейшем наткнулась на сильнейшие препятствия и затруднения. Зоммерфельд подчеркивает их на каждом шагу. Для диалектика причины такого положения вещей совершенно ясны. Сторонники теории квант, как это обычно бывает, выдвигая на первый план принцип «прерывности», склонны часто забывать, что вся классическая физика базировалась на понятии непрерывности. Истина, стало быть, в диалектическом синтезе прерывности и непрерывности и, следовательно, всякое одностороннее развитие должно привести к противоречию отрицания. Мы убеждены, что путь к синтезу старой и новой точек зрения лежит через вихревую теорию материи. Первый шаг в этом направлении уже сделан Дж.-Дж. Томсоном в его попытке дать синтетическую картину структуры света. Нет сомнения в том, что здесь перед нами открывается новая блестящая глава истории физики.

З. Д.

---

[1]) Удивительно то, что современные физики, легко делающие самые фантастические обобщения, не хотят сделать самого законного обобщения. Если квантовое условие определяется произведением nh или (n_1+n_2) h, то почему оно не может определяться произведением f (n). h, где f (n) более сложная функция, как в случае планетных орбит?

[2]) Хорошим доказательством этого утверждения является, между прочим тот факт, что квантовые условия зависят от выбора координат. Физики, стремящиеся превратить квантование в абсолютный и трансцендентный принцип, чтобы обойти это неприятное обстоятельство, прибегают к различного рода ухищрениям. Зоммерфельд, например, выдвигает орудие релятивистской механики, чтобы получить квантование, независимое от системы координат. Из примера специальной теории относительности очевидно, однако, что эта т. н. «независимость от выбора координат» не что иное, как очень ловкое приспособление к действительным соотношениям, и следовательно чистейшая фикция, прикрытая сложными математическими символами.

Редактор: **Редакционная коллегия.**

ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“.

ИМЕЮТСЯ на СКЛАДЕ:

„ЗА ЛИНИЮ ПАРТИИ“

(Сборник статей).

СОДЕРЖАНИЕ:

Этапы дискуссии.
О социализме в одной стране.
Оценка нэпа.
Общие линии экономич. политики.
Госкапитализм и госпромышленность.
О приобщении крестьянства к социализму.
О расслоении деревни и кулацкой опасности.
Регулирование партсостава.
Разное.

Стр. 263. Цена 1 руб. 50 коп.

Н. Бухарин.

„Международная буржуазия и Карл Каутский — ее апостол“.

4-е изд. Цена 45 коп.

„ЦЕЗАРИЗМ ПОД МАСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ“.

Цена 30 коп.

„О РАБКОРЕ и СЕЛЬКОРЕ“. (Статьи и речи).

Изд. 2-е. Цена 50 коп.

СБОРНИК СТАТЕЙ
под ред. А. Слепкова.
„БЫТ И МОЛОДЕЖЬ“.
Цена 40 коп.

Г. А. Шенгели.
КАК ПИСАТЬ
СТАТЬИ, СТИХИ и РАССКАЗЫ.
Цена 70 коп.

Б. Семенов.
КИТАЙ
в БОРЬБЕ с ИМПЕРИАЛИЗМОМ.
(Популярный очерк). Цена 30 коп.

Виктор Ваксов.
СЕМЬ ДНЕЙ,
КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ ЯПОНИЮ.
С предисловием А. Лозовского.
Цена 50 коп.

Лариса Рейснер.
В стране ГИНДЕНБУРГА.
ОЧЕРКИ.
Ц. 25 коп., в перепл. 35 коп.

А. Безыменский.
ПУТИ-ДОРОГИ
ПОЭМА.
Цена 25 коп.

ЗАКАЗЫ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ в гл. КОНТОРУ
„ПРАВДЫ“
Москва, М. Черкасский пер., 3/4, и во все отделения изд-ва.